



Александр Товбин

приключение сомнамбулы

ТОМ 1

Александр Товбин

Приключения сомнамбулы. Том 1

«Геликон Плюс»

2009

Товбин А. Б.

Приключения сомнамбулы. Том 1 / А. Б. Товбин — «Геликон Плюс», 2009

История, начавшаяся с шумного, всполошившего горожан ночного обрушения жилой башни, которую спроектировал Илья Соснин, неожиданным для него образом выходит за границы расследования локальной катастрофы, разветвляется, укрупняет масштаб событий, превращаясь при этом в историю сугубо личную. Личную, однако – не замкнутую. После подробного (детство-отрочество-юность) знакомства с Ильей Сосниным – зорким и отрешённым, одержимым потусторонними тайнами искусства и завиральными художественными гипотезами, мечтами об обретении магического кристалла – романная история, формально уместившаяся в несколько дней одного, 1977, года, своевольно распространяется на весь двадцатый век и фантастично перехлёстывает рубеж тысячелетия, отражая блеск и нищету «нулевых», как их окрестили, лет. Стечение обстоятельств, подчас невероятных на обыденный взгляд, расширяет не только пространственно-временные горизонты повествования, но и угол зрения взрослеющего героя, прихотливо меняет его запросы и устремления. Странные познавательные толчки испытывает Соснин. На сломе эпох, буквально – на руинах советской власти, он углубляется в лабиринты своей судьбы, судеб близких и вчера ещё далёких ему людей, упрямо ищет внутренние мотивы случившегося с ним, и, испытав очередной толчок, делает ненароком шаг по ту сторону реальности, за оболочки видимостей; будущее, до этого плававшее в розоватом тумане, безутешно конкретизируется, он получает возможность посмотреть на собственное прошлое и окружающий мир другими глазами... Чем же пришлось оплачивать нечаянную отвагу, обратившую давние творческие мечты в горький духовный опыт? И что же скрывалось за подвижной панорамой лиц, идей, полотен, архитектурных памятников, бытовых мелочей и ускользающих смыслов? Многослойный, густо заселённый роман обещает читателю немало сюрпризов.

© Товбин А. Б., 2009
© Геликон Плюс, 2009

Содержание

Часть первая (с прологом и эпилогом)	7
Конец ознакомительного фрагмента.	151

Александр Товбин

Приключения сомнамбулы. Том 1

© Товбин А., текст, 2009

© Геликон Плюс, оформление, 2009

* * *

Нине

Часть первая (с прологом и эпилогом) Ход вещей

так?

И поползли слухи...

Поползли, поползли, вспухая и пузырясь, и хотелось бы долго-долго, не скупясь на подробности, описывать мутные растекания, отталкивающе грязные содрогания ползучего студня, этакой слизистой, окутанной ядовитой испариной мрази, которая неторопливо, с садистской обстоятельностью дурманит, подминает, а потом и душил незрячих, покорно оттопыривших уши граждан, ох, хотелось бы, просто руки чешутся, да совестно начинать на фальшивой ноте – минули времена, когда слухи ползали.

может быть, так?

Слухи налетели, как... как ураган?

да! так! (пролог с эпическими мотивами)

Слухи налетели, как ураган.

Вылетев из туманного места происшествия, стремительно набрав скорость, слухи помчались сквозь ближайšie уснувшие пригороды, сквозь тьму, огибая чуть различимые за пеленой измороси тускло-багровые отсветы неона на лепных тучах, зависших над историческим центром... да, помчались, чтобы всполошить панельные новостройки. Слухи спешили, и никто, ничто не сумели бы им помешать к утру, по крайней мере, к обеду ошарашить всех-всех-всех, ещё бы, случилось такое, что ураган учуял полную свою безнаказанность. Ураган валил колючие заросли недоверчивых, корчевал дубовые пни оптимизма, гнул гибких, и, силясь поколебать устои, клеветал, затыкал рты правдолюбцам, многое, очень многое натворил ураган, лелея главную свою цель, и вот он уже брякнул в твоё окно, отутюжил злобным шипением крышу над твоей головой, и затряслись не только обывательские поджилки – перетряхнулся меланхолический уклад сотовой жизни.

– Ты забился в безнадежно-хрупкую скорлупу, твой дом – не крепость, береги-и-ись, – просвистывал рваный край урагана, и кто, скажите, кто, пусть и продолжая храбриться на людях, не внял бы в зябком одиночестве нашёптываниям страха, не высунулся бы, отчаиваясь, за утешением в слуховое оконце ночи, не взвыл, вторя ветру, который топорщил дырявую броню рубероида, срывал с крыш и мотал туда-сюда чёрные, как знамёна анархистов, полотнища. Серьезность ураганных предупреждений отбрасывала, куда подальше, шуточки про подмоченную репутацию крова, страх смотрел в корень, и кто угодно, хотя бы и бытовой смельчак, приученный к протечкам и расползанию пушистой плесени по белёному потолку, без заминки кидался стеречь боковую опасность, перенапрягшую стену, срывал ковёр и, холодея, ждал сухого потрескивания трещин, их молниеносного ветвистого бега по обоям через клопиные гнёзда, малиновогрудых пичужек, разные там вазочки и букетики, а ураган сеял тем

временем панику в других домах, бесчинствовал в магазинах, трамваях, каналах связи, пока не покорил опутанный кабелями и проводами город.

**невольно снижая эпическое начало и (не чураясь
путаной, съедобной и несъедобной, образности)
зароня сомнения (почти без нажима)**

Заявляя будто ураган вылетел, налетел, помчался, мы в погоне за образностью замещаем крылатыми глаголами элементарные звуки, выражаясь красиво, поэтично – тревожные трели, попросту говоря – телефонные звонки, которые кого-то из косвенно причастных к случившемуся подняли с постели, озадачили, испугали – Соснина звонок выскреб из кресла, взялся, на ночь глядя, полистать альбом репродукций, и вдруг... – кое-кому, кто поважнее, поответственнее, кто немалой, прямо скажем, облечён в бюрократических коридорах властью, звонок даже помешал допить и дотанцевать в ресторане «Европейской» гостиницы семейное торжество. Да, всего несколько звонков, немых ответных сцен, недоверчивых восклицаний и, конечно, замутнённых оборванными сновидениями и алкоголем свидетельств тех, кто проживал напротив, был разбужен рёвом катастрофы и, решившись досмотреть за окном общую для всех развязку кошмарных снов, – такой рёв вполне мог предвещать конец света! – кинулся протирать запотелые стёкла, собственно, и состряпали пищу слухам, которые, ещё не успев родиться, глотают скользкий факт, словно устрицу, а, родившись второпях, пережевывают противоречивые ощущения, выделяя при этом мощную, ускоряющую воспроизводство слухов энергию.

Что и говорить, катастрофу никто никогда не ждёт, но не ко времени, совсем не ко времени, подоспел выплеск этой негативной энергии.

Шумно запущенная юбилейная кампания набирала обороты, а тут... и хотя утренние газеты, новостные программы радио и телевидения проигнорировали случившееся, привычная пропагандистская трескотня испытала внутренний сбой, утратила напор казённого оптимизма и вынужденно потащилась в хвосте у слухов.

А разве не приперчивали пищу для слухов происки зарубежных, мигом, благо о заминке в юбилейный год, когда активизировались вредители всех мастей, не могло быть и речи, слетевшихся на нашу беду разведок? – хотите, верьте, хотите, нет, можно и посмеяться, но первым же попался агент ЦРУ и Моссада. – Слышали? – тут и там перешёптывались наутро, – слышали, после фотовспышки на балконе ближайшей к злосчастному месту пятиэтажки оперативники изъяли очернявшую плёнку у некоего псевдоучёного, отщепенца, отторгнутого академическим сообществом, подавшего документы на выезд в сионистское государство?

И вот, стоило с рёвом упасть давлению в точке катастрофического события, как неокрепший ещё ураган, зачатый в союзе субъективно подкрашенной правды и объективно окрыляющей лжи, испустил не только упомянутые панические звонки, но и просигналил в столицу, поднял заглушаемый лишь этикетом чиновничества шум в высоких кремлёвских покоях – хорошенький, слов нет, зачин юбилейного года, да ещё где, в колыбели революции! – а эхо его, того священного кремлёвского шума, тотчас же возвращённое из Первопрестольной на областные брега Невы по прямому чрезвычайному проводу грозным голосом референта, кричавшего от имени и по поручению из приёмной, обшитой солидным буком, в трубку специального густо-красного аппарата с рельефным гербом, добавило урагану силы и наглости. Именно в сей момент верховного гнева, мобилизовавшего на немедленное устранение и дальнейшее недопущение, ураган и вылетел без маскировки в тусклую будничность, неудержимо разбушевался, ошарашил, опалив горожан горячечным тяжёлым дыханием, и, возможно, с учётом намёков невнятного рекламного зарева, сухого потрескивания и пр. стоило бы сравнить напористую

нежданную напасть не с ураганом, а с пожаром – в детстве, между прочим, Соснин мечтал стать пожарным – уместнее всего, со вспыхнувшим по злему умыслу или небрежности лесным пожаром, когда солнце и глаза застилаются жирным дымом, гарь душит страшнее астмы и нельзя оценить размер бедствия, хотя порывы ветра исправно шлют городу пламенные приветы.

сомнение, снятое наивными допущениями

Конечно, сравнение с пожаром обещало получиться эффектнее, а вот точнее – навряд ли. Заканчивался февраль. Прохожие и машины в центре города буксовали в слякотной каше, окрестности придавил только-только выпавший рыхлый снег – откуда было взяться лесному пожару? К тому же поздний промозглый вечер уже сливался с ночью и кто, скажите на милость, какой злоумышленник, вздумал бы в такую гиблую пору и таким безумным способом погреть нечистые руки? И за какое же вознаграждение отправились бы в лес нанятые тем злоумышленником поджигатели, чтобы, проваливаясь по пояс, хоть и по колено, в тучные сугробы, тащить тяжеленные канистры с бензином, вырваться из колких упругих объятий еловых лап, а потом, сделав чёрное дело, устыдиться или испугаться и почти что бежать, оглядываясь на жаркое трескучее полыхание и падая в хлюпающие колодцы своих же следов? Не стоит забывать также, что вечер был не только промозглый, но и тёмный-претёмный, если отправляться в лес, то и слабые отсветы цветного неона остались бы за спиной, впереди ни зги было бы не видать, и кто, какой мечтатель-полуночник, какой любитель рискованных лыжных вылазок в кромешную тьму, так умело подберёт мазь, что пудовые тюки не прилипнут к полозьям, и он, не надеясь на луну, один-одинёшенек, покинутый даже собственной тенью, заскользит, постёгиваемый мокрыми розгами, в сучковатую чёрно-белую неизвестность, где и обронит зловредный окурок? А вдруг и найдётся поздним вечером – почти ночью, всего за двадцать-то минут до полуночи! – растяпа-лыжник, вдруг и обронит, так зачем тогда тлеющему огоньку возгораться пламенем, а не пошипеть едва слышно на сырую припухлость замусоренного хвоей снега, да и потухнуть? – бесхитростная житейская логика ещё не раз, не два поможет вам потешиться над оперением сочинительства.

доверительные констатации с настойчивыми призывами и расплывчатыми намёками-обещаниями, которые, однако, перекидывают невидимый мостик к реальности

Впрочем, и нам такая логика не чужда, не сомневайтесь.

Нам ведь, если как на духу, не до образности пока, нас ведь пока не занимает ни красочность, ни точность сравнений: пусть ураган, пусть пожар. Кстати, можно ли положиться на вашу память? Запомните этот тревожный февральский вечер, эту сырую ночь катастрофы, ненароком породившие вкупе со слухами, отчётом комиссии по расследованию и уголовным делом ещё и нашу историю, которая неожиданно для самого Соснина вместит затем долгие-предолгие годы, посчитать, так почти что весь беспощадно-беспокойный двадцатый век, да ещё с довеском будущего к нему, да ещё с зачарованной оглядкой назад, в итальянские божественные века, коим волею небес вменено служить возвышенным контрапунктом любой эпохе; да, тот вечер, та рубежная ночь на простудном стыке зимы с весной нам ещё пригодятся. И многое, даже обронённое вскользь, пригодится, то же уголовное дело, поверьте, было очень серьёзное, чреватое пугающими обобщениями... подступиться к нему, такому многотомному, фактурному, чтобы затем перейти к сути сугубо индивидуальной истории, вроде бы стремительно стартовавшей, но сразу увязшей в противоречивых желаниях объять необъятное, непросто, ох, непросто

сто, будьте внимательны! Легкомысленно забежав вперёд, мы даже готовы заранее объявить, чтобы добавить трепета читательским ожиданиям, что отнюдь не отчёт комиссии с доказательной расчётной цифирью, не пухлые тома уголовного дела с протоколами дотошных допросов, а именно наша отвлечённая на поверхностный взгляд история представит наиболее полную, если не исчерпывающую, картину произошедшего. Попутно без всякого подвоха предупредим: случай поведется разбрасывать по просторам нашей истории разного рода загадки, приманки с ловушками, разбрасывать и надолго будто бы забывать о них. И потому, оставаясь предельно внимательными, набирайтесь терпения! И поверьте, призыв наш – не фигура речи, тем паче – не пустой звук. Дело-делом, в конце концов, собственно преступным деянием в свой срок займётся суд, призванный беспристрастно выявить и наказать виновных, но история-то быстро перерастёт начальный разрушительный импульс, развернётся поверх юридического крючкотворства, поверх шкурных интересов сторон, поверх даже иллюзорно-плавного течения времени, и то скачкообразное, то сонное развёртывание её взломает наши благие планы, поверьте, история и в этот пролог вмешается и вмешивается уже, отменяя элементарный порядок в изложении фактов и обстоятельств, о, история нас ждёт медлительно-торопливая, свое нравная, путанная, как жизнь во всей её бестолковой полноте, во всей изводящей своей сложностью и изумляюще-чарующей полноте, где для понимания не бывает лишним ни словечко, ни взгляд, где, как не хотелось бы, ничего нельзя вычеркнуть без потерь для смысла, без разъятия цельной образности – если со скептической усмешкой выразиться чуть конкретнее и яснее, история наша будет подобна жизни, вознамерившейся перещегоолять неожиданностями и пронзительными подробностями самый толстый роман...

Так вот, махнём на точность рукой – пусть на худой конец ураган с пожаром бушуют одновременно, пусть взметнувшийся для пушного эффекта огненный смерч чернит копотью небесный свод.

Пусть так.

Вне зависимости от того с ураганом, пожаром или каким-то дьявольским их гибридом соревновались покорившие город слухи, сошлёмся на нечто сплошное и неукротимое, бездарное в явной своей чрезмерности, но – суггестивно-неотразимое. Возможно, именно так, с эпической безжалостностью стихии, внушающей слепой ужас, налетают ураганы, пожары, эпидемии, саранча... наскучило перебирать разменные метафоры на манер драгоценных камушков? Не хватит ли, думаете, увещеваниями-обещаниями кормить и тянуть резину, не пора ли запускать историю? И чтобы постремительнее, позавлекательнее была, чтобы позволила, наконец, расслабиться в кресле ли, на диване, и чтобы душещипательные страсти не утихали, а сюжет, как быстроходный буксир, сам дотащил к развязке. Напомним, однако, тотчас же твёрдо напомним, не отступаясь от своего, что история наша, хоть и подгоняемая, хочешь-не-хочешь, жёсткими сроками технического с уголовным расследований, непременно – так уж свыше ей на роду написано – получится протяжённой, местами сумбурной, избегающей произвольных, в угоду удобочитаемости, спрямлений углов, изъятий и ускорений, и потому не станем наспех, дабы приблизить позарез начало истории, гадать о мотивах небесной кары, её далеко идущих геополитических и социальных последствиях, не примемся тут же реставрировать до деталей картину самого обрушения, отнюдь не локального, единичного, как поначалу хотелось верить, нет-нет, не станем, тем более, что большая часть этой неблагодарной и небезопасной работы уже как раз проделана комиссией и прокуратурой, причём, с посильным участием Соснина... – пока лишь подивимся скрупулёзности впитанных молвой сведений, отметим фантастическую скорость распространения информации вездесущими речистыми очевидцами.

факты

как

творческое

достояние горожан

(усиливая удивлениями нажим)

Заплаканная старуха в пуховом платке рассказывала в булочной про оцепленные войсками развалины, из-под которых солдатики-первогодки всю ночь извлекали изуродованные тела и укладывали на брезент рядышком, одно к одному – городские морги не могли вместить всех погибших. Раненых же увозили в сельские больницы, в глухомань, чтобы всё было шито-крыто, но по совпадению племянник соседки старухи-сказительницы, студент-медик, проходил практику в такой далёкой, богом забытой больнице и стал свидетелем душераздирающих сцен. Монументальный, в ушанке и чёрном вохровском полушубке, бригадир с мясокомбината «Самсон», ссылаясь на родича, имевшего знакомого в механизированном стройтресте, чьи бульдозеры бросили по ночной команде на расчистку груды обломков, раскатисто уверял автобус, что из жильцов мало кто пострадал, так как ордера ещё не все получили, не успели вселиться, то ли приёмку дома не оформили из-за бумажной канители, то ли устранялись мелкие погрешности, короче, жильцы-то уцелели благодаря задержке, пыжиковых начальников, ответственных за безобразия, никогда не прихлопнет, с них, как с гусей вода, зато работники-отделочники, наводившие лоск, когда дом сложился, все как один погибли, все ребята – безусые, едва с отличиями ПТУ закончили...

Не вызывающие сомнений новости обычно суммируются городским сознанием, вызывающие сомнения – перемножаются. Стоило ли удивляться, что число жертв росло в какой-то дикой прогрессии? Удивляло другое: безымянные жертвы наделялись индивидуальностью, перевоплощались в персонажей сентиментальных, вызывавших к состраданию сказок.

Вертлявый старичок-гардеробщик, а по ночам, по совместительству, вахтёр поликлиники, расположенной впритык к месту происшествия, шмыгая обмороженным ещё при штурме Кронштадта носом, – кстати, бдительный вахтёр, не знавший сна, отдыха, зафиксировал в момент катастрофы враждебную фотовспышку на балконе ближней пятиэтажки и куда надо стукнул, – жалостливо вспоминал молоденькую крановщицу, которая увидела всё с высоты своего положения, не пожелала спускаться, её, мёртвой хваткой вцепившуюся в рычаги, сотрясаемую истерическим хохотом, доставала из застеклённого гнездышка в поднебесье команда альпинистов, по тревоге отвлечённая от золочения шпилей; потом дюжие мужики в белых халатах, натянутых на ватные телогрейки, заталкивали бедняжку в присланную с Пряжки машину. И странность! – в пене легенд прорастали зёрнышки истины: и хохочущий бес вселится вскорости в Соснина, и машина с красным крестом проскочит по дощатому настилу Матисова моста через Пряжку, в щёлке меж резиновой обкладкой окошка и кач-

нувшейся шторкой взметнётся и сразу оседет, снова заскользит куда-то позёмка тополиного пуха...

немного (для начала – совсем немного, хотя с нажимом) о неуловимом и соблазнительно-рискованном достоянии автора, о стиле

Сколько же было всего погибших? И какие ещё слезливые сказочки разносились по городу, спасая их, погибших тех, от забвения?

Впереди найдутся поводы вернуться к подсчётам, сослаться на прискорбные, но не обязательно леденящие кровь подробности. Тем более, что нам предстоит долго и упорно искать границу между фактами и вымыслом не только ради очистки правды от кривотолков, но и по той простой причине, что именно на этой зыбкой границе в силу самой природы искусства балансирует всезнайка-автор, чья позиция, понадемся, отнюдь не безразлична читающей публике. Вот, скажем, – не в этом ли как раз упрекнуть хотите? – зачем автору где-то вдали, на теряющихся в перспективе просторах нашей истории, искать поводы для возвращения в ту самую точку, в которой он сейчас топчется? Не проще ли, не откладывая, сейчас же и в строгой последовательности, не озираясь по сторонам, не оглядываясь и не забегая вперёд, рассказать всё, что ему известно? Почему его мысль уносится в сомнительные дали повествования, словно пролог завидует эпилогу, тогда как само повествование, послушно принимая из рук автора допинг за допингом, всё тормозится и тормозится, точно играет в детскую игру-шараду и едва помчится, как тут же замирает по внутреннему окрику в многозначительных, но неудобных, не исключено, что и манерных, если доверяться традиционному вкусу, позах?

Ох, угрюмые часовые литературных достоинств всегда на чеку... Что за сюжет с одышкой ждёт нас, что за напасть! И что ищет в своём томлении стиль? Может быть, стиль завидует застылой экспрессии наледи, рассказывающей о прихотливом течении скованной морозом воды? Ах, это вечное течение-движение, эти потоки-токи, впрыскивающие адреналин преступления и погони, захватывающие дух птицы-тройки... Или, – почему нет? – пробуя нажим пера, стиль засматривается ни с того, ни сего на какой-нибудь скандально-грудастый, испещрённый рустами и завитками фасад со сдобными кариатидами в штукатурных, напоминающих хвосты русалок, туниках, – разве рыхлый, избыточный вычурной детализировкой фасад, бездумно предавая тектонические заветы античности с ренессансом, не кодировал в декоративных фризовольностях безвременья суть серьёзнейших социально-исторических процессов, пестовавших, как выяснилось, войны и революции? Да-а-а, какими кокетливыми намёками увлекает, в какие досужие рассуждения пускается ищущий себя стиль! И как гнетут стили найденные. Скучно до зевоты, когда и тени авторских метаний, сомнений вытеснены за обрез книги, повествование катит себе и катит по прямёхоньким колеям. И хотя расхлябанные колеи в век неистовых скоростей и бодрых линейных устремлений прогресса не принято восхвалять, держится-то искусство, ей-богу, на исключениях, индивидуально возводимых автором в свой закон; автор ищет и сомневается, не пряча своих сомнений, отступает и оступается, отходит и возвращается, дабы, меняя угол зрения, достичь объёмности, даже стереоскопии того, что взялся изображать. Вот-вот, возводимых в закон – как не зацепиться за ближайший крючок? – вот и порядок, ясность, вот и комфортность плавного, синхронизированного с боем часов развёртывания сюжета, а не скачки с переставляемыми с места на место препятствиями, устроенные в тумане. Но ведь художественный закон – не сумма правил, доступных заучиванию, не приятная всем пропорция удовольствий и раздражителей, которые – разумеется, раздражители – в рамках хитрой пропорции и сами суть удовольствия, не звонкое кредо-лозунг, а... покуда мысль, соблазнённая фантастическими горизонтами повествования, затевает новую серию рискован-

ных пируэтов, почему бы, не боясь назойливости, твёрдо не повторить, что посильное уточнение авторской позиции ничуть не менее, если не более, важно для сколько-нибудь полного восприятия истории, чем уточнение истинного числа погибших или перевод на литературный язык косноязычных сказов, которые на ураганных, опалённых пожаром крыльях ворвались в великий город, чтобы вывести его из зимней спячки.

А пока – внимание и терпение, ещё раз – внимание и терпение!

Нам уже снова не до искусства, не до тонкостей стиля и даже не до сухого перечня фактов.

Нас вдруг заинтриговали свойства скорости, побудители молниеносных манёвров слухов, а остальное – побоку!

**рассуждения, по-прежнему довольно нудные, но
(помимо природы скорости) поневоле затрагивающие
причуды массовых страхов, мелких злопыхательств
и сдавленных кухонной теснотой мнений, дополняемые
кое-какими, позволяющими забегать вперёд сведениями**

Идеал скорости – максимум пространства в минимум времени, а в нашем случае скорость, если отбросить боязнь преувеличений и научную добросовестность, приближалась к желанному световому пределу.

Времени, попросту говоря, хватило ничтожного или, выражаясь с учётом моды – исчезающе-малого: минуты, часы, от силы – сутки. Пространство же, охваченное-пронизанное слухами, покорённое ими, стало более чем внушительным: пал многомиллионный город, бывшая блистательная столица империи, а верховных правителей империи новой, тех, кого весть о беде настигла в столице нынешней, в упомянутых уже кремлёвских покоях, как током ударило, хотя... хотя, к слову сказать, этот шоковый удар не пошёл впрок нашим верховным рулевым, они охотно обманулись исключительностью прискорбного обрушения; каждый из них, исторический оптимист по партийному долгу, побаивающийся коллег, таких же, как он сам, оптимистов при должностях, не мог и помыслить, не то что вслух допустить, что исключительные разрозненные разрушительные силы вдруг просуммируются в прекрасный день и...

Понукали привычно подданными, вылавливали и изолировали подрывных элементов, поигрывали дряблой имперской мускулатурой, попугивая ракетами капокружение, готовились славный юбилей справить и – вдруг?

Да, первый звоночек, и в верхах, и в низах шуму наделал, но первый звоночек – и в верхах, и в низах – за единичный приняли...

Где, собственно, катастрофа случилась, где?

Этого толком горожане в массе своей не знали, хотя могли бы, стоило захотеть, узнать. Где? Да хоть на Пискарёвке, в Ульяновке, в Сосновой Поляне, в Купчине, допустимость пространственной многовариантности катастрофы, вероятность её повсюду, как бы ослабляли упор на единичность случая, судя по шумовому эффекту, скорости и охвату слухов, могло вообще померещиться, что не один дом упал, – много, ну да, почему бы в массовом порядке, так сказать, серийно, не попадать сборным домам с квартирисьёмщиками, шкафами, буфетами? Однако никто, отважился утверждать, никто, никакие фантасты-антиутописты, призванные предвидеть ужасы будущего, никто даже из непуганых диссидентствовавших оракулов, влиятельных в узких своих кругах, гораздых обличать на всех тёмных углах отдельные недостатки, обсуждая это вопиющее, чреватое хотя бы как опаснейший прецедент обрушение, не решался и шёпотом обобщать, предостерегать, тем паче, предрекать крах... и не потому только не решался, что опасался гнева обкомовских держиморд, нет, не то что на людях, при свидетелях, но и наедине с собой как было вообразить такое? – прочность властных опор

и у обывательских масс, и у смельчаков-одинок не вызывала сомнений; прочность – на века, хвори, неумолимо подтачивавшие империю победившего социализма, согласно подменялись в коллективном сознании хворями престарелых её вождей. Поругать их, хронических дуболомов, высмеять, выпить за то, чтобы поскорее сдохли – пожалуйста, хлебом не корми, но чтобы всерьёз поверить в повальное обрушение, предупредить... И так, и так, народ, довольствуясь азартным распространением и ворчливо-пугливым перевариванием слухов, безмолвствовал, совестливые интеллигенты, пророки наши, склонные вообще-то к огульному недовольству и реактивным полётам протестной мысли, переваривая те же слухи, лишь зубоскалили в своих малогабаритных кухнях... и то правда, – какие полёты при низких потолках, тесных стенах? Почему-то страх за надёжность стен этих и потолков и отъявленных злопыхателей не подталкивал к идущим далеко выводам.

И ещё – пора, думаем, повторить – скоро юбилей, торжества с фанфарами-барабанами и внесением красных знамён, а тут...

Да, даже очевидный эффект контраста с предъюбилейною приподнятой суетой не помог уловить в локальном пока падении нечто масштабно-неладное, угрожающее прочности бескрайней нерушимой державы, никто, – да-да, тут не грех повторяться и повторяться, – никто не испытал страх за судьбу социалистического отечества, да-да-да, никто из отпетых городских злопыхателей не обрадовался от души, мол, на шестидесятом годочке кранты пришли, никого даже не посетило предчувствие чего-то для власть предержащих носорогов недоброго. Как бы то ни было, так ли, иначе, пугающее падение анализируй, а созывалось под бой литавр первое заседание Юбилейного Комитета, вовсе не Комитета Общественного Спасения... впрочем, мы чересчур далеко зашли.

Вернёмся к специфике скорости применительно к нашему прискорбному случаю, вернёмся...

Так вот, сказочно-быстро покоряя пространства, слухи придерживались особой избирательности, в их нацеленности прослеживалась строгая логика. Если помните, мгновенно вылетев из эпицентра бедствия, ураган – кому нравится, пожар – понёсся в обход попыхвающих неоновым холодком небесных отсветов в пустынные и трудно достижимые районы с рассыпанными по грязному снегу тонкостенными домами-коробками, оставляя у себя в тылу не взятую крепость – историческое ядро великого города. Ни кабели, ни провода, хотя именно здесь они особенно густо переплетались, ничуть не помешали дерзкому обходному манёвру, возможно и помогли. Судите сами: по официальным каналам в центре города – из важного ампирического дома, нарисованного Карлом Росси и смотрящего окнами протяжённого фасада на улицу его имени с точь-в-точь таким же фасадом напротив, в другой служивый дом, смотрящийся в Мойку, тоже ампиричный, тоже нарисованный Росси – проскользнула лишь одна-единственная телетайпограмма, известившая об образовании комиссии по расследованию, да после расшифровки тайных страхов и пожеланий Смольного, переданных на улицу Зодчего Росси, в Главное Архитектурно-Планировочное Управление, по чрезвычайной связи, которую называли в обиходе «вертушкой», растрезвонились секретари и помощники – вызывали с докладами в комиссию или требовали доставить чертежи, расчёты; пересуды сослуживцев и этот конвульсивный обмен сигналами между двумя ампирическими домами-памятниками, всего двумя всполошёнными ночным кошмаром домами-исключениями внутри сонного исторического ядра, конечно, добавляли вихревой энергии урагану, подливали толику масла в огонь пожара, но ураган ли, пожар уже и без того разбушевались там, где соображения, волновавшие власти и бродившие в профессиональной среде, большого значения никогда не имели. Не мешкая, правда, завела уголовное дело прокуратура, параллельно с заседаниями компетентной технической комиссии потянулось и следствие с пригласительными повестками, допросами, протоколами, потом, уже летом, когда и страсти-то поостыли, открылся судебный процесс, точнее, предварительные судебные слушания – Соснину, вздохали, не повезло, попался под горячую руку, но это

потом, потом. А пока машины и прохожие на центральных улицах равнодушно месили грязь, будто ничего не случилось, и хотя у людей, ещё проживавших в центре, были такие же хмурые, как у всех, источенные повседневными заботами лица, они в отличие от тех, кто панически цепенел на окраинах, откликнулись на страшное событие с рассеянным, чуть ли не оскорбительным легкомыслием, примерно так, наверное, станут реагировать на новости с далёких планет; эти люди как-никак обитали в старых солидных домах с толстыми кирпичными стенами, чью надёжность гарантировала репутация прошлого. Вполне понятно поэтому, что ураган – или пожар – отлично чуя подоплёку случившегося, не медля ни секунды, устремились на городскую периферию.

**привязка к топографии восхитительного ансамбля и беглый
взгляд на то, что творилось наутро после катастрофы внутри
(на лестнице и лестничных площадках) одного из двух,
бесспорно обогативших градостроительное искусство
эпохи петербургского классицизма домов-исключений**

На улицу Зодчего Росси, в Главное Архитектурно-Планировочное Управление, мы отправимся попозже, когда начнёт заседать комиссия по расследованию, пока его приёмная зала – если вас, часом, не вызвали в главный кабинет для участия в мозговой атаке или обсуждения предъюбилейных мероприятий – обманула бы благостной возвышенной тишиной. Зато второй дом...

Ампирный памятник, славный своим удлинённым, податливо-гибким жёлтым телом с белыми полуколоннами, растревожился кошмарным случаем и гудел ульем.

Лениво скопировав изгиб Мойки, величавая фасадная декорация уже сотни полторы лет взрезала воздух у Певческого моста острым оштукатуренным мысом с ложными окнами, а за остриём мыса выгибалась к необъятной ветреной площади и разматывалась, разматывалась по гигантской мажорно-тоскливой дуге своей жёлто-белой тканью, пробитой триумфальной аркой, которую обрамляли накладные доспехи, увенчивали плоские ангелы с венками, гирлянды, маски, колесница Победы с шестёркою лошадей – сверяйтесь, если пожелаете, с буклетами «Интуриста» и подарочными видовыми изданиями, схватывавшими вогнутую панораму с самых выгодных точек чуть слева или чуть справа от оси симметрии. Соснин же входил в этот служебный дом сбоку, с набережной Мойки, и обойдя очередь перед лифтом, поднимался на четвёртый этаж в большую неуютную беспорядочно уставленную чертёжными столами проектную мастерскую по обнимавшей сетчатую лифтовую шахту широкой трёхмаршевой лестнице с протёртыми выщербленными ступенями. Да-да, хотелось бы думать, что именно над боковым крылом этого дома-памятника пронёсся свысока глянувший на центр города ураган ли, пожар, что над этим домом-памятником, охраняемым государством, стихийный вихрь, не задержавшись, всё-таки погромыхал и поскрежетал ржавыми латами крыши, приветствуя утечку в неофициальные каналы нервных импульсов новостей – как не отделяй для удобства письма заслуживающую доверия информацию от бредовых фантазий, в реальности всё равно всё смешается и многократно перемешается... тем более, что здесь протекут невидимые миру слёзы ответственных за статический расчёт исполнителей, возгорятся споры, заплещет папиросный дым. И сюда, усомнившись в наспех отлакированной смольнинскими пропагандистами картине катастрофы, внезапно позвонит кремлёвский референт по красному телефону с гербовой опухолью, и факт звонка не похоронят за дверью директорского кабинета, во-первых, потому, что сам директор, испугавшись, что уж теперь-то нашкодивших в год славного юбилея по головкам точно гладить не будут, испугает верховным разносом и своих подчинённых, и во-вторых, потому, что звонок, по причине отсутствия прямой связи с Кремлём прежде

всего всполошит мигалку на пульте в приёмной, и секретарша, которую властное миганье оторвёт от поливки кактусов, много лет уже покалывавших своими иголками салатную масляную панель приёмной, быстро ухватит исключительную важность момента и прослушает разговор референта с директором по параллельному аппарату. И – стоит ли и тут повторяться? – отсюда ведь, из этого дома, полного проектантов, полетят с курьерами проверочные расчёты и чертежи в комиссию, а те, кто со всей поспешностью, отвечавшей форсмажорной ситуации, их подготавливают, подберут или хотя бы перепечатают, выпихнув на подпись в кабинеты начальства горящую работёнку, не станут удерживать языки за зубами, когда коллег разбирает вполне понятное любопытство.

– Илюша, слышал? Как такое могло стрястись?

– Илья Сергеевич, верите, что...

– И кого кинут на амбразуру, Филозова?

– Ха, проверка на вшивость? Кого же, как не Филозова кидать?

– Его уже в Президиум Юбилейного Комитета закинули.

– Усидит на двух стульях, есть опыт.

– Ещё и наградят, ещё выше скакнёт!

На лестнице, прыгая через две ступеньки, Соснина обогнал Блюминг, бледный, как смерть, ему почему-то важно было первым выскочить на площадку второго этажа.

– Не в снегопаде причина, подумаешь, пурга! И не в ветре! – огрызался Соснин, – спросите лучше у... – выразительно ткнул пальцем в спину убежавшего наверх Блюминга, – или у Фаддеевского. А ещё лучше отправляйтесь-ка в архив, посмотрите расчёты.

Справа. – По обломкам панелей удастся определить...

Слева. – Обломков и след простыл! Бульдозерами по звонку из Смольного всё расчистили за ночь, на самосвалах вывезли.

– Как?! Как же узнать...

– Зачем узнавать? Нет обломков – не было катастрофы!

– И кто руководил ночной расчисткой?

– Кто? Филозов!

– Почуял опасность, всё-таки юбилейный год!

– Да! Как бы политику не пришили. Сколько новостей на одном лестничном марше...

– Что? – ещё шаг, площадка второго этажа, – никто не просил меня писать объяснения, я здесь вообще ни при чём. Писать справку о том, в чём ни бельмеса не понимаю? Если бы он знал, что вскоре – это ли не безумие? – ввяжется в сочинение романа... И надо же такому стрястись! Ещё вчерашним вечером смешивал преспокойно краски, руководил формовкой из цветной пыли пульверизаторов бело-розовых, как зефир, облаков, плывущих меж силуэтами многоконных башен, конвейер проектных иллюзий тащился в привычном ритме и на тебе – одна ночь всё вверх дном перевернула, теперь свистопляску не остановишь.

Утром, придя на службу, каждый из почти тысячи сотрудников проектного института мигом узнавал всё и сразу спешил сообщить ставшее известным ему всем остальным, включая и избежавших по лестнице опоздавших. Те морщили лбы, всплескивали руками, приговаривали вразной «неужели», «невероятно» или же, потеряв дар речи, выдыхали звуки, отдалённо похожие на междометия, округляли глаза, потом, что-то соображая, нервно закуривали, требовали подробностей, крутили с вопросительными полуулыбками пуговицы на пиджаках собеседников – уже на площадке третьего этажа Соснин не досчитался двух пуговиц.

Урны на площадке третьего этажа быстро заполнялись окурками, сводчатый, вымазанный бежевой масляной краской потолок задрапировали складки голубоватого дыма, некурящие кашляли, хрипели, как придушенные, но не уходили, а прохаживались туда-сюда, спотыкаясь о неровности старых каменных плит.

Толкались здесь не только болтуны и бездельники, но и достойные, уважаемые проектанты с учёными и лауреатскими званиями, правительственными наградами, многие из них даже присутствовали в парных ипостасях, так сказать, в натуральном виде и... – рядышком, заслоня кусок окна и стену, высилась осенённая лобастым гипсовым бюстом на кумаче дубовая доска почёта. Встретившись с собственным фотовзглядом, иные смущённо вздрагивали и спешили протолкнуться в дальний от доски угол, но очень скоро круговорот страстей выносил их на прежнее место, они опять дёргались, опять проталкивались прочь со своих же глаз.

Броуновское движение на площадке рассёк бегущий из подвала, где располагался вычислительный центр, Фаддеевский, он был опутан бумажными лентами свежего компьютерного расчёта, развевалась рыжевато-пегая борода.

– Филипп Феликсович, подтверждается правильность расчётов?

– Н-н-надеюсь, п-подтвердится, х-х-хочу н-надеяться, – сверкнул золотой булавкой на зелёном галстуке заика-Фаддеевский, – с-сейчас п-п-п-проанализируем; Фаддеевского поглотила полутьма коридора.

Возбуждение нарастало, кто-то кого-то окликал, кого-то звали к телефону, голосками невидимых секретарш выкрикивали на совещание... дымящее столпотворение смахивало на помесь злорадного балагана – достукались! – с шумной, обеспокоенной – что будет? – биржей, лестничную площадку безуспешно попытался очистить кадровик, чтобы усадить людей за столы с рейсшинами, с ним, полковником-отставником из органов, обычно предпочитали не связываться, но сейчас он утратил наступательный пыл, его вялые заклинания не действовали – наших разгорячённых говорунов вспугивало, вернее, заставляло утихнуть на секунду-другую только лязганье железной двери лифта, а с появлением очередного слушателя или рассказчика гомон возобновлялся. И если – хотя бы в порядке отвлечения – вспомнить недавние рассуждения, если предпочесть сравнение с ураганом, свершившим свой обходной манёвр, то придётся всё же, как ни крути, повторно признать, что нахрапистые завихрения слухов усиливались и здесь, на лестнице. Если же принять версию пожара, то и вовсе легче-лёгкого догадаться, что из всех окон именно этого ампиричного дома, начинённого листовым и рулонным ватманом, линейками, чертёжными треугольниками, на которые распилили не один гектар высокоствольного леса, и валил, всклубляясь и нехотя истаивая над Мойкой, дым, хотя, конечно, если не перехлёстывать, то следовало бы оговориться, что дым валил не из всех окон, а почти из всех, ибо ложные окна, востребованные классической композицией, как известно, служат лишь знаками проёмов и не могут заменить реальных отверстий.

продолжая рассуждать о слухах, посильно уточняя эти рассуждения под их конец (с явно ослабленным нажимом)

Итак, не забывая про стратегический обходной манёвр, мы понимаем, конечно, что ураган – или, если угодно, пожар – раздвоились. Пусть и не строго пополам, куда там, но всё же. Итак, кроме стихийного выброса слухов, вроде бы самопроизвольно зародившихся на невзрачном месте события, вырвавшихся из него и привередливо отвернувшихся затем от восхитительных центральных ансамблей, не побоимся повторить, что какая-никакая стихия разбушевалась ещё и под задымленными сводами ампиричного дома на Мойке. Этому, с позволения сказать, служебному бедствию, попросту говоря, испуганно-злорадной трепатне в рабочее время не дано было соперничать с напором слухов, ибо служивые обитатели ампиричного дома хотя бы в силу своих профессиональных устремлений пытались опереться на разлагающие легенду факты. Но... вот оно, но! Век факта – мгновение, а яркие легенды, как кавказские долгожители. И, наверное, всякое ухо – не только обывательское, но и, хочешь-не-хочешь, профессиональное – ловит свою легенду. Итог: две стихии бушевали одновременно и – без всяких

сшибок – чудесно ускоряли одна другую. Действительно, скупые сведения о происшедшем, в меру искажённые курильщиками на лестничной площадке у доски почёта и бюста, всё же вырывались наружу, раздувались – худо-бедно информированные специалисты, шагнув с лестницы в мокрые сумерки, превращались в обычных горожан, многие ведь из них жили у чёрта на куличках, где скоростной напор слухов играючи бил рекорды, когда-либо зафиксированные дотошной, но слишком уж много на себя берущей социологией. Да-да, в магазинах, метро служивые архитекторы ли, конструкторы могли при желании включиться в ломающий цеховые перегородки обмен скандальными новостями и даже что-нибудь заковыристое растолковать, на что-то затемнённое пролить свет, открыть кому-то глаза. Но они так не поступали. Нацепив маски горожан, они сами волей-неволей заглатывали приманку легенды, бодрящей массы, и вместе со всеми мучились сладостным варевом ужасов, спасающих от повседневной скуки. Ко всему они, особенно самые осведомлённые из них – Соснин? Да, и он тоже – чувствовали, что рациональные объяснения чудесного – хоть и с отрицательным знаком, хоть и ужасного, но при этом, несомненно, чудесного, проигнорировавшего многократные запасы прочности обрушения, были бы крайне неубедительны, им бы, объяснениям этим, всё равно не поверили. И правильно сделали бы! – добавим мы от себя. Разве щеголяя научно-технической галиматъёй, которая им заменяет язык, самые осведомлённые специалисты не заблуждаются, полагая, что дарят нам истину, а не облепившую её шелуху из заумных формул? Правда, когда такое творится, кому интересно было бы слушать про допустимый эксцентриситет, эпюру крутящих усилий, марку бетона?

от автора (самокритично)

Никому, никому. И нам с вами тоже, само собой, сухие рассуждения давно надоели. Ничего по сути не разъяснив, никуда нас не продвинув, с три короба наобещав, но так и не дав сколько-нибудь стоящих страниц прозы, они уже крутятся вхолостую...

Не пора ли нам перевернуть пластинку?

Перевернём, но сначала мы...

разберёмся (с помощью автора) в местоимениях

Нам, нас, мы – что за множественные местоимения? Кто это – мы?

Мы – это автор и его персонаж, Соснин, герой-соавтор. Что у автора на уме, то у героя-соавтора на языке... или – наоборот, что у него на уме, то... мы-оба пишем, наши сдвоенные сознания закольцованы; мы – нераздели-мы.

продолжим разбирательства с исчезающим «я» («я» не «я») и прочими местоимениями, разбирательства для автора, (который хочет, но боится себя увидеть) прямо скажем, нелюбезные

Автор – существо сомнительное, ускользающе-таинственное.

Теряя чувство реальности или, напротив, обретая его, автор рождается в миг, когда касается бумаги пером или клавиши с буквой пальцем, затем, по возвращении в быт, умирает... каково ему испытывать многократные рождения и умирания, каждый раз при рождении ли, умирании изменяясь, но чудесно оставаясь самим собой? И каков он, хотелось бы спросить,

испытывающий маяту непрерывной метаморфозы? И можно ли в авторе уловить хоть какое-то сходство с человеком, чьё имя гордо напечатано на обложке?

Впрочем, при всей специфике авторской маяты, незаметно оставляющей на авторе и в авторе свою мету, всякое «я», включая подчас неотличимые «я»-автора и «я»-персонажа, отживает по ходу времени; неожиданно оглядываясь на себя-прошлого, «я» не узнаёт себя, отчуждается и растерянно кивает автору, когда тот, намаявшись, произносит с чувством облегчения: «он». И то правда, «я» раздрабливается... размножается. Но ватага не узнающих друг друга «я» – это, конечно, «он»! А в сбивчивых диалогах с самим собой, в путаных внутренних диалогических монологах каждое из «я», как если бы глаза посмотрели в глаза, как в зеркало, своего второго «я», молвит смущённо: «ты»... второе лицо, которое обретает в диалоге второе «я», лишь отражает первое, они равно недолговечны.

Зато «он» – это не только я-вчерашний или попросту я-изменившийся, на которого не без удивления нацелен мысленный взор я-сегодняшнего, сиюминутного; это лицо многомерное и – в перспективах прозы – многофункциональное: «он» объективирует описываемые события, символизирует опосредованный захват высказыванием пространства и времени... «он» не боится длительности.

Ну а себялюбивое «я» обнажено, ранимо. И, – добавим, – «я» отживает, ибо не умеет стариться... или молодеть. А время бежит так быстро! «Я» при всей экспрессивности присутствующих ему, судорожно-подвижному первому лицу, выходов и выплесков искренности – психологически-заскорузлая, пленённая самомнением, не терпящая превратностей долгого опыта, протяжённых изменений в себе и вокруг себя фигура речи; «я» – законнорожденное дитя поэзии или малой прозы, «я», одиноко вещающему из мига, за редчайшими исключениями, не дано нести и вынести гнёт большой формы, массива большого времени; амбициозному словесному залпу, эмоциональному возгласу уютно лишь в скоротечности «сейчас» и «здесь».

Сама же смена местоимений есть мимикрия.

Смена психологических масок свидетельствует об авторской многоликости, которая обращается безликостью; автор, боясь своего «я» в фас ли, профиль, три четверти, панически боясь проявиться, притворно исчезает в местоимениях; «я», «ты», «он», размноженные падежами, числами – суть уловки самоустранения, безответственной деперсонализации.

Девиз автора – скрывайся и таи. Прячься ли за спиной Соснина, ревниво примеряя маску Соснина-пишущего, исподволь, исподтишка, наблюдая за муками Соснина-сомневающегося.

И какая же от этих примерок и подстановок путаница!

Автор – пишет свой текст, и его персонаж, герой-соавтор Соснин, назначенный судьбой и автором в сочинители, тоже пишет. Такая модельная пиши-контора. Автор, всеильный, жестокий, холодный, вспыльчивый... сплошь и рядом автор фатально не способен приструнить персонажа, назначенного им по сговору с судьбой в сочинители, не способен распределить между собой и персонажем перипетии внутренней борьбы. Кем, однако, написана та ли, эта страница? Сосниным, или автором, использовавшим своего пишущего персонажа как писательский инструмент?

С кого спрашивать за идейные ошибки, творческие провалы?

**насущный вопрос для автора, поспешающего
хоть на кого-то переложить ответственность**

А что за штучка этот Соснин?

Я

– Как на духу: я не выходил из гоголевской шинели, да и не смог бы из неё выйти, если б и захотел, так как ни разу её не надевал из-за врождённой неприязни к чиновничьей униформе. От природы созерцательно-инертный, к общественным заботам вполне равнодушный, я заброшен капризом рождения в толчею образов, преимущественно – зрительных, среди коих и живу, как рыба в воде, доверив стихии цвета и пластики, запечатлеваемых словом, себя и своё искусство. Меня и моё искусство сплачивает единая цель. Вкушая сладкие звуки, молитвы, – истончать нить мысли, чтобы плести словесные кружева. Что? Да трезв я, трезвее стёклышка, в подпитии я бы и не такое наплёл. Что-что? Как спрятаться от жизни, громяющей за ажурными драпировками? Куда бежать из действительности, питающей сочинительство? Отвечу кратко: в себя, ибо не умиление жизнеподобными героями икс, игрек, зет усаживает меня за письменный стол, а жажда приключений, поджидающих путешественника по собственному сознанию; отражения мира сознанием дороже мне, чем сам мир. Потёмкам чужой души, облюбованным психологической школой, предпочитаю добровольное заточение в «я» – высокой бесплотной башне томительного самоанализа, которая венчает ансамбль низкорослых местоимений, разбросанных вокруг неё разными лицами, числами, падежами. Так, так! – я заточён в гордой, хотя недорогой башне – мне не по карману слоновая кость. А если разберёт вдруг любопытство, выглядываю: авось мелькнёт жизнь в прорехах художественной материи. Зато уж выглянув, гляжу в оба, ибо зрением, и только им, формируется моё мировоззрение...

от автора (чистосердечно)

Так – или примерно так – мог бы юродствовать Соснин, если бы выношенный им роман увидел свет. Будь роман хотя бы написан, Соснин мог бы вволю листать и править машинопись, вспоминать что-то дорогое, поучительное, забавное, мог бы, элегически вздыхая, запихивать выстраданные страницы обратно в папку, завязывать на бантик тесёмки, перекладывать папку с места на место.

Но пока – Соснину и, стало быть, автору – нечего перекладывать.

Даль свободного романа пока только манит автора, распалает воображение. Автор только ещё вслушивается в предроманную какофонию ритмов и интонаций, которая позвала из вырытой в глубине души оркестровой ямы. Вслушивается, привередничает, берedit чувства настройкой инструментов, ждёт, когда духовые хрипы, рыдания струнных, громы и молнии медных тарелок сольются в музыку и, сгорая от нетерпения, пробует дирижировать непокорной рукой. Скоро, совсем скоро чарующая вспышка озарит столпотворение тем, лиц, переплавит позывы в образы и пр. и пр. А покуда разум не выжжен до тла творческим пылом, автор с досадой оборвёт исповедь Соснина, без спросу выскочившего на авансцену. Фальстарт, явный фальстарт, – пробормочет не без внутренних колебаний автор, внезапно усомнившись в экспрессивных выгодах декламации.

И раздражённо посматривая на Соснина, подумает: ещё одна исповедь расколотого сознания, мечтающего о цельности?

Я

– Зато уж выглянув, гляжу в оба. Фантазирую даже – можно ли заполучить третий глаз? Всё чаще мне его не хватает, такое вот патологическое, физиологически-избыточное одолевает желание, хотя наперёд знаю, что дополнительный орган зрения не вращёт в меня, победив органику, я не смогу им повелевать. Но вдруг он подмигивает мне из гениального ли романа, стихотворения, которые прозорливо намекают на суть моей непрояснённой натуры; подмигивает и летит мимо. Как страшусь, как жду встречи с испытующим взглядом! Я бы не держал его на привязи нервов, не подчинял мозговым командам. Хотя чувствую почему-то, что мне больней было бы от соринки в этом третьем, бобылём живущем глазу, чем в двух моих, собственных. А вообще-то я, хотя и не выходил из шинели, вполне обычный, если так уж хотите, маленький человечек, затянутый в служебную карусель. А заодно – оснащённый кой-какими современными чёрточками вечный тип лишнего человека. Пойдите, пойдите, чего ради захлопали невпопад? Умора! Я не падох на аплодисменты, поберегите слюнявым тенограм свой неистовый бис...

от автора (не скрывающего недоумения)

**Что за нервический выплеск? Не ожидал
от тихони. Но... что ещё с его я-языка сорвётся?**

я

– Ненавижу объективные тексты, вернее, тексты, прикидывающиеся объективными. Избавьте! Я – попросту не знаю того, что пишу, не знаю тех, чьи поступки и характеры хочу написать; лица прототипов, с которых намерен списывать портреты своих персонажей, я лишь ощупываю с завязанными глазами, будто играю в жмурки, если повезёт – узнаю...

от автора (делающего открытие за открытием)

И ещё разделение: я-пишущий и он-живущий.

Или: он-пишущий, я-живущий.

Это принципиально, у пишущего и живущего – разные ролевые ипостаси; им, пишущему и живущему, свойственно взаимное непонимание, если не неприязнь.

я

– И учтите: слова, мысли бывают чужими, стилевые пассажи – тоже; зато контекст – свой, боль не займёшь – всегда своя. Поэтому-то не боюсь упреков в схожести своего хоть с чьим-нибудь почерком, не собираюсь прятать и источники вдохновения – намётанный глаз вычислит моих литературных кумиров. Когда же глаз сей заслезится благожелательностью, легче будет истолковать жест, с коим я кладу свои незабудки к двум мраморным швейцарским надгробиям. – Семантический жест! – пригвоздят до всего значимого охочие, но по-научному равнодушные отечественные структуралисты с проносом и тут же уткнутся в примечания

к заграничным текстам. – Кривлянье! – брезгливо сплюнут бородачи-почвенники, которым в танце стилевых фигур, неведомых деревенской прозе, померещатся зады модернизма. Ох-хо-хо, каждый в свою дуду, когда славяне спорят между собою, как им хоть что-нибудь увидеть, понять, истолковать...

от автора, так и не избавившегося от колебаний

Какой-то гнилостный запах подполья... Обрыдла форсированная парадоксальная искренность!

А как бравирует своим экзорцизмом! Главное для него, не стесняясь внутренних раздоров, собственные комплексы поскорее вытеснить из «я» на бумагу.

Но возможна ли искренность отложенная и отстранённая?

Не абракадабра ли – дневник постфактум, написанный к тому же от третьего лица, в котором спряталось-стушевалось «я»?

я

(разоблачаясь, во весь голос)

– Не знаю, что напишу, не уверен, что вообще что-либо стоящее получится, ибо хаос, дразнящий и отрешённый хаос, обступает меня, а формально-логические решётки мысли, которые я ищу, чтобы наложить их на хаос, навязать ему свой порядок, чересчур примитивны. Но что бы я, ненавидящий объективные тексты, не написал – это буду я: роман есть в первую очередь портрет романиста, как бы тот не увёртывался, какие бы маски не напяливал, какую бы шинель, хоть и гоголевскую, не примерял для отвода глаз. Роман и против воли сочинителя, серого кардинала, играющего судьбами персонажей, выписывает во всех неопределённостях его истинное лицо.

Что же до меня... Депрессивное ли, буйное моё томление над бумагой раскрывает желание стать иным, освободиться, выйти из сумеречной аморфности на свет, который вылепит форму. И хотя об обнажающих сочинителя свойствах текста среди профессиональных властителей дум постыдно даже упоминать, мне-то, дилетанту-графоману, чего бояться? Роман – утверждаю я, обобщая, – это портрет творца во всей его ищущей неприглядности...

нет, не так!

Нет, нет, только не от первого лица, – не то!

Бесповоротно – не так, не то! Хватит и начала развязной я-эпопеи! – окончательно обрывает задиристо-болезненную декламацию с авансены автор, который ищет, но пока никак не находит скрытую интонацию, и ловит себя на том, что снова раздражённо, неприязненно смотрит на своего разболтавшегося в роли молчуна персонажа: откуда взялся?

от автора (немаловажное дополнение к прологу)

Непрошенный гость явился из темноты.

Призрачное лицо, прожжённое тусклыми огнями далёких домов, скользнуло в чёрном окне, прислонилось к раме зыбкой бестелесностью, которая с головой выдавала лирического героя, и, судя по всему, было готово разделить моё одиночество. Но стоило мне слегка повернуться, как пришелец растворился холодным блеском, и я с полчаса не решался вернуть его из пропасти ночи.

По правде сказать, издавна то там он мелькал, то здесь, перебрасываясь словечком, мало-значимой фразой, мы с ним сталкивались и расходились на Невском, встречались на Пищунде, на хеппенингах в котельной Шанского, в пьяных, до утра спорящих о политике и искусстве компаниях, где он, погружившись в свои мысли, куда больше слушал, чем говорил... мало ли где мы могли встречаться? Всё в нём как будто было мне знакомо и – всё! – неожиданно. Не знал смогу ли я, автор-манипулятор, с ним совладать, он выкидывал такие фортели. Судите сами. Как-то на Невском, у Дома Книги, перед светофором замер фантастический лимузин, за рулём... причём слева и справа от водителя-Соснина, вцепившегося в руль, почему-то размещённый не сбоку, а по центру кабины, сидели... один торжественный, в чёрном фраке, другой – в пижаме... я хотел присмотреться к странным пассажирам, к Соснину в более, чем странной для него роли водителя, а он пригнул голову к рулю, оставалось и мне притвориться, что я его не заметил. Что за встреча? Я, автор, увидел себя в сне соавтора-персонажа?! И в тот же день, чуть попозже – сколько времени мне понадобилось, чтобы от Дома Книги дойти до кафе-автомата на углу Рубинштейна? Минут двадцать? От силы, двадцать пять – его уже в противоположную сторону везла по Невскому в обычных «Жигулях», хотя и с мраморным догом на заднем сидении, соблазнительная блондинка. И это при том, что он ненавидел автомобили, его укачивало. Едва «Жигули» с Сосниным и мордой дога в окне свернули на Владимирский и покатали к площади, я толкнул дверь «Сайгона» и – он был там! Там!!! Вокруг него, изрядно помолодевшего, шумели, дымили будущие литературные знаменитости, тоже молодые; выпивка и кофе, остроги, стишки, к нему было не подступиться.

Частенько он тоже за мной подсматривал, порой настырно, не прячась, порой так, что сам я преследователя не видел, лишь чувствовал давление взгляда. Иногда я резко оборачивался – никого не было.

Вскоре, однако, мы сблизились; он, казалось, становился добрым моим приятелем... я о себе столько узнавал от него, догадывался, обмирая, что всё то, что с ним приключилось, вполне могло бы приключиться со мной.

Действительно, многое нас сближало – профессия, вкусы, интересы в искусстве... мы даже были влюблены в одну женщину, он ревновал меня... впрочем, ревность, наверняка, усиливала напряжение, спонтанно возникавшее между нами; сближаясь, мы то и дело ощущали силы отталкивания.

Его внутренний мир вспучивался, бродил, любой пустяк, коего он касался, мог спровоцировать звёздные войны, и хотя не в моих правилах злословить за спиной у героя, замечу всё же, потупясь, что рост солнечной активности, наблюдавшийся в последние годы, явно повлиял на психику Соснина – думаю, именно воспалённость сознания позволила ему сделать зримыми свои метафорические предчувствия, а мне дало дополнительный повод навести на его сознание увеличительное стекло.

Хотел сосчитать бзики Соснина, увы, быстро сбился.

Он искал суть открывшегося ему не в череде реальных событий, но в прихотливых их отражениях, гнал мысли и чувства по кругу, просеивал будущее сквозь сито прошлого... бывало, ночи растрачивались на препирательства, он ведь и путаную историю свою, немало меня озадачив, рассказывать предпочёл с конца, навязал мне своё видение романной композиции...

Жизненные причины и следствия закольцовывает искусство – возвещал между тем Соснин, растолковывая тайны художественного зрения, тут же объяснялся в любви к придаточным

предложениям, неустрашимо скрещивал спорные воззрения, точно шпаги, и, парируя какой-нибудь контрвыпад, с непостижимой лёгкостью делал шаг, отделяющий великое от смешного, после чего все мои благие порывы превращались в карикатуры.

Мысли дробились, горячая речь петляла, а я слушал, слушал, пока расплывчатый овал не сливался серым рассветом; убиралось восвояси двоившееся пугало нарциссизма, я засыпал, падая головой на пухлую кипу заметок... и только по дороге на службу, преследуемый хором ночных отголосков, ловил себя на том, что далеко не всё из рассказанного Сосниным о своём приключении дошло до меня. Однако Соснин заставил поверить в реальность изгланной мечтами, сновидческой жизни, которую разбудила, чтобы перелить в роман, интрига случая. Мне захотелось роман тот поскорее прочесть. Наконец, на столе моём вырос ворох торопливо исписанных, с множеством вставок, листков, и к самому Соснину, к его дальнейшей – за границами романа – судьбе у меня угас интерес. Я начал писать поверх его черновиков: кое-какие из записей сохранял, но многое вымарывал, многое дополнял, твёрдой рукой заменял «я» на «он», восстанавливал иступлённые монологи, вскормленные моей бессонницей, воспроизводил путаницу пояснений и документов настолько полно и точно, насколько позволяли память и воображение.

Помните? – уничтожайте рукопись, но сохраняйте то, что вы начертали сбоку от скуки, от неумения и как бы во сне...

Скукой не пахло, но я так и делал.

Откладывал на потом волокиту с сюжетом, психологическими портретами, пытаясь что-то непременно доказать себе самому, как крючоктор ставил точки над «и» вместо того, чтобы заканчивать ими, точками, фразы, что-то снова убавлял, добавлял, подолгу сомневался оставлять ли, соскабливать со строчек и абзацев налёт салонности – понятно, вскоре я по уши погряз в бумажных заторах, которые громоздят письмо без плана и легкомыслие. Однако обвиняя в аморфном накопительстве окололитературного материала не себя, а неумное сознание Соснина, я упрямо продолжал в том же духе примирительной неразборчивости, хотя – не стану скрывать – ожидание ответственного для романиста экзамена растило на краю стола ворох композиционных шпаргалок. К тому же и Соснин-соавтор, в помощи которого я – сомнение автора безгранично! – уже не очень-то и нуждался, настырно напоминал: порядок слов важнее самих слов. И ещё что-то чрезвычайно важное говорил, говорил, беззвучно шевеля губами за прозрачной хрупкой преградой; оставалось верить, что я, будто новоиспечённый медиум, читаю, не успевая записывать, чужие мысли.

Искусство гоняется за миражами, чтобы найти крупинки новой реальности...

Роман – это воздушный замок, где все камни краеугольные...

Можно было бы пространно цитировать Соснина, но разве и так неясно, что автор пристально вглядывается в цвета его чувств, в пластику умствований? Что он стерпит любой шум, надеясь в нём уловить мелодию времени? Испытывая смутную неприязнь к подминающей литературу власти событий, автор даст себе слово не выпячивать криминальную линию в рисунке сюжета, он вообще решит присыпать сюжет пёстрым сором деталей и писать состояния. Согнувшись под ношей добрых намерений, автор решит также, что злключения Соснина – всего лишь метафоры, что сострадать Соснину можно, нужно, хотя спасти его вряд ли стоит – пусть упивается горечью, как червь редькой. Попутно взгляд автора скользнёт по аккуратной стопке белых листков и его осенит, что...

Так со мною всегда.

Тороплюсь, фантазирую на пустом месте. В детстве, едва попав в театр, я успевал разыгрывать незнакомую пьесу за те волшебные мгновения, пока меркла люстра.

время перевернуть пластинку

Вот, например, мы недавно заладили – скорость, скорость...

И многим из бегущих от абстрактных понятий к образам могла, наверное, привидеться сверхзвуковая птица с клювом-иглой, гордая своей хищной металлической стреловидностью, а Соснина тем временем волновала бы не динамическая её обтекаемость, а тающий в лазури барашковый след.

Мы тут для затравки среди прочего порассуждали о стиле. Возможно, что эти начальные рассуждения получились неоправданно долгими. Соснин же, не вымолвив ни словечка – да-да, на авансцене его прорвало, а он вообще-то и впрямь молчун – столь же долго или ещё дольше простоял бы у старинной дымчато-зелёной шпалеры с белеющим под вековыми деревьями домом и, очарованный барышней на переднем плане, одетой в розовое воздушное платье, ловил бы отблеск жёстких, точно мозоль, стежков.

Попробуем почаще поглядывать на случившееся через хрусталики его глаз.

начнём так, как принято начинать (пролог, вполне реалистический)

Весь февраль горожан донимала слякоть, по ночам всего на несколько часов застывавшая гололёдом, и волнами накатывал грипп, от резких колебаний давления страдали и дали-таки пиковую смертность сердечно-сосудистые больные, и когда в последний день последнего зимнего месяца вдруг повалили бесформенные густые хлопья, которые на ветру пускались в бешеную, с завихрениями круговерть, захотелось поверить, что зима опомнилась и теперь-то, воспользовавшись, пусть с опозданием, своими правами, быстро наверстает упущенное. Тучи мохнатых мотылей, таранившие тёмные стёкла, уже к полудню вынудили включить лампы в комнатах, дома потонули в несвоевременных сумерках, подвижная тяжёлая пелена отменила объёмность, если на минуту-другую выдыхалась снежная пляска, там и сям неожиданно обнаруживались только заросшие пухом фасадные выступы, плоскости же стен тонули в бестелесной монохромной обобщённости, а весь город превращался в труднообозримую выставку детских картинок, наляпанных чёрной и белой гуашью по грубому серо-коричневому картону.

Ну и метель, ну и буран, что-то будет ещё, не иначе как что-то будет... – бормотал Соснин, выскочив в обеденный час в пирожковую, и вспоминал как он когда-то в рисовальном кружке мазал чёрным стволы, ветки, чугунный узор и непременно какого-нибудь согбенно покоряющего стихию упрямца, потом где надо оторачивал сверху белым кроны, карнизные тяги, плечи и голову упрямца – на шапку налеплялся помпон, а потом, макая кончик кисти в белила, сажал много-много точек, чтобы они закружились в развязной пляске... смешно, на ступеньках пирожковой Соснина нагнал растолстевший, точно снеговик, Рубин, попросил займы трёшку.

Метель мела и мела, на людных улицах специальные уборочные машины, скрежеща, не успевали сгребать скрюченными железными руками снежную кашу, в переулках дворничихи лепили из неё фанерными лопатами рыхлые кучи, но снегопад продолжался с тупым упорством и если в тесноте городского центра с ним хотя бы пытались сладить, то просторы новостроек, где техника и дворничихи сами превращались в сугробы, быстро сделались непроходимыми, а дома-коробки, казалось, вот-вот должны были рухнуть под белой тяжестью.

К вечеру, однако, ударила оттепель.

Потеплело настолько, что белёсое мельтешение над Невским в какой-то миг растворилось и забылось, вдоль чёрных тротуаров побежали ручьи, забулькали грязные озёра над люками, а каналы, реки, так и не схватившиеся в эту большую зиму, жадно причмокивая, проглотили обильную пушистую присыпку и до краёв наполнились зыбким дёгтем.

Город готовилась придавить мокрая тёмная ночь.

Окна едва желтели, фонари окутались мутью, с крыш свисали космы тумана, отчего силуэты домов причудливо выгибались, ползли куда-то. В скверах ещё оставался снег, однако ночь подавляла слабеющее сопротивление белого цвета и электричества, опускалась ниже и ниже, и Соснин, который задержался, как назло, в мастерской и теперь, в гиблую позднюю эту пору пересекал бескрайнюю и пустынную Дворцовую площадь, – лишь в центре её, у Александринского столпа, виднелись штабели брусчатки и гранитных блоков, которые завезли, чтобы начать по весне и закончить к юбилею узорчатую замостку, – даже подивился мощи прожекторов, вырывавших из тьмы над Зимним дворцом шеренгу позеленевших от бессильной злости статуй. Но кто же, кроме нашего героя, станет переживать возвышенное чувство затерянности, задыхаясь от счастья, озираться по сторонам в такую погоду? Кто ещё почувствует обездвиженности надкарнизных богинь, приравненных к вазам, когда сам торопится домой – к пенной ванне, горячему чаю? Замедлил шаг – и сейчас, под порывами сырого чёрного ветра, несравненная площадь была прекрасна вечной своей пустынностью: не площадь, а приют всемирного одиночества, не великого города главное обстроенное пространство, а вместилище духа целого мироздания... Редкие пешеходы, втянув головы в разбухшие плечи, вприпрыжку, как неуклюжие танцоры, неслись за троллейбусом, не догнавшие понуро шлёпали дальше по лужам, по плывущим в асфальте сальным кругам фонарей, те же, кто догадался укрыться зонтами, только усугубляли их тусклым блеском общую беспросветность, да и мокли под зонтами ничуть не меньше: вода была в самом воздухе.

Ко всему дул сильнящий ветер.

Дул с опасной стороны, с залива, именно поэтому реки и каналы угрожающе наполнялись. Однако, не позволив им расплескаться, ветер в последний момент переменял угол атаки, и на сей раз мы обойдёмся без наводнения. Хотя скорость ветра росла, его порывы, особенно ощутимые в заснеженных, отнюдь не отогретых оттепелью новостройках, пронизывали на вынужденном моционе людей с собаками, бросали в трепет деревья, с надсадным скрипом, как мачты яхт, терзаемых штормом, раскачивали телевизионные антенны в невидимом небе, а дома-коробки, служившие основаниями для этих антенн, казалось опять-таки, сами не выдержат свирепого напора воздуха и вот-вот повалятся, толкая друг друга, как домино. Но они выдержали и снег, и ветер. Отметим, справедливости ради, что если снегопад и выдался в тот день свержобильным, то ураганный ветер бывал на городских окраинах частым гостем и к нему смогли приспособиться. Даже правила техники безопасности, обычно склонные к преувеличенной осторожности, без оговорок разрешали монтаж конструкций на большой высоте, изморось же вообще в расчёты не принималась. Поэтому, когда крановщица залезла в свою стеклянную конуру в поднебесье и включила свет, ночная смена приступила к работе на последнем, шестнадцатом этаже.

Смена как смена.

До перелеска тянулись тёмные бруски домов, продавленные кое-где ещё не погасшими мутно-жёлтыми окнами, глубоко внизу угадывалась плашка поликлиники с пухово-снежной подушкой крыши, а за ней льдисто поблескивали пока что не заселённые башни, между которыми, далеко-далеко, над воображаемым горизонтом, шарили по тучам красноватые рефлексы реклам.

Ничто не предвещало беды: в похожей на юрту монтажной будке, где можно было отогреться и перевести дух, мирно попискивала рация, иногда доносившая ругань потусторонних

диспетчеров, пыхтел на электрической плитке чайник, из кошёлки подбадривающе выглядывали бутылочные головки.

Однако часовой механизм тикал, стрелки подползали к роковому рубежу и потом в многочисленных отчётах и протоколах будет с идеальной точностью и дотошнейшими подробностями зафиксировано когда и в какой последовательности начали с гнусными стопами рваться стальные связи, когда и как затрясла заиндевелые стены, подгоняя сбегавших по лестнице, не успевших и портвейна глотнуть рабочих-монтажников, бетонная дрожь, и раздался дикий предсмертный рёв. Когда же обитатели ближайших пятиэтажек были разбужены кошмарным рёвом, слетели с кроватей и босяком кинулись к струившимся холодным потом окнам, им сперва удалось различить во тьме лишь крохотный изумрудно-зелёный огонёк, очевидно приглашавший гуляк-полуночников в свободный таксомотор, и только чуть позже, по мере привыкания глаз, на месте одной из обступавших поликлинику башен, уже почти что сравнявшейся по высоте с остальными, смонтированными прежде, стала вырисовываться огромная, неправильная пирамида из бетонного боя с разбросанными вокруг неё чёрными обломками, которые при минимальном на то желании можно было принять за ошметки тел.

отведём стрелки на несколько часов назад

Да, беда ещё не материализовалась, лишь меняла обличье предупреждений. Метель, оттепель, развёрзшая купель грязи, бешенный ветер. Соснина с Дворцовой площади едва не сдуло, хотя вымок, отяжелел... вода была в самом воздухе.

Проголодался – сжевал два чёрствых пирожка за день. Но в гастрономе ничего съедобного не осталось, оттаивали только тёмные куски мяса, розоватая жижа стояла в большом эмалевом противне. Громко перебраниваясь, продавщицы возили тряпками по прилавкам, одутловатая баба в грязном синем халате вывалила мокрые опилки на пол, шуровала, не глядя, шваброю по ногам. Тут, правда, мотнулась обитая жестью створка, из подсобки выехало на колёсиках металлическое корытце с парниковыми огурцами. А-а-а, – догадался Соснин, вмиг очутившийся в хвосте очереди, – конец месяца, выбросили дефицитный товар. Откуда люди-то набежали? – суета, толчея. Соблазнительные, сочно-зелёные, гнутые огурцы быстро перекаладывались в сетчатые корзинки. Продвигаясь к опустошавшемуся корытцу, Соснин мысленно выбрал глянцевого красавца со слегка увядшим жёлто-оранжевым цветком на кончике. Однако ловкая рука схватила красавца, а другая рука, не менее ловкая, выхватила последний огурец из-под носа.

Успел заскочить впельменную.

В струившихся по стеклу потоках торопливо проплывали мутные тени.

Дверь на пружине хлопала, разбухшие фигуры запрыгивали в тепло, точно собаки после купания, потешно передёргивались, разбрызгивая серебро капель... шумно двигали стульчики на железных ножках, рассаживались, расстёгивались, морщились от гнилого запаха кухни, который нестерпимо смешивался с испарениями одежды.

Раскисшее тесто с фаршем, компот из сухофруктов.

Неряшливая усталая посудомойка гремела тарелками, и тут шабашили – варка-парка выдохлась, дверь уже на засове; за окошком раздачи тускло поблескивали перевёрнутые вверх дном кастрюли, сковородки.

добравшись домой, усевшись за бюро- конторкой (около двух часов до катастрофы)

Сел, сгрёб со столешницы случайные бумаги. Вспомнил, что завтра должен выдавать фасадные колера, монтаж заканчивался... И, значит, надо искать кисти, коробку акварели, готовальню с фарфоровой плоской, в ней удобно разводить краски.

Соснина окружали случайные вещи – застланный пледом матрас на ножках, плоский, с отслаивавшейся белёсой фанеровкой платяной шкаф, лапидарный эстонский стол, сборные полки.

Жавшийся к стенам мебельный хлам служил, однако, неряшливой оправой отменной старинной вещи, навязанной матерью, когда он поселился отдельно. – Это дядино наследство, ему от отца, ценителя старины, досталось и вот, тебе теперь будет на всю жизнь память, красное дерево редкой такой породы, – уговаривала после смерти Ильи Марковича сына и, похоже, хорошо, что уговорила: смирился, потом привязался к громоздкому подарку судьбы. Недаром и все предметы почтительно расступались перед высоченным, почти под потолок, красно-красно-коричневым бюро-конторкой с выразительным резным фризом; просторная толстенная столешница для письма; легко выскальзывающиеся ящички, разных размеров шкафчики.

Две узкие вертикальные гобеленные вставки и две ионические колонки, примыкавшие к гобеленным вставкам и подпиравшие фриз, который был населён античными героями, обрамляли два главных, разделённых осью симметрии шкафчика, их двустворчатые, с пухлыми филёнками дверцы, стоило еле-еле потянуть за тонкие латунные ручки, плавно распаивались. С боков – справа, слева – столешницу огораживали скруглённые стеночки – бумаги, рука с пером, да и голова, клонящаяся к письму, попадали в уютную замкнутость, а нарождавшееся творение можно было укрывать от сквозняка или сглаза опусканием гибкой, гофрированной, собранной из реечек шторы, как с горки съезжавшей по утопленным в скруглённые стеночки полозкам.

**поглядывая на бюро-конторку, (за какой-то час
до катастрофы) начнём разбираться в бросающихся
сразу в глаза, вроде бы забавных, но по сути серьёзных
свойствах и противоречиях характера Соснина**

Ему спокойно и тревожно было сидеть за этим антикварным бюро.

Казалось бы, вдохновенная сосредоточенность должна была автоматически снисходить на него, оценившего замкнутость персонального пространства, но... но он ведь и в столь ценном укрытии, едва настраиваясь на деловой лад, сосредотачиваясь, тут же желал расширения обзорности, услаждающей взгляд, зовущей отвлечься от праведного труда... да, когда он вдобавок к своей сутулости склонялся над работой, боковые скруглённые стеночки бюро уже раздражали, как шоры.

Конечно, размеры столешницы провоцировали милый многослойный хаос листков с пометками, блок-нотов, карандашей. Но солидность, симметричная массивность бюро вызвали к какому-никакому порядку, а Соснин не только столешницу заваливал всякой бумажной и канцелярской всячиной, но и шкафчики забил чёрт те чем, не помнил даже куда, под ворох ли старых фотографий, студенческой мазни засунул в прошлый раз акварель «Ленинград» и готовальню, придётся искать. Фулуев пригрозил. – Завтра крайний срок, кровь из носа, а надо.

Да, затянул с выдачей колерного листа – монтаж башни заканчивался, фасадные краски не заказали.

Под фотографиями коробка акварели и готовальня не обнаружили, перебрал маленькие выцветшие фото: вот они с Художником на этюдах в Плесе, лето, кудрявые берёзки на скалочных холмиках, вот – безлюдный пярнусский пляж, низкие облака над осенним морем... нет, не хотелось браться за кисточку! Хотя дела-то всего на десять минут. Цветовую гамму

давно продумал. – Любопытно, любопытно, цвета ампира на навесной мембране, – догадался, похваливая лихо раскрашенную перспективу Филозов, – интересно, как в натуре получится. Филозов велел перспективу на стену своего кабинета повесить. Откладывал поиски готовальни с фарфоровой плошкой, красок, кисточек. Охотно бы откинулся на спинку кресла и – благо кресло вращалось – в спасительное окно уставился, созерцал бы бег облаков, закат, но теперь-то за окном крошечная тьма. Рука сама потянулась к стопке с книгами, среди них были совсем ветхие, распадавшиеся на страницы – как их окончательно не зачитал Шанский? Сверху лежала растрёпанная мягкая книжка Генриха Вёльфлина, педантично уловившего все тонкости перехода от ренессанса к барокко, книжку ещё в институте подарил профессор Нешердяев; открыл: «после 1520 года уже не возникало безукоризненно чистых по стилю произведений...», так-так, «в начале своего существования барокко было тяжёло, массивно, лишено свободы и серьёзно; постепенно его массивность тает, формы становятся легче и радостнее, и, в конце концов, приходит то игривое разрушение всех тектонических форм, которое мы называем рококо». Под Вёльфлиным томились книжки, оставшиеся от дяди, тут же, под нависшими шкафчиками, внушительно, в ряд, выстроились коричневые манновские тома, не мог себе отказать в удовольствии вытащить наугад, открыть. – «Что такое время? Бесплотное и всемогущее – оно тайна, неперменное условие мира явлений, движение, неразрывно связанное и слитое с пребыванием тел в пространстве и их движением»... так-так, «время длительно, для определения его свойств скорее всего подходит глагол: «вынашивать». Но что же оно вынашивает? Перемены!». А в начале следующей главы: «Можно ли рассказать время, какое оно есть, само время, время в себе?». И чуть далее: «Существуют записки курильщиков опия, доказывающие, что одурманенный за короткое время своего выключения из действительности переживал сновидения, охватывающие периоды в десять, тридцать... лет, а иногда и уходящие за грань всякого возможного и доступного человеку восприятия времени. Следовательно, в этих сновидениях, где воображаемый охват времени мощно превосходил их собственную продолжительность, образы, теснясь, сменялись с такой быстротой...». Так бы и читал, читал, но – захлопнул том, пересилив себя, поставил на место, а сбоку от волнующих многотомных премудростей... как славно было б полистать перед сном альбом репродукций, живопись умиротворяла, хм, «Гора Святой Виктории», песочно-розовая в лучах заходящего солнца. И вот она же, сизо-голубая, дневная.

антикварное бюро-конторка как повод вновь, несмотря на позднее время, порассуждать о стиле (прозевав миг катастрофы)

Престранная вещь, вроде бы свыкся за много лет с этим величавым бюро, а до сих пор не переставал ему удивляться.

Задолго до наделавших шума лекций Шанского, публично воспевавшего радикальный эклектизм, Соснин почуял магию унаследованной им редкостной эклектической мебелины, словно с немим укором взывавшей усевшегося за неё к порядку в голове и делах, к строгости вкуса, хотя сама она, подавляющая и защищающая одновременно, не могла бы похвастать ясностью композиционного замысла и тем паче – чистотой стиля. Так, изяществу александровского ампира, ярлык которого издавна, с момента счастливого приобретения солидной и престижной громадины в годы осенённой совиными крылами реакции Марком Львовичем Вайсверком, прилепился к бюро в семье, и на связь с которым вполне прозрачно намекали ионические колонки, мешали и вертикальные гобеленные вставки, и явно готические мотивы венчавших бюро с краёв, точно парижский Нотр-Дам, туповатых башен, ко всему между башнями тянулся рельефный фигуративный фриз, а над фризом круто поднимался на манер ропе-

товского кокошника закруглённый фронтон, но уж зато фронтон этот по-барочному игриво, весело разрывался надвое; до комичного серьёзный стилевой разнбой накрывала обобщающая мрачноватая тень.

пора (с час, наверное, после катастрофы)

Соснин полез-таки шарить в шкафчиках, нашёл готовальню, кисточки... где же коробка с акварелью?

Не сразу расслышал телефонный звонок.

душа в пятках и другие непредвиденные состояния (всё ещё пролог)

– Сложился как карточный домик, мигом – куча обломков. Меня с постели содрали, машину выслали, а ещё прораб позвонил по автомату из поликлиники, хорошо хоть вахтёр пустил позвонить, прораб еле ноги унёс, – скулила трубка, – хочу за тобой заехать, Эрина-то нет, ищи-свищи.

– Я-то с какого боку?! Там, Тихон Иванович, башковитые инженеры нужны, эксперты, мне Эрина не заменить, я ни в расчётных схемах, ни в обломках ни бельмеса не смыслю, зевак и без меня хватит, – с удивительной для самого рассудительностью отбояривался Соснин, хотя надо бы войти в положение, подбодрить. Спросил. – Все ли унесли ноги, никого не задело?

– Все, все вроде целы, – прожевал Лапышков, но его и счастливое спасение рабочих не могло успокоить, страх, дикий страх главного инженера передавался по слаботочным проводам, – и от Семёна помощи не дождёшься, всё, говорит, с бетоном в порядке было, и отпускная прочность, и консистенция, а уж как везли... он, говорит, кому угодно докажет, что лаборатория все провела проверки, но кто будет слушать...

У Семёна-то Файервассера всегда и с бетоном, и с документацией всё в порядке, комар носа не подточит, но Лапышков прав, ничего не докажет, – думал Соснин.

И без труда представлял как Лапышков, коренастый, большеголовый, беспомощно топчется у телефона в одних подштанниках, ерошит волосы, трёт пятернёю лоб, переносицу, словно пытается разгладить мятое бабье лицо, вот он уже растирает ладонью грудь, сердце схватило. А ещё Соснин мысленно рассматривал место обрушения. Обнесённую забором поляну под просевшим снегом. Разновысокие коробки, подступающие к редкому лесу, наклонные штрихи чахоточных сосенок.

Но никто ведь, слава богам, не погиб, зачем убиваться?

– Вот-вот, твоя хата с краю, нарисовал красиво, а мне отдуваться, – обречёно ныл Лапышков, – Салзанов в командировке, Хитрин сказался больным, не едет с температурой, я один, один, я даже Владилену Тимофеевичу осмелился поздно так домой позвонить, хотел посоветоваться, но тёща, недовольная, быстро отшила – молодые гуляют в ресторане на дне рождения.

Похоже, пригруженные тяжёлыми серыми веками воспалённые глаза Лапышкова застилали слёзы, страх его был заведомо сильней любых утешений, а бессердечный Соснин улыбался с дураковатой рассеянностью, какой одаривает, помогая одолевать чувство надвигающейся опасности, краткий шок. Слушал и улыбался – отложил альбом на развороте Сезанна, отыскал кисточки с акварелью под залежами старья, и – бац! И – всё хорошо, прекрасная маркиза! – колерный лист никому не нужен, красить нечего, гора обломков на мокреньком месте башни. И понаедут начальнички с командирскими голосами. Уже едут – не за одним бедолагой Лапышковым машина мчится, и навряд ли Хитрину, отвечающему за производство, позволят

улизнуть от ответственности на бюллетень; давая волю неожиданному злорадству, вообразил на фоне мёртвых коробок и сосенок ритуальный танец пыжиковых шапок вокруг обломков.

– Выше нос, Тихон Иванович, не дрейфь, ведь все целы, коли начальники придираются-ругаются будут, так такая у них работа, хвост держи пистолетом, – с нарастающим удивлением Соснин следил за роением пошловатых сентенций над кончиком языка и заодно с необъяснимой, возможно, вызванной шоком пристальностью, будто ничего не было важнее и интереснее, скользил взглядом по брошенному поперёк кресла развороту альбома, который лучился вибрацией света, блёстками воды, листвы, отнятыми когда-то у скоротечного времени, у истаявшего дня... отнятыми шероховатыми, грубыми, как коросты, напластованиями мазков; Вика посмеивалась. – Мазня... он по-детски заводился... Столько лет прошло, почему-то вспомнил.

НОЧЬЮ

Телефон молчал, шок отпустил.

И тут, однако, тупо шевельнулось беспокойство, кольнули какие-то неясные предчувствия.

Не спалось.

Уныло журчала в батарее вода. – Ба-а, да уже весна, первое марта, – Соснин мысленно перекинул листок календаря, – недаром свежие огурцы продавали.

И сразу жёсткий ритмичный звук начал царапать нервы.

Вжек, вжек, вжек – скребла фанерная лопата проезд.

Под утро снова повалил снег.

УТРОМ

Взбежал по лестнице, одолел площадку второго этажа, продрался, потеряв две пуговицы, сквозь галдящее столпотворение на третьем.

Наконец, четвёртый этаж, в мастерской пусто – проветривание.

В ТИШИНЕ

И всё же зима?

Крупы накрыли пушистые попоны, в гривы, хвосты вплелись белые пряди. Бедные кони всё стерпят! В дождь их крутые бока блестели, как взмыленные, засушливым летом зарастали пылью, сменяя на пегую привычную вороную масть.

Но в любое время года, в любую погоду они, все шестеро, неслись, несли, будто на крыльях, победную колесницу, вздыбливаясь над вогнутым обрывом Главного Штаба, цепенея от великолепия площади, которая расстилалась под их копытами; интуристовские автобусы, жужжание кинокамер, нацеленных на бело-зёлёный дворец, фото-щелчки у подножия гранитного розового столпа с чёрным ангелом в небе.

В окне, однако, обосновались округлые конские зады, хвосты, классицистический шлем, кончик пики меж жестяных флюгарок и наслоений крыши. Бледно-жёлтые голые стены внутреннего двора-колодца косо летели к доньшку из асфальта, к его видимому уголку у хозяйственной двери столовой – вонючей, грязной, заслуженно прозванной помойкой – в уголке

двора громоздились ящики, два парня в когда-то белых спецовках точили длинные кухонные ножи, положив точило на мусорный бак.

Хватит, проветрились.

Прощальная струя воздуха из поднимавшейся фрамуги шелестяще качнула гирлянды из разноцветных колечек папиросной бумаги, протянутые между шкафами, зашуршали бумажные кивера, доспехи, кокарды, не выметенные ещё после служебного маскарада в честь февральского мужского праздника.

что ещё?

А-а-а, местный телефон.

– Илья Сергеевич, – бесстрастно зажурчал из-за шкафной перегородки голос Фулуева, – сегодня срок сдачи колеров по фасадам сто тридцатого корпуса, он на директорском контроле как особоважный, у вас, надеюсь, готово всё?

– Какие колера?! Корпуса-то нет, развалился!

– Не суть, что нет! На планёрке мы должны быть формально чисты, а то подрядчик зацепится, Хитрин с Лапышковым не упустят ущучить нас...

взгляд со слуховыми и обонятельными дополнениями

Хаотичное скопление чертёжных столов с уродливыми чёрными штативами ламп, наслоения эскизов на стенах; такие же штативы, наклонённые туда-сюда, были давным-давно в институтском рисовальном классе, сквозь зудящие фулуевские тембры донёсся из прошлого даже успокаивающий и теребящий голос Бочарникова. И – проветриванием никак не выгнать аммиачный дух синек, вонь столярного клея... будто навалили тухлятины. И сколько же хранилось хлама, старья в чуланчике без двери, наполовину задрапированном линиялой тряпкой. Унылое сияние трубок с шипящей пульсацией рассеивали гнутые люверсы. Листы ватмана, накопленные на столы, заливал бледный неживой свет, зато осколок голубоватого неба над конскими круппами казался неестественно ярким.

Фулуев не отставал

– Ладно, выдадим липу, – капитулировал Соснин перед твёрдолобым занудой, у которого всегда было трудно разобрать всерьёз упёрся он или шутит.

– И бумажные украшения пора снимать, сегодня-завтра комиссию по пожарной безопасности обещали, как бы не погореть.

за черчением и чаепитием (днём)

– Лёва! – позвал Соснин, чтобы перепоручить изготовление липовых колеров и забыть, но из-за высоких старых подрамников, с трёх сторон огородивших чертёжный стол, никто не высунулся.

– Лёва бутылки сдаёт, – пояснила густо нарумяненная, чтобы перешибать съедавший краски холодный свет, пышная блондинка, – сдобная булочка, глазки-изюминки; Лида встрях-

нула рейсфедер, подула на проведённую линию и принялась скоблить бритвой кальку, продолжая что-то весёленькое рассказывать про кавалера, который увязался за ней в метро, а потом...

Тут она выдернула из розетки штепсель, покончив с бульканьем кипятильника, – попейте с нами, Илья Сергеевич.

Соснин взял, обжигаясь, гранёный стакан с взметнувшимися чайнками. Накануне в пельменной проглотил какую-то дрянь, с утра пораньше пирожок сжевал на бегу, хорошо хоть вечером пообедает у родителей.

– Последние известия! – хлопнул дверью Лёва, – председателем комиссии по расследованию назначен Филозов, завтра в одиннадцать первое заседание.

– Никто не сомневался, что его бросят на амбразуру!

– Кого же ещё!

– Заодно загладит вину перед начальством.

– Какую?

– У него неприятности из-за лекций Анатолия Львовича Шанского, лекции Филозов разрешил, не спросив на Литейном, не предупредив Смольный, да ещё читались сомнительные лекции в юбилейный год, в переполненном Белом Зале...

– Идеологический прокол.

– А после лекции кто разрешил Кешке покачаться на ресторанной люстре?

– Ой, Кешка всегда что-нибудь, не спрашивая разрешения, отчебучит!

– За ночь и Филозов многое отчебучил, себе же наворотил проблем: обломки разгребли и вывезли под его мудрым руководством, он, председатель комиссии, что будет исследовать и расследовать?

– И зачем же...

– Главное – следы замести, им всё до лампы. Кому подарочек к юбилею нужен в виде железобетонной свалки? Ко всему... Не слышали? Суслов, как назло, ехал этой ночью встречаться с избирателями Кировского завода, за ночь, пока главный идеолог храпел в салон-вагоне, из Смольного приказали убрать обломки. Ну-у-у, Филозов, после прокола с лекциями Шанского на воду дует, взял спешно под козырёк.

– В темноте...

– Проектора привезли, Зимний дворец подсветки лишили.

– Комиссию заранее подставили?

– А себе сохранили свободу рук.

– Гениально!

– И кому теперь в комиссии отдуваться за мудрость Смольного и ночное Филозовское усердие?

– От производства – Салзанову, Лапышкову.

– Салзанов выскользнет, свалит на Лапышкова.

– Файервассер не привлечён?

– Ещё привлекут, Семён Вульфович идеально сыграет роль жертвы, – засмеялся Лёва, протирая круленькие очки, – кто от института в комиссии? Вроде бы Блюминг, Фаддеевский...

– Блюминг смертельно напуган.

– Эрин-то вовремя смылся, за полгода беду почувал.

– Вас, Илья Сергеевич, на комиссию не зовут как автора? – обернулась с улыбкой булочка, – вы бы нам потом рассказали правду, а то питаемся слухами.

– Я, Лидочка, к аварии не причастен, пусть расчёты проверяют, бракоделов трясут, это хороший признак, что не зовут, – болтал Соснин, прихлёбывая сладкий горячий чай; обычно шипение ламп, звонки, стук машинки навевали к этому времени дремоту, но сейчас,

хотя плохо спал и не рассеивалась угнездившаяся ночью тревога, рад был отвлекавшему чаепитию, умиротворявшей, словно смотрел сквозь синее стёклышко, сочной законной голубизне.

Чтобы позабавиться он, как если бы его внимание поглощала тайна слипшихся на дне стакана чайнок, с серьёзной миной поручил Лёве срочное изготовление колерных листов для покойного сто тридцатого корпуса, когда Лёва, надевши очки, вылупился, как на свихнувшегося, Соснин, довольный произведённым эффектом, от души расхохотался, беспечно снял трубку зазвонившего городского телефона.

не было печали

– Илья Сергеевич, добрый день, – глухо закрикала секретарша Филозова, – Владилен Тимофеевич вызывает вас завтра к одиннадцати ноль-ноль.

– А по какому вопросу, Лада Ефремовна? – растерянно промямлил Соснин.

– Вопрос на месте, – бросила излюбленную филозовскую формулу, интригуяще дополнив её многоточием гудков.

почему-то Вика (вечером)

Автобус резко тормозил у светофоров, набившиеся в проходе пассажиры покорно валились вперёд, когда автобус вновь трогал, давали волю негодованию.

– Как работают, как работают, – рокотал круглолицый верзила в нерповой шапке, – гады, людей или дрова возят?

– Всюду брак, всюду... грязь в цехах, потом людей кормят! Животныедохнут, вонища, – отзывался обличитель безобразий на орденоносном мясокомбинате «Самсон»; могучая спина... чёрная ушанка, чёрный вохровский полушубок. – А вчера новенькая крупноблочная башня грохнулась! И кто ответит? Кто напал? Выясняй, не выясняй, погибших работяг-отделочников, молодых, едва ПТУ окончивших, не оживить...

В который раз устало перебирая события последних суток, Соснин протёр перчаткой затуманенное стекло.

Бледные, еле горевшие витрины, мелькания чёрных фигурок.

Перед Садовой автобус дёрнулся и остановился. Укачает ещё, – ощутил сосущий прилив тошноты и увидел в лиловато-прозрачном, прорвавшем туман оконце на фоне Гостиного, на краю тротуара, Вику.

Увидел и не сообразил от неожиданности, что это не Вика вовсе, а её дочь, похожая на ту Вику, повторившая её через годы. Но тут он действительно увидел Вику – погрузневшую, да ещё перетянутую широким поясом... точно её виолончель!

Вика с дочерью стояли у кучи одинаковых, очевидно только что купленных чемоданов, их недовольно обтекала толпа. А вот и супруг-дирижёр – без шапки, в короткой расстёгнутой дублёнке; размахивает ручищами, пытается поймать такси.

Автобус плавно катил мимо Сада отдыха, Аничкова дворца. Соснин с нарастающим удивлением вспоминал, что робкая мысль о Вике, как опередившее предмет отражение, почему-то шевельнулась вчера, когда листал альбом Сезанна. – Мазня, бездарная мазня, – поддразнивала Вика, он заводился...

Сколько лет прошло?

оценивая на глазок старания времени, предвкушая обед

Второй от угла Кузнечного переулка, сразу за метро, дом на Большой Московской, пережив капитальный ремонт, внешне почти не изменился, лишь простоватый его фасад посветлел после перекраски, а вот квартиры... Многокомнатные, с запутанной планировкой коммунальные квартиры, благо выходили они на две лестницы, парадную и чёрную, раздробили. О родстве с бывшей вороньей слободкой явно хотели позабыть всего четыре почти одинаковых комнаты, прислонённых к прямому, как линейка, коридору – куда подевались такие обжитые, пыльные, с ободранными обоями и прогнившим дощатым полом таинственно притемнённые раструбы и тупики, коленца, ниши? Три комнаты достались трём семьям новых жильцов, четвёртая, их комната, в которую после долгого ремонта и мытарств в маневренном фонде всё-таки вернулись родители, в результате перепланировки уменьшилась, лишившись столь дорогого когда-то для маленького Илюши аппендикса с солнечным окошком во двор.

Соснину очень хотелось есть, но задержался на лестнице, чтобы глянуть во двор, что там? Опять протёр перчаткой затуманенное стекло.

Ничего, пожалуй, не изменилось – те же плоские стены по контуру с одинаковыми окнами-пробоинами, кое-где горел свет, двигались призраки. Слева – тёмный провал, по-прежнему занятый помойкой. Однако...

Двор сжался? Раньше был больше, куда больше.

Всё, пора обедать.

Позвонил.

перед едой (накрывается старый овальный стол) и за обедом

– Ни за что не угадаешь, кого я в трамвае встретила! Смотрю, смотрю, а она узнала. Помнишь Викторию, виолончелистку? Мы когда-то в Крыму отдыхали вместе, ты пытался за ней ухаживать, – ещё не оправившись от гриппа, медленно, с видимым усилием расставляла тарелки на плотной, уложенной поверх клеёнки цветастой скатерти.

– Помнишь? – подняла глаза, поблекшие, в густой сетке коричневатых морщинок, – так это старшая сестра Виктории, Мирра Борисовна, милейшая, интеллигентнейшая, но до чего постарела! До пенсии нотной библиотекой Малого зала заведовала, удивительно музыкальная у них семья, теперь уезжают, всё бросают и уезжают, уже разрешение получено, хотя муж не хотел, он успешно концертировал по стране, ему дали звание, но дочь настояла, Виктория тяжело заболела, у неё что-то с психикой, надеются, за границей сумеют вылечить, медицина там всё же не чета нашей; отец, опустив голову, молчал. – Остаётся здесь только отчим мужа, тоже тяжело больной, балетный танцовщик в прошлом, – вздохнула, передвинула к центру стола пухлую фарфоровую вазочку с сушёными маргаритками.

И добавила. – Я себе простить не могу, что согласилась продать рояль; опять вздохнула, устала в пустой угол.

Не совсем пустой, впрочем. На простенке – довоенная крымская фотография в лаковой рамке; мать, молодая и красивая, за роялем, не за тем, шикарным, концертным, что была вынуждена продать – не везти же на маневренный фонд! – другим, маленьким и облезлобеленьким. Рука, взлетевшая над клавиатурой, эффектные мазки света на волнистых волосах; лица слушателей – в полутени, блик на лысине деда.

– У капиталистического лагеря... – слушая транзисторный приёмник, с которым, казалось, сросся, проглотил таблетку отец, кровь прилила к голове, раскраснелся... в гнилую

погоду безжалостно скакало давление, – у капиталистического лагеря, – повторил, выпив воды, – положение аховое, задохнутся без нефти, задохнутся. И медицина хорошая не поможет. Но что у нас пишут, что говорят, – отец, тыча пальцем в газету, поглядывал в телевизор, где из полосатых мельканий вырисовывался щекастый международный обозреватель.

Тут и мать очнулась. – Серёжа, ты бы хоть свежую рубашку надел, вконец опустился! И сардины надо открыть; балтийские, покойная Раиса Исааковна советовала покупать балтийские.

– Неужто лучше заграничных? Тех, с ключиком? – вооружался допотопным консервным ножом Соснин.

– Спасибо эти достала, выкинули под конец месяца.

Отец снял большущие каучуковые наушники – чёрные пористые круги, соединённые плоской блестящей дужкой; щёлкнул колёсиком «Спидолы».

– Западные демократии изнежены и слабы, их прикончит нехватка нефти. Благополучие Запада обманчиво, недолговечно, уезжающие туда – безумцы. Что их, никому там не нужных, ждёт? Смерть на чужбине?

– Они ещё пожить там хотят, увидеть мир. Отец с матерью синхронно вздохнули.

– Наш строй прочней, надёжней? – подцепил сардину Соснин.

– Конечно! Мы неприхотливы... Но с экономикой дело швах, – проворчал отец, огладил ладонью пятнисто покрасневшую лысину, тоже потянулся вилкою за сардиной.

– Стирального порошка днём с огнём не найти, позор, – подключилась мать, – сардины вкусные? Раиса Исааковна зря бы не посоветовала.

– Вчера хотел парниковые огурцы купить, не хватило.

– У нас хоть политическое положение прочное, – вступилась за отечество мать, разливая борщ по тарелкам, – нас бояться, с нами считаются. Даже рабочие одеваются в импортное, холодильники покупают. Помнишь Дусеньку? Соседку, грузчицу с кондитерской фабрики? Шоколадом нас угощала. Столько лет дружно вместе прожили, а из-за ремонта всех по городу разбросало – Дусенька вчера звонила, рассказывала с каким почётом и подарками её на пенсию провожали. Да и тебе грех жаловаться, – воодушевлялась, – на службе ценят, дай бог каждому, если б не витал в облаках, то диссертацию давно защитил бы. Плохо только, что один, как перст. Пуговицу пришить некому, вот, две уже на пиджаке оторвались, не замечаешь...

– Дай бог! – усмехнулся Соснин, – прошлой ночью дом грохнулся.

– Ужасно! Я в магазине слышала, что много людей погибло, а крановщица с ума сошла, я не верила. Сними пиджак, чтобы не забыла пришить.

– И правильно, что не верила! Никто не погиб, не спятил. Бетонные конструкции только рухнули, но теперь там и обломков нет, за ночь вывезли.

– Тебе грозят неприятности? – отец напрягся, ложка клацнула о тарелку; болезненно расплывшийся, с красными складками на шее... – его мучила одышка, расстегнул верхнюю пуговицу байковой домашней фуфайки.

– Опять? – точно испуганная птица, дёрнулась, попыталась распрямить скруглённую спину, – так волновались, когда тебя за какие-то плакаты из института хотели выгнать.

– Нет, никаких «опять», никаких неприятностей, проект в полном порядке, строители нахалтурили – в чертежи не смотрят, план гонят.

– С утра уже пьяные, всё на фу-фу... позор, а ещё трубят и трубят об успехах, юбилей хотят с помпой праздновать. Успокаиваясь, отец нацепил наушники, выдвинул антенну – выплеснулись треск, вой.

– Серёжа, дай пообедать без тарактелки, с утра голова раскалывается... если жертв нет, то и хорошо, что дом рухнул, пусть разберутся, виновных бракоделов накажут. Докатились, дома падают, просто вредительство.

Отец машинально повернул колёсико, полилась знакомая музыка.

– Что за прелесть, – заулыбалась, – Женечкин вальс... И вздохнула. – Бедный Женя, таким был заводным, весёлым, а давно нет... и Нюсеньки с Мариночкой нет. И опять устала в опустевший после продажи рояля угол.

десерт с фотографиями

– Я компота не хочу, чаю выпью, – потянулся к фотографиям, разложенным на противоположном краю стола.

Ну да, Крым.

Насупленный малыш с травинкой в руке.

Каменная, с белёной балюстрадой, терраса, выдвинутая в абрикосовый сад, кресло-качалка – виновато, да, виновато, словно врасплох за чем-то недостойным застали, улыбается, оторвавшись от книги, дед.

А вот та фотография с молодой матерью за роялем, которую, увеличив, окантовали, повесили в простенке.

И – бесшабашные, радостно-хмельные, выхваченные из южной ночи молодые лица навсегда расхохотавшихся мертвецов; вот они, Нюся, Марина, Женя...

– Счастливо, весело проводили время, – вздохнула, поджав губы, – вздрогнули морщинки на щеках, шее, – это всё Сеня наснимал... бедный.

Отец молчал, его будто бы не трогало прошлое.

– Сегодня десятилетие кончины Соркина, рассматривали фотографии, вспоминали. Григорий Аронович каждое лето у нас гостил, конфетами тебя баловал.

– Маргарита Эммануиловна, чайник кипит! – прокричала в коридоре соседка.

– В программе «Глядя из Лондона» выступал наш наблюдатель Анатолий Максимович Гольдберг... – отец щёлкнул колёсиком, отодвинул транзистор. – Я у Соркина ординатором начинал, больше нет таких клиницистов, – устало махнул рукой, – ортопедия деградирует, санаторное лечение разваливается.

– О чём говорить, если это ничтожество, Грунина, назначили замминистра, – безнадежно качнула головой мать, опуская чайник на кафельную плитку-подставку, – бедный Григорий Аронович, после «дела врачей» не оправился, не поднялся. Так и просидел остаток жизни, уставившись в одну точку.

– Почему?

– Потерял память, – открыл жестянку с чаем отец, – полностью потерял память.

– И что Соркин в той точке видел?

Отец пожал плечами. – Стёрлось прошлое, что мог увидеть? И время остановилось, будто бы исчезло – он будто не жил.

– Сначала Григорию Ароновичу путёвки выделяли в пансионаты, потом у него совсем отказала память, – вздохнула мать.

– Сразу остановилось время, внутренние часы сломались?

– Бывает, что время сразу останавливается, при мозговых травмах, бывает постепенное замедление, затухание. Старик, теряя прошлое, превращается в ребёнка, впадает в детство, – отец говорил тихо, с опущенными глазами, словно сам себе объяснял, – но в отличие от ребёнка старику, теряющему память, ничего не интересно вокруг, он не возбуждается, не реагирует на раздражители; смотрит в точку не потому, что в ней хочет что-то увидеть, а потому, что ему безразлично куда смотреть, не переводит взгляда.

– Был жизнерадостный, любил танцевать, – последовал сокрушённо-тяжёлый вздох, и вдруг мать снова заулыбалась, как если бы снова зазвучала прелестная женечкина мелодия, – а Душский тебя «ребёнком наоборот» прозвал за упрямство... такой остроумный, весёлый.

– Это он? – Соснин поднял фотографию с надорванным краем, – он жив?
– Тьфу-тьфу, слава богу! Леонид Исаевич, любимый ученик Бехтерева, до сих пор заведует кафедрой и отделением больницы, такая нагрузка...

– Усидел при всех колебаниях генеральной линии, – завидуя ли, осуждая, отец заваривал чай.

– А где Илья Маркович? – рассеянно перебирал фото Соснин.

– Когда Илью Марковича арестовали, фото мы уничтожили, не верилось, что увидимся. Даже его готовальни в шкафу боялись, под бельём прятали. Каждую ночь ждали, что и за нами приедут.

– Тебе не представить, страшное время. И не месяц, не год страха – десятилетия. Молча отец отбивал по столу негнушимися пальцами дробь, наверное, вспоминал как бросал, спасаясь, юридический факультет, поступал на медицинский... досталось ему; выжить было посложнее, чем умереть.

– А помотришь на фотографии – веселье. Вы, скованные страхом, демонстративным весельем доказывали свою верноподданность? Мол, смеёмся, нам нечего бояться?

Отец с матерью промолчали.

Пока перебирал фотографии, почему-то захотелось выудить из бытовых сценок что-то ещё, что-то, что, почувствовал, сквозило из-за счастливых изображений, заодно захотелось склеить случайные осколки, застрявшие в памяти. А внимание отца с матерью – она, с напёрстком на пальце, не очень-то умело пришивала к пиджаку пуговицу – уже притягивал телевизор: отставив округлые, как надувные подушечки, задники, кружились в смешанном катании фигуристы.

– Я возьму фотографии? На время, чтобы повнимательней рассмотреть.

– Не потеряй, это последнее, что у нас осталось. И отцу, шумно дышавшему, раскрасневшемуся, напомнила. – Прими, Серёжа, циннаризин, прилив у тебя.

– Бесплезно, – сказал отец.

Пара, которую прочили в победители, завершала номер упоительным тодесом.

поздний вечер, мороз, полнолуние, всего несколько шагов до метро (окончание пролога)

Подумал, что отец прав – силовые линии мировой политики, как шупальца, тянутся к месторождениям нефти.

Очередь покорно ждала такси... так и стоят, покорные, год за годом.

Подморозило.

Подморозило в первый день весны.

На узком тротуаре Большой Московской пунктирно раскатались – до самого метро – ледяные дорожки; разбежался, оттолкнулся и заскользил, заскользил, снова разбежался и оттолкнулся...

Холодная, блестящая, словно сталь-нержавейка, луна с туманно-радужным нимбом неслась сквозь рвань муаровых тучек. А когда-то в Крыму луна внезапно налилась зелёным, ярким огнём, им пропитывался вокруг луны и бархатисто-тёмный небесный свод, а рыжеватая тучка, – вспоминал, разволновавшись, Соснин, – походила на свернувшийся обгорелый клочок папиросной бумаги, сквозь него, при напознании на сияние зелёного диска, просвечивали лунные горы.

Вика уезжает... заболела и уезжает.

Вика и – Нелли?!

Если верить Шанскому, Нелли уезжает тоже. По словам Шанского Нелли поторапливала своего гениального муженька-физика, одержимого безумными идеями, спуститься с небес на землю, а сама тем временем собирала для ОВИРа нужные документы, якобы намеревалась и с Сосниным созвониться, чтобы подписал какую-то справку. Странная повторяемость. За Викой сразу появляется Нелли... ну не смешно ли? Как и лет десять тому в Мисхорском парке, едва одну повстречал, сразу же и другая, там же, как по заказу. Что за тайная связь?

Ещё толчок, скольжение с резкой остановкой у поворота к ступенькам метро.

Оглянулся.

Горели окна домов на Большой Московской, запертой у тупого излома улицы тёмным объёмом трёхсотой школы. Окно погасло, ещё одно. И почему-то вспомнилось как гасли последние окна давней осенней ночью, как шёл под дождичком по безлюдному Загородному, журча, вытекали ручейки из водосточных труб... шёл по Загородному и не знал, что его ждёт, сейчас тоже не знал, что будет с ним завтра... тогда, глубокой ночью, не было очереди на стоянке такси.

И зачем назавтра вызывает Филозов? К одиннадцати ноль-ноль. После дневного звонка Лады Ефремовны оставался неприятный осадок. В самом деле, зачем? Какое он мог иметь отношение к разбирательствам на комиссии?

Толкнул дверь метро.

от автора, не склонного просто и кратко объяснять простые (по сути) вещи

Вопросы, вопросы, как сразу на них ответить?

О, ответы на эти ли, другие вопросы, которые станут, множась, донимать Соснина, нам ещё искать и искать, да так искать, чтобы и карты на стол не выкладывать раньше срока, и окончательно не запутывать повествование, перемешивая бессчётные подробности с неизбежными умолчаниями.

Как? Старая тягучая песня...

Как рассказывать, если, разлагая сложное явление на составные части, неизбежно его уничтожаешь? Если мысли прыгают, а сплошь последовательному рассказу претят столь милые Соснину пространственность и объёмность, как таковые? Они ведь воспринимаются с разных точек зрения, в сменяемых ракурсах.

Заглянув в композиционные шпаргалки, автор берётся за раскрой времени, меняет, примеряя и соизмеряя, местами отрезки... – пример Соснина, вольно, возможно, чересчур вольно ломавшего последовательность событий, оказался заразительным! Нет-нет да осматривая историю целиком, *in toto*, как не преминул бы уточнить Шанский, автор изготавливается отложить её на потом... – совсем в духе Соснина – перенести её, необозримую, но фактически сжатую четырёхмесячным интервалом между прологом и эпилогом, за эпилог, а пока – задержаться на самом эпилоге, другими словами, как того и желал Соснин, начав изложение истории, перескочить в её конец... Уф, надо б попроще, да нельзя – прологу было невтерпёж, пролог действительно завидовал эпилогу, и теперь, когда с собственно прологом покончено, автор, подчиняясь герою-соавтору, спешит предварить историю её итогами, дабы затем, при её неторопливом и подробном развёртывании, ничто бы не мешало, не отвлекало. Решено! Всё то, что знаем мы и ещё узнаем, всё, что случилось с Сосниным за четыре месяца после внезапного обрушения, всё-всё, что вспомнил он, увидел и понял наново, начиная с этого вот морозного полнолуния у метро вплоть до открытия смехотворных судебных слушаний, дотянувшихся до макушки лета, или, если быть хронологически точным, всё, что свалилось на нашего героя, потерпевшего и претерпевшего, с вечера 1 марта 1977 года по вечер 2 июля того же, 1977 года включи-

тельно, мы и разберём-изложим после эпилога, а пока наш герой, отягощённый, умудрённый, изумлённый всем тем, что ему открылось и пребывавший благодаря своим открытиям к формальному началу юридических процедур в растрёпанных, мягко говоря, чувствах, отправится на Фонтанку, к зданию городского суда.

чуть не опоздал на предварительные судебные слушания (начало эпилога, довольно робкое)

Проснувшись, он, однако, поспешил на Мойку, на службу.

В субботу Фулуев около полуночи позвонил, хуже клеща вцепился. – Забегите в понедельник чертежи подписать, вдруг вас, не приведи господи, в зале суда возьмут под стражу. Шутник этот болван Фулуев, мрачный шутник! А ведь за пять-десять минут до слушаний ещё надо было успеть познакомиться с адвокатом, такой вот рекорд скоростного судопроизводства, чтобы за пять минут до...

Но – отлегло от сердца – издали заметил прохаживавшегося по тротуару перед зданием суда Файервассера с солидной кожаной папкой, набитой защитными документами, – Соснину только опоздать не хватало...

у массивных дверей суда

Семён торопливо поздоровался, сунул Соснину вырезку из газеты.

Заметка называлась «Рухнутся небоскрёбы»: «За последнее время в Пакистане произошло несколько случаев падения домов. В апреле рухнул небоскрёб, строящийся на одной из центральных магистралей Карачи. Незадолго до этого развалился дом, похоронивший под своими обломками около 300 жителей. По сведениям газет, катастрофы происходят в первую очередь из-за грубых нарушений правил строительства и отступлений от стандартов строительных материалов».

– Догоним и перегоним Пакистан? – бросил Соснин, а пока Файервассер – уж он-то, конечно, гарантировал соблюдение «стандартов строительных материалов»! – пока Файервассер, обиженный легкомыслием приятеля-подельника, который не оценил защитный потенциал заметки, насупившись, старательно укладывал её, таящую какие-то спасительные аргументы, в свою волшебную папку, Соснин осведомился с совсем уж неуместной весёлостью. – Или как эпиграф сгодится?

И потянул дверь – в вестибюле поджидал адвокат.

беспрецедентный судебный казус (смех без причины)

Едва открылся сляпанный в пожарном порядке процесс, едва все – обвиняемые, сочувствующие, пенсионеры-зеваки – уселись на разношёрстных стульях в комнате с несвежей жёлто-коричневой обояной клеткой, и судья, одутловатая, бородавчатая женщина в годах заунывно завела: февраля... года... в двадцать три часа сорок минут... в квартале... произошло полное обрушение... нанесло государству существенный ущерб в размере ста сорока тысяч семисот шести...

Едва она выговорила «шестидесяти рублей», Соснина стал душить громкий залихватый беспричинный смех.

Худющий, с нездоровым лицом, прокурор в великоватом ему мундире конвульсивно дёрнулся, испуганно отодвинув бумаги, судья споткнулась на полуслове, у заседателей слева и справа от неё – крепкого усатого брюнета и светловолосой, в голубых жилках на бледных щеках и бесцветном газовом шарфике дамочки с алым ртом – поколебались каменные выражения лиц, и ещё кто-то зашикал, кто-то из толпившихся в коридоре в ожидании своего процесса просунул голову в дверь, чтобы справиться о причине шума, но хотя получившийся сквозняк и подхватил пару прокурорских бумажек, их общими усилиями водворили на место, и заседание, тут же перейдя к обвинительному речитативу, потекло дальше со всей серьёзностью – внезапное веселье отпустило Соснина; он, изнывая от скуки, узнавал свои фразы-возражения, которыми пытался парировать на допросе чересчур уж своевольные и смелые допущения следователя Стороженко, фразы эти, которые следователь предусмотрительно занёс в протокол, теперь обильно цитировались прокурором; он начал по канону, за здравие: в год, когда весь советский народ готовится трудовыми успехами встретить шестидесятилетний юбилей Великой Октябрьской... – а затем взялся саркастически вкрапливать в обвинительную речь дурацкие пассажи о красоте, её непостижимости – прокурор, словно вознамерился потешить публику, гневно потрясал справкой, сочинённой подсудимым по настоянию Филозова...

Соснин рассматривал стол на подиуме, обшитом паркетной клёпкой, пролежни на искусственной коричневатой коже трёх узкоплечих кресел с высокими спинами, которые чуть ли не наполовину заслоняли окна, приоткрытые в погожий солнечный день; один из широченных подоконников, если не считать ультрамариновой тени рамы на нём, был пуст, на другом красовалась ворсистыми лишаями бегония. Стоило же судье, растягивая слова и, видимо, пытаясь вызвать обвиняемого на откровенность, спросить. – Почему это смогло случиться? Вы отрицаете свою вину, но меня интересует ваше мнение как специалиста, – у огульно обвиняемого свело чем-то кислым рот и к собственному удивлению он вместо ответа опять расхохотался, поймав при этом завистливо-восхищённый взгляд Файервассера, надо думать, заподозрившего его в хитроумной игре с покорным звонкам из Смольного правосудием, игре, которая и без помощи мямли-адвоката должна была обеспечивать Соснину защиту.

состояние

Вот именно – почему? И – как?

Самому это давно уже интересно – извилисто пронеслось в голове – разве не он сам придумал эту историю и теперь инсценирует её?

Да он и автор, и режиссёр, и все-все актёры... Стало легко и весело, он от души рассмеялся, будто освободился. И больше не оставалось мочи бороться со смехом, его было не унять, смех рвался откуда-то из глубин души, вырвавшись, подчинял себе звуки-тембры, сотрясения тела и каждой мышцы.

Кожу зудило, как при чесотке, и, захлёбываясь шумным приливом, Соснин раздирал кожу на шее и подбородке жадными пальцами; и ещё чесалось нёбо, глазные яблоки, он ощущал щекотку и изнутри, какую-то изводящую изнаночную щекотку... ко всему за высокими окнами, смотревшими во двор, шевелилась тополиная листва, заметённая пухом, нос разбух, приходилось то и дело вытирать слёзы.

смех-смехом, а

Смех рождался из ничего.

Взгляда, брошенного на кружевной платочек, высунувшийся из судейского кармана, или на усы заседателя, вполне хватало, чтобы накатила приступ. И не разобрать было, что это – беспардонный розыгрыш, граничащий с хулиганством, насморочное носовое хлопание или рыдания.

Соснина попробовали урезонить, призвать к порядку.

– Соблюдайте приличия, вы же интеллигентный человек, – растерянно выкрикнул прокурор, подержал паузу и, словно прося сочувствия у сошедшей публики, чуть заикаясь от волнения, признался: я в-первые за многолетнюю практику сталкиваюсь с подобным случаем.

– И я впервые сталкиваюсь, и я... до чего ж интересный случай! – дурашливо закивал подсудимый и соорудил такую рожу, что у знавших его глаза повыскакивали на лбы, а недо-тёпа-адвокат, который давно уже не рад был, что его втравили в этот рискованный пред-юбилейный процесс, давая понять, что порицает проделки подзащитного, беспомощно развёл руками, дескать, сами видите, ну и ну.

Но и на этом Соснин не утомился.

Вообразив прокурора без синего мундира с петлицами и получив квартального алкаша, выпрашивающего у гастронома гривенники и подбирающего бутылки, он прямо-таки взорвался смехом. Увидев же узор текстуры на деревянном барьерчике со скрипучей калиткой, которую открывают-закрывают стражники для пропуска преступников, Соснин захохотал с новой силой, хотя узор-то ничего весёлого не напоминал, лишь невнятно просвечивал сквозь слои бейца, загрязнённые царапины и пятна-жировики, оставшиеся за долгие годы от потных рук; смотрел на тусклый узор, а видел-то другой узор, прихотливый, в нём столько всего сцепилось, он, к примеру, мысленно перечитывал письмо Нелли из Италии, ту страничку, что ему по ошибке показала Жанна Михеевна, и – смеялся неведь чему, наверняка зная, что ничего весёленького Нелли не сулила судьба.

И всё же – смеялся, смеялся.

Вот так подсудимый, которого вот-вот возьмут под стражу!

Он и сам грешным делом подумал в какой-то миг – что это, запоздалая нервная реакция на шутку чёрного юмориста Фулуева?

Или, может быть, его смех в соответствии с известной формулой стал всего-то естественной реакцией на расставание с прошлым?

да, смех-смехом, а над процессом государственной важности нависла угроза срыва

Да, всё отладили, запустили и вдруг... сломался смазанный механизм показательного процесса.

Сперва смех квалифицировали как вызов закону, как преднамеренное неуважение к правосудию.

– Вам не позволят издеваться! – утираясь платочком, обещала судья и сдавливала виски короткими пальцами, после чего с помощью заседателей уволакивались в совещательную комнату толстенные тома дела, возмущённо хлопывалась распухшая, в чёрном дерматине, с торчками по краям грязной ваты, дверь, что неизменно вызывало у второго подсудимого, Файервассера, который мысленно аплодировал смеховым выходкам Соснина, довольный – по остроумию, как обычно, наблюдению Шанского, забежавшего на процесс, – самодовольный кивок.

Скоро, однако, процесс увяз, прения пришлось откладывать и назначать медицинскую экспертизу.

ТЯГОМОТИНА

Соснина подробно обследовали, заглядывали в разные полости, вставляли, куда хотели, холодные блестящие зонды, трубки, и, всецело доверяясь диагностическим техническим средствам, жалобы на духоту и тесноту пропустили мимо ушей, а далёкий-далёкий гул, который сверхчуткие импортные приборы в конце концов сумели прослушать, скорей всего испускал застарелый, неопасный и явно не относившийся к делу инфильтрат в лёгких. Из сбивчивых пояснений Соснина попутно установили, что ежегодно и как раз в это время года его донимает течью из глаз и носа сезонная аллергия, что недавно он сильно укачался на яхте, затем... – нет-нет, случившееся затем, после плавания, он благоразумно обошёл молчанием, хотя все аномалии его состояния, поведения объяснялись тем, надо думать, что на него свалилось тогда, когда ступил с шаткого судёнышка на земную твердь – вообще-то его с детства мутило не только от качки на воде, но и в такси, в провонявшем бензином автобусе, ох, как ему бывало тошно иногда, вы бы знали! Но ведь каждому мало-мальски грамотному врачу понятно, что от насморка или рвоты не расхохочешься, и потому в последний момент вернулись-таки к путаным жалобам Соснина на боязнь тесноты, духоты, понадеялись вывести причину оскорбительного смеха из душевной болезни.

поворот в довольно-таки квёлом сюжете, который случился на решающем приёме у видного психиатра

Сухонький старичок-профессор в идеально-белом халате, отрешённо ударявший по коленке Соснина никелевым молоточком, уже готовился выгнать вон симулянта, которого собственная участь, похоже, ничуть не волновала, когда зазвонил телефон.

Раздражённо взяв трубку и сухо заговорив, профессор осёкся, поспешно поменял тон. – Риточка? Боже мой, милая, сколько лет, сколько зим! – и, замурлыкав, с нескрываемым любопытством, будто не с полчаса назад, в сию секунду, перед ним посадили снежного человека или ещё какое-нибудь достойное кунсткамеры человекообразное био-чудо, глянул на пациента поверх очков, а, галантно распрощавшись, осторожно положив трубку, покачал мечтательно головой и уже с профессиональной бесцеремонностью присосался к Соснину глазками-пиявками.

что показал и доказал профессору, не чуждому (как оказалось) сентиментальности, пристрастный осмотр скандально-смешливого пациента

Конечно, симптомы психического расстройства – страх тесноты, сдавленности, жалобы на духоту – по-прежнему казались невразумительными, но неумение сходу объяснить на языке своей науки смеховую припадочность, укололо самолюбие знаменитости.

Досадуя на свою недогадливость, профессор параллельно тут же припомнил две-три нехитрых, знакомых и студентам-хвостистам теорийки, согласно которым астеническая конституция Соснина – сутуловатого, с длинной и узкой грудной клеткой, длинными конечностями, удлинённым лицом – выдавала типичного шизоида, оставалось только увязать замкнутость, опрокинутость, как в обморок, в душевные бездны, разлад между внешними стимулами и спонтанными ответными реакциями с дурацким смехом. Увязать-то несложно. Профессор

и сам готов был сострять, если угодно, теорию, которая ошеломила бы логикой и красотой нынешних недоучек, с его-то знаниями и интуицией не сложно и толстый роман накапать, поглядывая на физиономию шизоидного флегматика, не сложно, но не очень-то интересно. И некогда. А ему, этому флегме, если бы не требовалось официальное заключение для суда, он от души порекомендовал бы не домогаться лечения от таинственного смехового синдрома, а пропьянствовать с весёлыми бабёшками недельку-другую, потом хорошо проспаться... или всё не так уж и ясно? Флегматик он или меланхолик? Психотипический коктейль? Вообще-то внешность нежданного пациента располагала... дохнуло чем-то давно знакомым. Упрямый был карапуз. Все плясали вокруг него, а малец норовил сделать по-своему, наоборот; профессор поморщился, за открытым окном гоняли мяч. Припомнился довоенный Крым, шумная пляжная компания, и он сам, молодой, её веселящий нерв. С белозубой загорелой женщиной возвращался из курзала, с концерта короля гавайской гитары, спутница спешила, боялась – заснул ли мальчик? Повзрослев, уж точно заснул. Вот бы узнать о чём, спрятавшись в себя, думает. Или ни о чём не думает, считает пылинки в луче и боится сбиться? – пронзив вазочку из фиолетового стекла, луч растекался по белому столику и халату ассистентки нежно-сиреневым акварельным пятном. Но почему он должен утекать в больницу, где койки наперечёт, практически здорового? Не такой уж плачевный вид у него, чтобы забирать в отделение. Скажите, пожалуйста, нервы натянуты! Будто у других нервы провисают, будто других жизнь балует! Раз судят, значит, натворил что-то, пусть и случайно натворил, по халатности, забывчивости, но что-то наверняка натворил, дом упал, люди погибли, а он хихикает. Пора бы и за ум братья. Так-так, отмерим-ка седьмой раз: сорок два года, хм, кризисный возраст... холост... с чего бы? Ах, был женат, недолго... почему, почему, но почему, собственно, он сам холост? И что бы он чувствовал, если бы у него самого был такой вот, невесть что возомнивший о себе сын-подсудимый? Попробуй-ка, ответь! Хм, недаром гордецов-архитекторов недолюбливал, такой город норовят испоганить, наладились нести высокий вздор в свою защиту. А-а-а, вспомнил, вспомнил, это чуть ли не семейная профессия, кто-то ещё у них в роду... да-да, и пламя прежнего желанья опять зажглось... – крутилась патефонная пластинка. Да, некстати позвонила, разбередила, так неожиданно... скажите, почему нас с вами разлучили... Старый пентюх, на что жизнь ухлопал? Многолетняя борьба за успех, научное положение оттяпала ощущения счастья, радости, да, из кожи лез вон, добился всего, но без полёта, и ни на что, даже на умиление прошлым, не остаётся сил. Ох, и без её звонка хватает волнений – к вечеру, как выжатый лимон, ломит в висках, надо бы побережиться. Сколько же лет прошло? Подсчитывая, не сводил липких чёрно-блестящих глазок с Соснина, высасывал из него душевные тайны, требовательно перебирал и раздвигал трепетные ткани души, как лёгкие воздушные занавеси, отыскивая заветный проём, – а-а-а, угадал-увидел, ясно, он переживает муки какой-то метаморфозы, у него, бесспорно, гипертрофированный, заливаемый горючими жалобно-восхищёнными слезами внутренний мир, он наделяет его всё большей многозначительностью, при том, что защитная броня всё толще, надёжнее. Господи, да ясней-ясного, что его одолевают невидимые со стороны припадки чувствительности, как удары падушей, изводят надуманные кошмары, он порет сам себе глупости о себе, в которые вдохновенно верит. И раздувает из искр пожары, собственные душевные бури убеждают его в активности, порой он воображает, будто носится взапуски, хотя еле-еле переставляет ноги. А едва посмотрит на себя со стороны, раздваивается. И предметы, образы предметов дwoятся в его сознании, точно в глазах у пьяницы. Но разве это болезнь, требующая изоляции? Такие типы, правда, шарахаются от скованности к судорожным порывам, в какие-то моменты внутреннего переполнения они внезапно взрываются. Вот вам и связь! Её надо лишь победительнее обосновать, что при широком научном кругозоре и богатом клиническом опыте труда не представит, хм, обосновать... – как водится, фантазиями, допущениями? Слов нет, хороша наука! Что же всё-таки его рассмешило? И так вызывающе, на суде! Неужто, это притворство? Нет,

чересчур искусно надо было бы притворяться, лицедейство – особый, хотя и распознаваемый с помощью простых тестов дар, а в болотно-дымчатых глазах Соснина, вяло отвечавшего на вопросы, рассматривая при этом кушетку под бежевой клеёнкой и белый шкаф с пузырьками на стеклянных полках, светились одарённостью иного рода, во всяком случае, в нём нельзя было заподозрить ни врождённую страсть к игре на людях, ни натренированное умение опять-таки на людях сменять серьёзную мину на залихватый смех, нет, обвинение в симуляции отпадало. Соснин, тем временем, приопустив веки, сравнивал нынешнего остепенённого корифея измученных душ, проштрихованного ресницами, с доисторическим молодым остряком в облаке фотовспышки. Какая же сухая и графичная, какая образцово-чистая, деловитая старость! – твёрдый воротник сине-полосатой рубашки сжимал обвислые, тщательно выбритые складки подбородка и шеи, чёрный узкий галстук идеальной биссектрисой делил надвое нагрудный треугольник между белыми отворотами накрахмаленного халата. Сцепив желтоватые пальцы, чуть покачиваясь и касаясь грудью края стола, профессор заново переживал телефонную беседу, задевшую болезненную струну, по сморщенному, как мятый пергамент, личику пробежали глуповатые волны воспоминаний; играл духовой оркестр в курзале, вертелись, угольно посверкивали пластинки. Когда на землю спустится сон... Ласково баюкая острый ум, прошлое понуждало интуитивно поверить в глубинную болезненную природу смеха и – исключительно для блага науки – понаблюдать за динамикой психического феномена в стационаре. Хотя наука-то как раз побоку. Он ведь и без длительных наблюдений угадал в нём травму метаморфозы, серьёзную, очень серьёзную для самоощущений невротика, но для науки тривиальную вполне травму – похоже, он испытал какое-то потрясение, резко изменился-переродился, изменился весь-весь, да так резко, внезапно, что о метаморфозе ещё не подозревают клетки, молекулы, вся инертная органика тела, он другой, а материя его – прежняя, ко всему и окрест него всё-всё протекает по-старому, так, как с давних пор повелось, хм, он-то другой, а белый свет не перевернулся с ног на голову, чтобы немедленно убажить, и потому любая равнодушная к нему мелочь способна спровоцировать подлинный психический срыв, не то что смех. Ну за чем ещё наблюдать? За тем, как он будет многократно возвышаться и падать в своих глазах? Нет уж, хватит, навидался всякого за долгий врачебный век. После короткой внутренней борьбы он, однако, сдался на милость прошлому. Кольнув недовольным зрачком ассистентку, которая портила ему музыку – во время телефонного разговора с напускным безразличием, хотя и посматривая в отражавшее стекло шкафа, взбивала волосы, затем, придвинув вазочку, с томной улыбкой обнюхивала ромашки – наскоро сочинил историю болезни про противоречивый, необычно расщепившийся и потому чреватый для душевной сферы опасной разбалансировкой психосоматический компонент. Повернувшись к окну, – голубело над Невкой и густой листвой небо – опять вспомнил что-то далёкое и приятное, пригрезилась романтическая мазанка на морском берегу, рыбацьи сети, гора, похожая на чей-то профиль; подчиняясь требовательному воспоминанию, он дорисовал на солнечной картинке гребешки волн, кружева дикого винограда, взбалмошную женщину в гамаке, с которой был бы, возможно, счастлив, и ещё подумалось вновь, что жизнь обошла стороной и не известно сколько осталось, хорошо хоть голова пока ясная, получше, чем у многих молодых, варит, хорошо, что хоть кому-то пока можно сделать доброе дело; вздохнув напоследок, он, поборник самодисциплины, приказал себе больше не раскисать, расписался с властной размашистостью – профессор Л. Душский – и Соснина увезли.

куда?

Это почему-то было принципиально для Соснина; сначала не удосужился заглянуть в направление, потом не спросил, теперь, в старенькой машине «Скорой помощи», вызванной ассистенткой Душского, гадал, прижавшись к стеклу.

Ехали переулками с Петроградской стороны, петляли; кафедра психиатрии ютилась в одном из обветшалых тесных особнячков, принадлежавших медицинскому институту, но где клинический полигон? Загадал, когда помчались вдоль Невы, по Английской набережной, а уж когда свернули к площади с тёмным клином Новой Голландии, выскочили у Поцелуева моста к Мойке...

Угадал, наверняка угадал!

Ну да! С Поцелуева моста свернули под балконом деда направо.

До чего знакомые выбоины, трещины на асфальте, который расстилался безбоязненно под колёсами! Неужели всего две недели назад проезжал здесь? Слева наваливался торжественный и жёсткий фрак сухощавого нобелевца, справа – шёлковая пижама насмешника-сибарита с сильным спортивным торсом, как управлялся с рулём и тормозами, следил за дорогой? Вдоль домов – тот же узкий просевший тротуар с волнистым выщербленным бордюром. И – на той стороне реки – крутой травянистый бережок с поздними одуванчиками привычно окунался в неподвижную буро-зелёную, тронутую там и сям небесной рябью Мойку, вот и арка, разорвавшая тёмные кирпичные стены, пропустившая под собой одетый в гранит канал. И – угол Английского проспекта, за углом, за баскетбольной площадкой, обсаженной молоденькими берёзками, громоздкий угрюмый дом, промелькнули общепитовская вывеска, подворотня... вот и чёрные железные трубы на берегу Мойки, цеха с выбитыми, как после бомбёжки, стёклами, буксиры у ободранного, заляпанного мазутом бревенчатого причала. Вода кажется стоячей, лишь присмотревшись, увидишь, что плывёт пух.

Потянулись запылённые растрёпанные кусты жимолости, уже сбросившие на землю цветистый мусор.

Налево лениво потекла Пряжка; на зашлифованном до блеска шинами дощатом настиле Матисова моста взметнулись пушинки тополиного пуха.

привезли (психбольница мельком)

Подъезд к острогу? Две сторожевых будки с плоскими треугольными фронтонами фланкировали главные глухие ворота; будки – оштукатуренные, жёлтые... торжественно! – машина с не выключенным мотором нетерпеливо вздрагивала по оси ворот, слева и справа с важной подозрительностью – пускать, не пускать – поглядывали одинаковыми узкими глазками-оконцами одинаковые будки с фронтонами... ворота нехотя, медленно и плавно, открылись.

П-образный блекло-жёлтый дом, вдавленный в землю; курдонёрчик, обращённый к охраняемому, как в тюрьме, зашитым стальными листами чёрным воротам.

Тягостное ожидание в полумраке приёмного покоя.

Стойкий запах мочи.

Кислый дух половой тряпки.

Потемневшая побелка... Какие-то казённые задраенные окошки, в них по очереди стучал, да так и не достучался шофер «Скорой помощи», чтобы отметить путевой лист; бегодня, переругивание санитаров, поиски регистрационного журнала; фальшивые насвистывания за некрашеной деревянной перегородкой марша тореодора. – Его Леонид Исаевич прислал? С медкомиссии? – хрипло спросила кого-то, очевидно умолкшего свистуна, оценивая Соснина бесцветными глазками, как если бы был он неодушевлённым предметом, пожилая толстая врачиха с обвислой землистой кожей на щеках и ядовито-красными, жирно нама-

занными губами; не удостоившись из-за перегородки ответа, снова побежала искать журнал, глухо зашлёпала стоптанными босоножками по выбитым тут и там из цементных гнёзд песочным и болотным, ещё старорежимным, метлахским плиткам. – Он спокойный, не переломает там всё? – пророкотал за перегородкой мужской голос, принадлежавший, наверное, свистуну; ему никто не ответил. Вдруг шумно распахнулось одно из фанерных грязно-коричневых окошек, которые связывали приёмный покой с хозяйственными коморками, из окошка по плечи высунулась нечёсаная беззубая кастелянша и прокричала в пустоту, машинально смеясь, однако, при этом Соснина потухшим взглядом. – У него какой, сорок шестой или сорок восьмой?

Почему они... обо мне в третьем лице? – вздрогнул Соснин – может быть, меня уже нет? И кто – они? Прошиб пот... всё пожухлое, безжизненное...

Глухое окошко захлопнулось.

Никого.

Если не считать мух, нехотя ползавших по столу, по клеёнке.

Предбанник ада? – прохаживался Соснин, – где-то тут, за бункерными дверьми, пряталось и отделение для политических, где верховодили врачи-гебисты, вспомнил о Валерке. – Что ему Леонид Исаевич поставил, маниакально-депрессивный? – приближаясь, прохрипела за перегородкой врачиха.

Наконец, зарегистрировали и переодели, вызвонили по телефону амбала-проводящего – низкий лоб, пухлые плечи, такой вмиг скрутит... повели.

Длинный коридор третьего этажа с облупившейся панелью, а над панелью, между дверьми палат...

И сразу – отлегло!

И – дивный прилив какой-то возносящей энергии!

Стены коридора, по которому вели к палате, были увешаны сомнительной, явно самодеятельной масляной живописью, изрядно выцветшей, но такой знакомой, близкой. Ну да! – голубая гора, сине-кобальтовая гора, ультрамариновая гора – гора вдаль, за слоем воздуха, вздувалась над морем, спереди торчали, уходя в перспективу набережной, пирамидальные тополя.

А в пропахшей мочой палате с четырьмя железными кроватями – окно с решёткой.

Замечательное окно!

простейшие лечебные назначения и поверхностные врачебные умозаключения относительно чудесного выздоровления Соснина, а также его тишайшего нрава

Лечение началось с беспощадной прочистки желудка, однако затем всё было не так страшно. Строгий режим, душ «шарко» и курс внутримышечных вливаний – глюкоза, ещё какие-то витамины – благотворно и быстро, куда быстрее, чем можно было ожидать, сказались на общем состоянии и поведении Соснина; он даже прибавил в весе.

Он больше не хохотал, ни на что не жаловался, склонность к буйному помешательству, которую в тайне от профессора, почему-то лично опекавшего больного с невнятным диагнозом, заподозрил Всеволод Аркадьевич, суматошный лечащий врач-доцент по прозвищу Стул, не подтверждались. Растрёпанный, забегавшийся, непрестанно что-то выговаривавший постовым сёстрам, Стул был повсюду одновременно; болтался на шее стетоскоп – на кой ляд стетоскоп психиатру? – торчали из нагрудного кармашка халата какие-то тонкие и потолще трубочки, бренчали в боковом кармане ключи – дверь на лестницу им собственноручно отпиралась и запиралась, ещё он проверял щеколду, засов. И тотчас заглядывал в клизменную, проверял не отлынивали ли больные от очищающих назначений. Из гущи своих забот Всеволод

Аркадьевич цепкими, излучавшими фальшивое благодушие глазами успевал следить и за Сосниным, опасался срыва. Однако сомнительный пациент был тих, в задумчивости подолгу простаивал у окна палаты, даже кратких вспышек аффектации – именно их как симптома надвигающихся буйств ожидал бдительный доцент – не наблюдалось и поэтому Соснина продержали взаперти всего несколько дней.

Судя по всему, после того, как прорвался на суде маниакальный хохот, наступил спад эмоций, возможно также, что под видом деятельной самоуглублённости скрывалась расслабляющая депрессия, но пока – ничего угрожающего. Стул успокоился и, разумеется, с согласия профессора разрешил прогулки в саду.

С тех пор Соснин после процедур ежедневно прохаживался взад-вперёд под высокой желтоватой стеной, похожей на монастырскую, но с пиками добавочного, как в тюрьме, яруса железной ограды, или, присев на садовую скамейку, что-то писал, его поведение оставалось не очень-то понятным, хотя вполне безобидным, самочувствие не внушало опасений и месяца через полтора его выпустили долечиваться – активный отдых, те же витамины – на воле.

текстотерапия?

Возможно, вполне возможно.

чуть-чуть поподробнее о зуде писательского блаженства в комплекте с хотя бы двумя насущными отвлечениями, персонифицированными, главными для Соснина героем и героиней дурдома на Пряжке

Где-то высоко-высоко, у забранных решётками окон палат возились, шумно перелетали с ветки на ветку вороны, а Соснин писал, забившись в сырую темень кустов. Дрожью по спине пробегал шелест листвы, пятнистые подвижные тени вкрадчивыми лиловыми касаниями торопили руку к новой строке – вот когда ничто уже не мешало собраться с мыслями! И каким же блаженством было писать в саду, растворяясь в тенях, бликах, писать и замирать над пустой страницей, оставаясь наедине с собой, своими расквитавшимися с душевным равновесием картинками-образами, которые заполнили сознание за это сумасшедшее время и теперь наперегонки с тысячами посторонних вещей рвались на бумагу, как если бы обещали новые открытия, дополняющие и уточняющие всё то, что ему открылось уже, а он, привередливый, охваченный неизъяснимым волнением, сулившим чудо чего-то, что сам он загадывал как добавочное открытие, возможно, что и сверхоткрытие, если таковое вообще возможно, сдерживал, пока хватало сил, их напор, но вот бухала с Петропавловки пушка, панически загомонив, взлетали вороны, полуденный клинок света врубался в густо-зелёный сумрак.

Поворачивал лицо к солнцу.

Сахаристые облака неуклюже сползали с взгорбленных грязно-коричневых проржавелых крыш и, отдышавшись на гребне стены – иные, как пышнотелые йоги, нежились на пиках решётки – поочерёдно, сначала ту, что пониже, потом две других, высоких, бодали чёрные железные трубы, беззвучно проплывали сквозь них, смешивались, разрывались яркой синевой неба, а прищурившийся Соснин превращал бездонные разрывы в мохнатые ковры синих цветов, которые затопляют ранней весной проталины, и заодно, кося выпуклым глазом, успевал следить за пожилым нелепым человечком в жёлтом конце дорожки, точно в театре, выхваченном лучом из колыханий лиственной тьмы.

Человечек был уморительным, но давным-давно всем надоевшим мессией, и бугаи-санитары, провонявшие вином и карболкой, равнодушно сновали мимо, не мешали ему безмолвно ораторствовать – оттачивать жесты, ужимки; он, могло показаться, олицетворял устрашающий заказ будущего: широко раскидывал руки, обещал обнять весь мир любовью и разумом, чтобы окончательно сжечь его в пламени освободительно-безумных идей какой-нибудь грядущей эпохи, прогулявшей, как водится, уроки прошлого, о, он воинственно вскидывал вдруг руки, сжатые в кулаки, потрясал ими, и сразу же – руки по швам! – испуганно прижимал ладони к бокам... – чем настырнее его телодвижения зывали к духу, тем сильнее выпирала уродливо-утрированная телесность, и он, словно чуял это, испуганно приседал, скорчившись, голову норовил засунуть между колен, как если бы устыдился того, что руки, ноги, голова торчали от сотворения мира из туловища, и тут же им овладевала потребность заново что-то сымпровизировать из доставшихся от природы членов, он, убивая только родившийся фантастически-отталкивающий симбиоз млекопитающего и птицы, гибко разгибался, убеждая, что был всегда двуногим, высоким и тонким, и ему остро захотелось похвастаться своей статью: надменно вскидывал голову, руки взлетали к небу; при столь энергичных взмахах рук, поворотах туловища, раскачиваниях, тяжёлое тело его пощёлкивало-поскрипывало в суставах, будто нуждалось в смазке, серый застиранный халат распахивался, обнажалась голубая нательная рубашка без пуговиц, а тополиные пушинки, заметавшись от завихрений, вспыхивали в отцветших сиренях зарослях. Неистовая пантомима, сопровождаемая бурчанием катеров и машин, которое доносилось из-за стены, длилась и длилась, силилась не только обратить в свою невыразимую веру мир, но и... одухотворить такое нескладное и неловкое коротконогое тело, лицо же новоявленного мессии – широкоскулое, с приплюснутым носом, дебильным лбом – и вовсе не шло к избранной им для себя роли, зато взор, разожжённый каким-то вечным огнём, смешавшим любовь и ненависть, волновал и почему-то казался давно знакомым; под давлением этого взора Соснин чаще всего вспоминал о лежавшей на коленях тетрадке.

Иногда же, решив размять ноги, прохаживался вдоль грубо оштукатуренной желтоватой стены, у часовни Святого Николая Чудотворца, встроенной в стену, засматривался на рослую крашеную блондинку в больничной байке с глубоко посаженными птичьими глазками и острым, потным, хотя она его непрестанно пудрила, носиком, которая вживалась день за днём в образ великой трагической актрисы.

Она, поглощённая заботами о причёске и гриме, усаживалась после завтрака у закопченной временем кирпичной часовенки и, обложенная флакончиками, баночками, щётками и кисточками, просиживала до обеда перед осколком зеркала, которое кое-как прилаживала на шатком старом ящике, втирала пальчиками в щёки воображаемые крем и румяна, завивала щипцами волосы, посчитав, наконец, что готова к выходу, вставала во весь свой немалый рост, чтобы отразиться в вертикальном овале, заправленном в бронзовые цветы. Приняв величавую осанку, шуршаще расправляла тускло-серебряные складки длинного тафтового платья с безукоризненно тугим лифом, агатовые цукаты ожерелья замирали на подставке ключиц, оставалось взять из вазы бледную розу и пойти навстречу овации, но раздосадованная неизвестно чем, актриса вдруг с уродливой гримасой ломала соломенную, в завитушках, башню причёски и принималась, глотая слёзы, строить её заново и иначе – бескомпромиссная требовательность к себе, видимо, так и не позволила ей выйти на сцену.

предостережение, которое не было принято во внимание

Стояла жара, порой проливались дожди, шумные, яростные, после них глянцево блестяла листва, падали, сверкая, крупные тяжёлые капли, оставляли глубокие оспины на земляной дорожке – дивные, ещё длинные дни, какие дарит обычно конец июля; день сменялся

таким же днём, Соснин привыкал к жалкому удлинённому закутку больничного сада между стеной и жёлтым, с белёсыми обкладками окон, домом.

После обхода врачей и приспускания штанов для уколов, после процедур – душ пронзал горячими и ледяными иглами – никому не было дела до Соснина. Лишь однажды – как раз сняли карантин и выпустили гулять – к нему в кусты пожаловал иссохший кадыкастый гость в мятой пижаме.

– Слыхали, слыхали, что натворил, работяг-строителей жалко... мы в дурдоме всё знаем, не сомневайся, – засипел, почёсываясь, когда собрался уходить, погрозил на прощание тёмным скрюченным пальцем, то ли посвящая в какую-то страшную тайну, то ли просто-напросто намекая на порядки буйного отделения. – Ты, новенький, не больно-то заносись, иначе вмиг обомнут.

Но Соснина, как ни заносился он на бумаге, будто не замечали, он почувствовал вскоре, что любая блажь, если она не мешала упорядоченности безумного покоя других, здесь принималась всерьёз, после определения её, блажи, места в классификации синдромов и маний, бралась под защиту какого-нибудь медицинского термина, и можно было вообразить себя кем угодно, хоть гением, светочем... эка невидаль – ими здесь пруд пруди! – и никто не стал бы сопеть в затылок, заглядывать в тетрадку, тем паче не стали бы допытываться зачем пишет, почему пишет именно так, не по-другому. Разве старушонка-дежурная, толкающая мимо тележку с эмалированными вёдрами из-под каши, вздумает его поучать, корить, восхвалять? – он был свободен.

блаженство письма (не точнее ли – ожидания письма?) как зримые набег неясных чувств

Пахло морем.

Впритык к больнице трудились верфи, их металлические голоса, сливаясь с шумами города, волнами перекатывались через стену. Кряхтя под самым боком, швартовались буксиры, били по воде вёсла, кричали чайки. Подальше, в Крюковом канале, лениво попыхивала шаланда с экскурсантами, и Соснин, глупо улыбаясь, ускорял её скольжение в Мойку, к мрачно-красному кирпичному сооружению с дивной увражной аркой, заставлял шаланду пятиться от восхищения, разворачиваться. А Коломна дышала, взвизгивала, гудела; автобусы, трамваи грохотали по Офицерской. И почему-то радостно было слушать, угадывать, что, где грохает и вздыхает.

Он видел звуки... видел сквозь стену.

Картина напознала на картину, некоторые, такие знакомые... – сначала дед, потом, в школе, Лев Яковлевич, словно заранее оповещённые о грядущем заточении Соснина на Пряжке, постарались, чтобы коломенские каналы, улицы и закоулки хранились впрок в его памяти – так вот, картины оживали, очищались от наслоений и тут же пронизывались с перезвоном ломавшейся на поворотах цепочкой красных вагонов, заслонялись тополиной листвой, набережные, дома, дворы разрастались и старились быстрее желаний и не было милым подвижным картинам счёта, но ему всё было мало их, он никак не мог на них насмотреться, хотя не знал, сможет ли написать их, просвечивающих одна сквозь другую, по-своему – над ветшавшим великолепием, простиравшимся за больничной стеной, а, словно, подступавшим вплотную, окружавшим, теснившим, витало тревожное очарование блоковских строк.

Часами Соснин мог сидеть, уставившись в одну точку.

Однако не так, как несчастный Соркин, лишённый памяти, совсем не так – именно избыточность картин прошлого, которые проносились перед взором, заставляли сидеть неподвижно, будто бы в забыты.

Многим, наверное, могло казаться, что он, разморённый зноем, попросту задремал, хотя это были минуты наивысшей его активности. Он закрывал глаза, упирался взглядом в стену, видел там, на противоположном берегу Пряжки, там, где поблескивали за тополями окна... да, там, точнёхонько напротив часовни, прогуливались в тягостном объяснении Блок и его рыжеволосая муза, потом, дойдя до деревянного моста, того, что связывал психиатрическую больницу с внешним миром, Блок и Дельмас прощались, она, не оборачиваясь, медленно шла вверх по течению Мойки, Блок, постояв, проводив её взглядом, посматривая затем на жалкую обитель безумцев, над которой кружили вороны, отправлялся пить чай домой, а на тротуаре, на углу набережных Пряжки и Мойки, на углу, откуда были видны две, в разные стороны удалявшиеся исторические спины, возникла странная группка... сверкал толстыми стёклами очков Лев Яковлевич, массивный, в драпе и тёмно-зелёной велюровой шляпе, он показывал четырём невнимательным вундеркиндам место свидания. Шанский дурашливо вертел головой в заячьей ушанке с болтающимися шнурками-завязками, Бызов – в синей спортивной вязанной шапочке – поддевал лыжным ботинком осколок льда. Валерка Бухтин независимо поднял воротничок суконной, скроенной, как морской бушлат, куртки, собирался что-то спросить... На Соснине – зимнее пальто с нелепыми меховыми, из серой цыгейки, лацканами, он увлёкся небесными манёврами портового крана. Как отчётливо звучали голоса! – Правда ли, – допытывался у Льва Яковлевича Валерка, проверяя на учителе русского языка и литературы услышанное за семейным столом, где можно было много всего неожиданного услышать, – правда ли, что Блока болезненно распалили вовсе не женщины – не горячая оперная дива, пересёкшая уже там, вдали, Английский проспект, не надушенные буфетные незнакомки, а сивушное дыхание революции? Пока Лев Яковлевич, растерянно откашливаясь, подыскивал под испытующе-безжалостными взглядами четверых юнцов деликатный ответ, оживали предусмотрительно отснятые Ильёй Марковичем похороны Поэта, гроб покачивался в низких облаках над одинаковыми чёрными головами. Но – не дожидаясь ответа Льва Яковлевича, – Соснин уже спешил след в след за Ильёй Марковичем от театра La Fenice по ломаному пути, хотя и не чаял попасть в Венецию... – куда подевалась Пряжка? – путь им преграждал Большой Канал; невидимка-Соснин и Илья Маркович застывали над водою у каменных столбиков с низенькой чугунной решёткой. Стояли рядышком, почти касаясь плечами, локтями, однако, соблюдая негласные правила игры, делали вид, что не замечали друг друга из-за толщи лет, разделявших их. Соснин не верил глазам своим! Скользили лодки. Справа, от моста Академии, с шумными всплесками приближался пловец в белой, со слипшимися воланами и кружевами рубахе, его эскортировала большая гондола: музыканты бренчали на струнах, хохотали, что-то весело кричали отчаянному пловцу юные дамы в серебристых платьях, тот по-молодецки, сажёнками... Неужто?! Чтобы устоять на ногах, обхватил рукой столбик, потёр глаза. Почти напротив – истончённая мраморная пестрятина палатцо Дарио, левее, контражуром, – купола... делла-Салуте.

И тут неосторожно повернул голову, вновь увидел Льва Яковлевича и четверых вундеркиндов, стоявших уже на углу Пряжки и Офицерской, у красноватого, с бледно-серыми обкладками окон, дома Поэта, чуть наискосок, у Банного моста, вновь Блок расставался с Дельмас, однако это было последнее их свидание, на сей раз расставались они навсегда.

Падала на дорожку крупная капля, разлеталась во все стороны мелкими-мелкими капельками; так и любая зримая мысль разлеталась на много-много мыслей-картин.

Сжигал пожар нетерпения.

Хотелось, ничего не потеряв из калейдоскопических видений, которые донимали его, поскорее собрать цветные осколки, и сразу начинался новый круг преобразований: бессловесная дробная живопись врывалась в мозг ураганом мыслей, и он, тугодум, не поспевая, схватывал если не каждую вторую, то хотя бы третью или четвертую, схватив, пытался догрузить воображаемыми потерями, вместить в любую частичку высказывания что-то цельное и огром-

ное, мучившее его. Что мучившее, что? Он ведь блаженствовал в больничном саду, голова шла кругом в ожидании счастья. Увы, он и сам порою не понимал, что, как, о чём и зачем ему хочется написать и испытывал от этого добавочное смутное беспокойство – так бывает, когда туман застилает море и берег, беспомощные, как слепцы, корабли сбавляют обороты турбин, а замутнённое пространство и душу бередят постанывания маяка. Однако, взглянув со стороны на собственные муки недоумения, Соснин мигом находил их вполне естественными и даже снабжал привлекательным ореолом.

ipso facto, сказал бы нетерпеливо Шанский

Принято писать: он подумал, он почувствовал, ему показалось.

Но за подобными словами-увёртками, по определению Валерки Бухтина, – словами-мнимостями, которыми изобилует проза поступков, подстёгнутых активными действиями, – действие, действие и ещё раз действие! – девиз такой прозы, преподносящей торопливому, глотающему страницу за страницей, читателю тот или иной предметный урок, – прячутся запутанные, тягостные романы мотивов; они-то и могут быть куда более интересными и интригующими, чем скорострельные детективы.

Возьмём хотя бы и Соснина.

Его жизнь бедна событиями? Да, бедна... Однако же сколько в ней всего необъяснимого, как выяснилось недавно, было! И он, желая понять подоплёки того, что было, знал, что не отступится, – все загадки, чтобы увидеть их вместе, во взаимодействии, предстояло каким-то особенным образом расположить, скомпоновать в невидимом чудесном пространстве... да, твердил он себе, да, чтобы понять – надо создать.

Действительно ли хотел он собраться с мыслями или довольствовался, а то и упивался той пьянящей неопределённостью, где мысли рождались и, раздробившись, разлетались во все стороны сами собой, без его усилий? И так бывало, и этак... бывало, что умственные усилия ни к чему достойному не вели, хотел выразить мысль резко, радикально, но получал высказывание усреднённое, почти нейтральное, заведомо компромиссное – сама реальность, поёживался, избавлялась от его посягательств на её скрытые под привычными обёртками тайны. Потому он и не искал настырно, не придумывал наспех сюжет, нанизывая действие на временную ось, даже не продумывал фабулу, ждал, что сюжет с фабулой сами по себе начнут вырастать опять-таки из неопределённости, из хаоса обстоятельств, лиц, ждал накопления критической массы; как, как именно начнут вырастать? – растерянно спрашивал себя, тотчас же погружаясь во мрак потаённых сущностей и мотивировок. И не стоит поэтому чересчур удивляться близкому к помешательству состоянию Соснина, которого угораздило извлекать из случившегося с ним, если угодно, беспредметный урок. Не грех напомнить – он не буйствует, не бьёт посуду. Внешне он спокоен, корректен. Хотя и пребывает в странном до неправдоподобия напряжении, скрупулёзно складывая понимание из эфемерных частиц, всякий раз пытаюсь понять: как подумал, как почувствовал, как показалось.

быка за рога (одна из первых больничных записей Соснина)

«Искусство, – разгоняясь, строчил Соснин, – лишь иллюзорно приближает к непостижимому, обещая обретение красоты, которая растворена в жизни, пока её не кристаллизует художественное воображение. Художник же – хитроумно устроенный передатчик зашифрованных сообщений. Он просто-напросто интеллектуально-чувственный сейф, где заперта тайна. Не зная её разгадки, блаженствуя и мучаясь от её присутствия, он пытается освободить»

диться от жгущего изнутри бремени, перекладывая творческим усилием тайну в произведение. Поэтому-то и бесполезно требовать у художника объяснений – он передаёт, но не способен раскрыть. Бесполезно допытываться и у произведения; приглашая к разным толкованиям переполняющих его смыслов, оно остаётся абсолютно надёжным хранилищем тайны, которая – суть искусства и красоты, живая суть, умирающая для того, кто возомнил бы её постигнутой».

ещё о мучительных проявлениях блаженства, намекающих между делом на глубинные запросы письма

Продолжая в том же духе, он, однако, не испытывал облегчения.

Что может быть проще? – ничего не придумывая, не фантазируя, написать всё, как было. А что он писал, вернее, хотел написать – очередное собрание небылиц? Нет, – правду, только правду, то, что открылось ему, никаких небылиц, но в этом-то и была загвоздка – как написать... как из разноречивых частичек правды выстроить Вавилонскую башню вымысла?

Ему бы возмутиться самим собой, путаником, взять себя в руки, сосредоточиться. Но, если не забыли, принявшись за так бередившее, так волновавшее заполнение словами тетрадки, Соснин малодушно доверялся любым позывам. Среди них зачастую попадались необязательные, удивившие куда-то в стороны или же далеко-далеко назад и, стало быть, достойные обуздания. А он – давал волю всем им, этим позывам, без исключения, надеясь, что текст соберётся в целое и оформится постепенно, как корабль, выплывающий из тумана. Незаметно для себя и окружающих выращенное кредо – околдовывать, интригуя, путая, утомляя, ибо и письмо, и чтение – работа! – оборачивалось против него, он сам, пока писал, превращался в беспомощного дешифровщика сумбурного и разнородного, столько всего соединившего в себе текста. Пробиваясь сквозь невнятности, читал что-то едва знакомое, будто бы написанное не им, а задолго до него, читал и менял-развивал по-своему уже задетое когда-то и кем-то, и снова писал, писал, чтобы узнать, непременно узнать, куда своеволие письма его заведёт.

Более чем неясная цель оправдывалась элементарно – вело любопытство. Порой ему чудилось, что хоть и с перебоями, читает старую-престарую книгу с размытыми слезами, прожжёнными душевным огнём страницами, и он заполнял пятнистые пробелы или дыры в коричневато-жёлтых обводах по своему усмотрению, когда получался связный кусок, сердце замирало, подсказывало, что читает он не только записанное на траченной временем бумаге, но и в своих генах. Понимал вдруг, что весь с головы до ног в любом своём желании и поступке предрешён, обусловлен, что его жизнь послушно повторяла в чём-то неуловимом, но главном, и лишь варьировала в деталях чужие, давно накрытые тенью забвения жизни, которые так же, как и его жизнь, тоже были ответвлениями от общего, не понятно кем и зачем посаженного ствола. И что же оставалось ему? – со смешанными чувствами, вызванными включённостью в общий для всех жизненный ток и рабской зависимостью от колебаний напряжения этого тока, он письменно и по-своему пересказывал прочитанное, именно в маяте творческого пересказа раскрывалось ему его назначение.

Желание докопаться, чтобы переиначить, было сильнее его.

Верил, что стал бы пересказывать то, что удалось бы дешифровать, понять, даже если бы этого не хотел, но он хотел, ещё как хотел!

И оттолкнувшись от какой-нибудь случайной темы, случайного эпизода, а то и случайно брошенного кем-то посторонним словца, торопливо, увлечённо, весело пересказывал-писал-сочинял на собственный лад, пока не спохватывался, что насвистывает давным-давно знакомый мотивчик, трогательный и тревожный, как предвоенный вальс.

В том-то и фокус, не усмехайтесь!

Где-то, когда-то, независимо от Соснина, хотя и адресуясь ему, был отлит в гармоническом, недостижимом совершенстве текст, художественный эквивалент целостной жизни, который, распавшись под оплавливающим ударом бог знает чего – пусть молнии, пусть болида – испытывал теперь нагромождениями будто б перевозданного хаоса.

Однако новоявленные нагромождения имели мало общего с горами мёртвых, замше-лых с одного боку руинных камней, разбросанных роком в достойных кисти романтика позах вечного сна. Это была подвижная, перекрашивающаяся почище клубка хамелеонов да ещё и многоголосая, будто групповое выступление чревоушителей, стихия, погружаясь в которую Соснин преломлял свои взгляды, слушал детские лепеты, крики, срывающийся отроческий фальцет – вспученная, засасывающая и тут же отвердевающая стихия хаоса образно воспроизводила тайны уже не только кем-то другим сочинённого и теперь разгадываемого им и с переменным успехом пересказываемого, в сомнениях перекладываемого на бумагу чужого текста, но и его собственного сознания. – А ну-ка, – поддразнивал препротивный внутренний голос, – побалууй-ка и потерзай себя, разберись во всём или хотя бы в чём-нибудь сам, а потом интригуй и путай других, разбирай спекшиеся завалы, наводи порядок, ну-ка, посмотрим на что ты годен. И он затруднённо продвигался в хаосе содержаний-форм и понятий-образов, и знание о себе самом выдавалось ему скухими порциями, как выдаётся укротителем колючая рыбёшка за робкие успехи неповоротливому тюленю, чтобы тому не расхотелось запрыгивать в обруч.

Но кого вздумал он интриговать и путать, кого именно ему выпавшее, такое простое, такое невероятное приключение-прозрение могло бы заинтересовать? Нет, его не посещало высокомерное желание кому-то открывать глаза, указывать путь... просто какая-то сила толкала, резонируя с сердцебиением, он действительно не мог отступить. Что за суверенная мания? Ведь и Илья Маркович вёл свой итальянский дневник, не зная, что появится племянник, прочтёт. И Художник, когда писал «Срывание одежд», не знал, что будто бы специально для Соснина свой многотрудный холст пишет! Да! И – совсем странно – даже картинное обращение Савла в Павла, чувствовал, написано для него искуснейшим веронцем-венцианцем, не только для него, конечно, для многих, очень многих, но для него – точно!

Мания замкнутости, каким-то образом открывающаяся для других?

Для кого-то ведь писал, сам не зная того, и подвальный сиделец из их двора. Столько унижений стерпел, чтобы тихо, незаметно писать; боковым зрением Соснин ощущал шероховатый пудожский цоколь с меловыми буквами, стрелкой, тянущейся от раструба водосточной трубы к окошку; интересно, что он смог написать?

А он, он сам – для кого?

И как он напишет, если напишет, как?

И что поймёт он, если создаст?

Найдёт ли свою форму? Или... ха-ха-ха, не форму, а как потом будут говорить – «формат»! Ха-ха, формат!

Нет, до воцарения формата, надо отыскать свою форму.

Шанский посмеивался над «как» Валерки Бухтина, его ключевым, если не отмычным для формализма словечком. Соснин вслушивался в голоса Валерки и Тольки, следил за столкновениями их неиссякаемых идей, потоков слов, а заодно – за столкновениями и метаморфозами облаков... деревьям было тесно в закутке сада, тёмные ветви вязов, клёнов, простираясь над жёлтой стеной, тянулись к грязненькой Пряжке. И опять он убирал стену, вместе с решёткой, часовой, вместе с дополнительными чёрными железными воротами; в отличие от главных ворот, к ним не подкатывали «Скорые», эти ворота связывали растрескавшийся и местами просевший асфальтовый проезд, тянувшийся меж стеной и травянистым берегом Пряжки, с хозяйственным двором больницы, куда выходили разновысокие грубо обитые жостью двери кладовых, сараев с инвентарём, где высилась между полуобвалившимися крыльцами морга

и кочегарки куча угля, стояли бачки – ветерок доносил сладковатую вонь; неожиданно ворота с громким скрипом открывались, что-то привозили грузовики, вывозили мусор.

Итак, он властно убирал стену, замыкался в других, удалённых подчас пространствах, и столько слышал, видел ещё.

Ведь помимо наслоений бессчётных натуральных картин Соснина дразнил ещё и ворох кем-то отснятых слайдов, которые осталось озвучить, склеить. Вернее, отсняты они были тоже им, а не кем-то посторонним, так, во всяком случае, ему казалось, во всяком случае, то, что хранили слайды – опасно и наугад вытаскивал из вороха то тот, то этот – относилось лишь к нему одному, однако он-то и был чужим, посторонним, куда жил, копил впечатления. Теперь же он смотрел в себя и на себя пытливо-жадно, критично: его жизнь уже была материалом.

И до чего же своенравно вёл себя этот материал!

блуждая меж образов утраченного времени и, стало быть, утраченного пространства

Ну, вот хотя бы...

Или нет, лучше... Лучше так: встреча в метро с подвыпившим одноклассником, вереницы молодых лиц, улыбающихся со старых фото, невзначай подслушанный разговор могли, не считаясь с внутренним сопротивлением, вернуть в прошлое, чаще всего во дворы мрачно-ватой улицы, где увидел впервые солнечный свет и небо. Подчиняясь жестокой фабуле детских игр, дрался, оборонялся от наседавших врагов с саблями наголо, убежал, подгоняемый издевательским свистом, от толстой дворничихи Ули, петляя между дровяными поленницами, накрытыми толем или ржавой листовой жостью. И в этом возвращении поначалу не обнаруживалось ничего странного: так, или примерно так бывает со всеми. Но стоило пересечь по бульжникам рельефную коричневатую утробу Большой Московской – вот и сейчас пересекал её, запомнившуюся до руста и пухлого, с обломанным на конце окантом, штукатурного кронштейна, перелетев сюда из Коломны; пересекал и, оглянувшись зачем-то на круг чёрных чугунных тубингов, отметину довоенной шахты метро, – круг выпирал в центре мостовой... – итак, итак, по возможности, всё – по порядку: убрав напрочь или перемахнув больничную стену на берегу Пряжки, перелетал из Коломны к гастроному, тому, что на углу Владимирской площади и Большой Московской, пересекал по бульжникам Большую Московскую и тут же подозрительно быстро, будто бы обозначая смену театральной картины или вовсе размывая и без того призрачную границу между реальным и воображённым, вырубался всесильной рукой небесный рубильник, в сумеречном, как чудилось, искусственном затемнении, расплывались овалы лиц, разговоры приглушались до неразборчивости, а родные пространства и силуэты, окружавшие Соснина, смыкались и обобщались. Обходя цинковые баки с отбросами, которыми лакомились какие-то жирные твари, брёл в полусне из арки в арку анфиладами проходных дворов, там и сям – слева, справа – замурованных тупиками, выделял в нудно-однообразной череде провалов и нависаний глубокие расщелины, взрезающие углы плоской кирпичной плоти. С изнанки города экономные живодёры содрали лепную кожу. Отвесные гниловатые срезы впивались зубьями в лиловое небо, зияли квадратами пробоин и плевых, но сочившаяся из окон тусклая желтизна ничего не могла подсветить, кроме всё тех же голых и гладких, палевых, землисто-коричневатых утёсов с ломаным верхом, сросшихся в ячеистый костяк города.

И поэтому, войдя во двор где-нибудь на Большой Московской или близ неё, на Малой Московской, на Загородном, в Щербаковом переулке, а возможно, что и под графитным эркером где-нибудь в сумрачном Свечном переулке, Соснин мог бы потом выйти из того двора где угодно, хоть на другом берегу Невы, прыгнуть на Введенской или Зелениной в дребезжащий

и болтающийся трёхвагонный трамвай и понестись, раскачиваясь из стороны в сторону, мимо умбристых, серых, желтоватых домов, согнанных в дырявые ряды тополиными хлыстиками, предвкушая восхитительный пикник с сайкой и газировкой с двойным сиропом под ивами ЦПКиО. Вечером можно было отвалить от маленького бело-голубого дебаркадера с безвкусной резьбой, прижатого к малахитовым купам, и медленно-медленно, посматривая с обшарпанной закруглённой кормы на обмакнувшийся в залив задник заката, поплыть обратно в город на низком обтекаемом катере, который бы вздрагивал склёпанным кое-как железным тельцем, изрыгая из недр малосильной, но старательной машины зловонные облачка. И если бы Соснин подплывал к гранитным набережным и цветным дворцам в августе или сентябре, то выбивающийся из сил катер поджидала бы тёмная ртутно-густая Нева. Вода лоснилась бы и тяжело пошевеливала розоватыми, в бирюзовых разводах складками, кое-где сминаемыми свинцовой рябью, и шафрановый след заката уже терялся бы впереди, под фермой моста, в росчерках заводов и порта, а приземистую и без того панораму дворцов придавливала бы мрачная, сказочно-лохматая, как звериная шкура, туча, в какой-то миг готовая покончить с силуэтным господством башенки на кунсткамере. Кромешная тьма за парапетом набережной, лишь сгущаемая от мигания рубиновых автомобильных глазок, притягивала бы сносимый течением катер, он прицеливался бы к причалу-поплавку, увенчанному теремком ресторанчика с контурной ядовито-анилиновой неоновой рыбиной, под хвостом которой уже пиликал оркестрик и танцевали, и теснились бы в боковых проходах, дотравливая анекдоты, выбрасывая окурки за борт, полупьяные усталые нетерпеливые путешественники, и словно от тычка бортом в смягчавшую удар шину засветились бы вдоль набережной бусины фонарей, зазеленели бы под ними закруглённо остриженные макушки лип. А случись так, что Соснин возвращался бы с Островов под конец ясного и длинного, как сегодня, дня, то вода, небо ещё долго-долго и после его возвращения переливались бы жемчужно-сиреневыми оттенками, но, взбежав на берег по циклопическим расходящимся веером гранитным ступеням, он не залюбовался бы нежными переливами, в которых будет утопать город и после рубежного перезвона курантов на Петропавловке, привычно превращающего июльский вечер в белую ночь, а поспешил бы на продавленный каблуками тротуар Невского, чтобы успеть прошвырнуться в принаряженной толпе туда-сюда, постоять с вагагой приятелей – вот и Антошка Бызов с Толькой Шанским, замеченные у «Те-Же», перебегают перед трезвонящим трамваем Литейный, а-а-а, на углу Владимирского, у будущего «Сайгона», ждёт зелёного сигнала, хотя они не сговаривались, Валерка Бухтин, по прозвищу Нос. И некоронованный король Брода, неотразимый, с пшеничным, скульптурным, как гребешок на боевой каске, коком и профилем римского легионера Валя Тихоненко – на своём посту меж двух облицованных зеркалами простенков; на Вале, само собой, – тёмно-синий бостоновый, сшитый английским портным пиджак, в меру яркий шёлковый галстук, зауженные светлые брюки с манжетами... правая рука с пугающе торчащим из синего рукава протезом кисти повисла. С привычной отрешённостью вращая на пальце левой руки кольцо с ключами, Валя благосклонно кивает, словно старым друзьям-соратникам, и они кивают ему, польщённые, и Шанский, вопросительно посмотрев на одноклассников-вундеркиндов, дождавшись уже их кивков, окликает знакомых девчонок из трёхсотой школы, и все вместе они успевают на последний сеанс в «Титан» ли, «Октябрь», где их давно знают билетёрши, и вот они уже в призрачном затемнении кинозала озвучивают титры трофейного фильма жарким шёпотом, многозначительными смешками, шуршанием фольги и отламыванием шоколадных долек...

Но – находился ли выход?

Нет, выход не находился потому хотя бы, что блуждающий по дворам Соснин искал выход не столько в ностальгическую эмоцию, сколько в волшебную реальность искусства, где, собственно, ему, не знающему пока какова она, вторая реальность, лишь ищущему её, и хотелось

обосноваться, перемогая тупость обыденности и открывая при этом, если повезёт, что-то важное в себе и времени, в своём времени, и в том, в котором ему выпало очутиться.

Хотя... было бы ошибкой считать... И впрямь он запутался. Разве шагая из арки в арку, он не шагал уже по этой до боли осязаемой и фантастически-конкретной, возвращённой из прошлого, но преобразённой искусством реальности?

И конечно же, было бы ошибкой считать, что эмоции ни при чём – его будто бы бесследно стёртое с лица земли прошлое возрождалось: никто не скакал в нарисованных белыми, лимонными, голубыми мелками классиках, не метил в пирамидку медяков круглой свинцовой битой, а слёзы комком забивали горло, не позволяя прорваться слову, хотя чувствовал, слово вот-вот прорвётся.

Но почему – задумчиво замирал – почему руины принято исключительно искать в прошлом?

Разве не здесь и сейчас всё рушится?

Вот хотя бы, вот вроде бы единичный случай...

Нет, нет, всё то, чем чреват был именно этот случай, выяснится потом, всё это можно будет увидеть и понять, оглянувшись.

Брёл из арки в арку, вокруг него, дабы не отставать от пространства, растекалось в зыбучей полутьме время. Не понять было день или ночь, зима или лето втянули в тревожную прогулку по дну беззвёздных колодцев, где разлился на месте послевоенных дровяных плотин и заторов асфальт, жмутся к штакетнику рахитичные деревца. И вдруг звёзды, засияв, мелькали в разрывах и опять затягивались разбухшей паклей, деревца испуганно вздрагивали запылёнными листочками или прямо на глазах Соснина оголялись с бесстыдной поспешностью, но не успевала краснолицая распустёха Уля, дворничиха в серых валенках с глубокими чёрными галошами и одетом поверх ватника грязном фартуке с тусклой латунной бляхой, вымести обноски осени, как ударял мороз, скованные ветки с мерной безнадёжностью клацали одна о другую, будто ветер дирижировал замедленным танцем скелетов, и сонмом тоскливых пронизывающе-холодных звуков отзывалось им эхо, сверлило затылок, смешивалось с незнакомыми простывшими голосами, однако за поворотом заиндевевшей стены случалась оттепель, кап-кап-кап – с наигранной весёлостью взблескивала, долбила капель, и кое-как держась за костыли и проволочные скрутки, толстыми поблескивавшими кишками свисали с карнизов водосточные трубы – они, напоённые талой влагой, оживали, плотоядно урчали в коленях, раструбах и с внезапным грохотом светопреставления проваливалась ледяная пробка, разбрызгивалась сверкающими осколками... Разведя хвосты веерами, шумной тучей взлетали голуби. И опять делалось тихо, опять Соснин не понимал когда это происходит, где, а если надумывал узнать, спросить, редкие пошатывающиеся фигуры с плоскими безглазыми лицами не отвечали, шмыгнув в ближайший подъезд, прикидывались тенями на занавесках. Зато Соснин начинал догадываться к какому символу, к какому ещё визжащему тормозам повороту сюжета приладутся его блуждания среди безутешных стен и чужих голосов, сопровождаённых сигаретными огоньками и гитарным брэнчанием в наглухо задранных подворотнях...

Оставалось понять как приладутся.

заминка (очередная) в блужданиях меж тех же образов

«Изобразительный – он же, выразительный – ряд, непосредственно воспринимаемый визуально благодаря движению или относительному покою фактурных и цветных форм, при переводе на вербальный язык неузнаваемо трансформируется, ибо буквальный его перевод в словесный материал попросту исключается, эстетическая же весомость слов, заменяющих визуальную информацию, определяется не их понятийными значениями, а воплощённой

в художественных образах мыслью, и поэтому следует...» – о, если бы читая когда-то научные рекомендации московского теоретика, Соснин был повнимательнее! Но теперь, мусоля то один возможный вариант продолжения, то другой, он никак не мог припомнить ударный конец тирады, не понимал, что следует ему сделать, чтобы отчеканить в слове увиденное, хотя застарелый для него спор глаза и языка уже не казался ему неразрешимым – откуда-то из питающих глубин подсознания всплывали близкие изобразительному ряду состояния и настроения, лица наводились на фокус и годились для портретирования, оживали вроде бы затёртые или полузабытые слова...

Начав догадываться о скрытом смысле происшедшего с ним и теперь по его же воле происходящего заново и иначе, он вполне мог бы заметить, что посветлела нездоровая желтизна флигельных перемычек, что туман в голове слегка рассеялся, солнце улыбнулось ему, позолотив карнизы нищенским набрызгом. Но тут же стемнело, тут же он позабыл о своих, несущих смутные смыслы и потому не очень-то дорогих словах, и замороженный взлетевшими вдруг высоко-высоко лебедино-белыми, огненно-оранжевыми, едко-зелёными подвижными буквами, поверил, что только из них и смогли бы сложиться простые и магические слова.

Слова-вспышки?

– В чёрном небе слова начертаны, – читал дрожавшим от волнения замогильным голосом Лев Яковлевич; Соснин отчётливо слышал далёкий голос.

Почему бы и нет? – видимое в единстве с вербальным. Почему бы именно динамично сцепляющиеся в ясные и яркие слова буквы, пробежавшие по небосклону его приключения, не могли дать ключ к расшифровке хаотичных сигналов сознания, да, это была явная подсказка судьбы, медленно, но верно раскрывающей карты! – вот одно слово, точно молния, пронзило тьму, другое, третье. Изошрившись, успеваешь прочесть и обрывок фразы, кокетливо прячущейся за коньком крыши. Распаляясь, смешивая времена, сминая пространства, гонится за ней, увёртливой фразой, чтобы прочесть её целиком, и незаметно для себя находит выход из дворового лабиринта.

И круг снова замыкается, вернее, замыкается один из кругов, их будет много, очень много, но пока его выносит какая-то сила из дворов на перекрёсток Невского и Садовой. А плоско сверкающие слова и фразы убегают по чёрному небу буквами световой газеты, самое ценное в которой – номера телефонов.

Сжатый толпой, обмякший от понимания, что одурачен собственными домыслами и должен расплачиваться теперь за свою же слабость-доверчивость, соскальзывает по пандусу в чёрную квадратную дыру подземного перехода, сухими изумрудными искрами, как хвост кометы, рассыпается в воздухе разряд трамвайной дуги, и уже трамвай грохочет над головой, а цветистые, но пустые буквы, слова, фразы, ничуть Соснина больше не занимая, бегут себе дальше, дальше, пока не разбиваются в конце строки о глухой торец дома пульсирующими вспышками.

стоп!

Мы бы опять упёрлись в тупик, если бы неосмотрительно порешили, что Соснин, хоть в нервических блужданиях своих, хоть в заминках, изрядно ускоряющих оборачиваемость мыслей, однако ж искомого им смысла не гарантирующих, так и не сумеет сосредоточиться, не возмутится издевательскими вывертами хаоса, не пустится на хитрости, чтобы стать в своём занятии хозяином положения.

Конечно, его душевная роза ветров, послушная противоборству пронизывающих порывов, чуткая к любому лёгкому, еле различимому дуновению, отгибала лепестки то туда, то сюда. Однако солнечная пятнистость сада, лазурно-ватная сумятица небесных боёв вовсе не примирили Соснина с проделками хаоса, нет-нет, он не раскис в благоговейном созерца-

нии природных капризов, не заблудился в плывучих образах прошлого, не захлебнулся потоком сознания. Его руку, едва она, притворившись беспомощной, вроде бы невзначай ловила хоть сколько-нибудь внятный импульс, вело по бумаге упрямое внутреннее усилие. С одержимостью маньяка, которого по чистому недоразумению проглядели в нём кишевшие вокруг психиатры, он ставил и преодолевал барьеры, логические, художественные... но и сбивая их, перескакивая через них, эти барьеры, мысли не обретали чёткого направления, куда там. Не исключено, что именно упрямство и одержимость распугивали мысли, они разбегались по сторонам, прятались, когда же Соснин их находил, собирал и с превеликими усилиями расставлял по нужным ему местам, каждая мысль, каждый выражающий её или попросту с ней связанный эпизод уже спустя страницу-другую мстили ему, как мстят заурядному тирану, и, стремясь самостоятельно дорасти до символа, закольцовывались, эгоистически искали отклик только в себе самих, и цепь таких самозамыканий сковывала текст, а текст рвался из оков, хотя его стягивали новые и новые цепи, а Соснин тем временем искал свои слова и боялся слов, и в этой внутренней борьбе, свидетельницей которой стала конопатая кошка, незаметно отказывала логика, всё труднее было совладать с чувствами и, главное, выдыхался тот самый сокровенный порыв... ох, сколько можно.

Да ещё кадыкастый доброхот стоял над душой, постукивал ногтём по мутному циферблату стареньких карманных часов, подгонял сначала его, теперь – и актрису, идти обедать; да, пора.

Тем более, что надеялся после обеда получить от родителей фруктовую передачу, что-нибудь с Кузнечного рынка.

И вставая со скамейки, благодушно потягиваясь, допускал уже, что чудесно воскресить тот самый потерянный им где-то в блужданиях по лабиринтам памяти сокровенный порыв не под силу будет и самому точному, весомому слову, а заколдованный круг, подчиняясь его сомнениям, тем временем закручивался назад – к краскам, звукам.

не пора ли и нам вернуться (пусть ненадолго) к давненько уже брошенным на полуслове рассуждениям о стиле?

Да, здесь, с изрядной опаской, что и так наскучили не всегда внятные, но всегда почти что убивающие художество пояснения, их всё же, такие пояснения, стоит продолжить, но не потому, что истина дороже художества, а потому всего-навсего, что не приходит на ум иной, не прибегающий к иносказаниям способ хоть отчасти рассеять наверняка скопившиеся уже недоумения относительно личности Соснина и его взглядов.

Если уместно, доверяясь французской наблюдательности, ставить тире между человеком и стилем, то между Сосниным и его стилем не было бы неоправданной смелостью поставить и два тире или точнее – знак равенства, что вышло бы не только вдвойне справедливо, но и вдвойне удобно, позволив писать то об одном – Соснине – то о другом – стиле – не упуская из виду сразу двух объектов-явлений, слитных и взаимно отображённых в цельной и органичной бытийной форме – продвижении, возвращаясь.

А-а-а – поспешит кое-кто разочароваться – известное дело, развитие по спирали.

Однако, не замахиваясь на основы, смущаясь предложить им универсальную и столь же дурманящую замену, Соснин и его стиль, подчинённые двуединой власти центростремительных и центробежных сил, искали свою собственную модель саморазвития.

философичные брюзжания над обеденными тарелками (первое и второе), запитые студенисто-густым клюквенным киселём

По дороге от родильного дома к кладбищу человек, умеющий видеть, обычно расстаётся с иллюзиями. Зато передовое человечество, – передовой отряд, теряющий головы авангард прогресса? – хоть и набираясь век за веком кровавого исторического опыта, с иллюзиями никогда не расстаётся; заменять-вытеснять одну иллюзию другой – это в порядке вещей, это пожалуйста, однако всегда, повсюду, даже на краю гибели передовое человечество пребывает в сплывающем опьянении, которому по колено и море крови. Мечта идиотов, – незлобиво, почти беззвучно бубнил Соснин, дожидаясь пока плеснут в тарелку жидкий рассольник, – человечество предотвратит, коллективный разум не допустит, остановит, преодолеет... по дешёвке торгуют мифами, а они лопаются в руках идиотов-покупателей, готовых, конечно, всё скушать.

Скрежет половника по дну кастрюли.

Тарелка с тёплой вонючей жидкостью... всхлипы жадных глотков, высасывание костей, выплёвывание...

Коллективный разум!

Будто миллионы голов умнее одной!

Людская масса наливается животной глупостью стада, которое ревёт, когда не хватает корма, и безмолвствует под занесённым ножом. Чем молиться коллективному разуму, лучше бы взглянуть на конвейер абсурдистских драм, топорно разыгрываемых век от века. Но кому, спрашивается, – бубнил и бубнил Соснин, – лучше? Разве трезвый взгляд не приравнивается святым негодованием опьянённой очередной светлейшей верой толпы к взгляду чёрта? Недаром же учебники истории всегда и всюду захлёбываются бахвальством, подменяя историю сознательным надувательством, чтобы всем-всем, начиная со школьника с соплём под носом, внушать гордость за своё прошлое. А зачем? Да затем, чтобы под свист космического бича гнать и гнать человеческие стада через переходное настоящее к ещё более величественному, чем прошлое, будущему...

И вдруг на тебе – трезвый взгляд.

Можно ли не счесть его подлой подножкой свыше заведённому бегу жизни и её трубачам, славящим на все лады светлую цель?

Горка птичьих костей, объедки.

Возьмём хотя бы и гуманизм, – раздражался Соснин, вылавливая ложкой пупырчатый ломтик крылышка.

Пусть это любовь к человеку. Но любовь – понятие ёмкое, растяжимое. Созерцательная, платоническая любовь, к примеру, берedit, украшает, духовно обогащает и пр. самого влюблённого, хотя другим частенько от такой любви не тепло и не холодно, от неё даже эгоизмом может сквозить, однако такой эгоизм безвреден, порой и полезен, ибо формирует подетски безобидных обывателей, добрых, наивных художников и безумцев. Действенная же, активная любовь, выражаясь в выбросе чувств во вне, зажигает, поддерживает огонь человечности в очаге жизни, помогает больным, страждущим, просто слабым, ждущим участия. Однако на беду нашу эта активная любовь, как известно, сплошь и рядом напяливает извращённые лики. Переставая замечать отдельного конкретного человека, отворачиваясь от его ран, любовь рвётся на просторы исторической сцены, сублимируясь не только в прирождённых злодеях, но и в каких-нибудь вегетарианствовавших поначалу говорунах-гуманистах в фанатичный эгоизм худшего, преступного вида, достойный разве что общенародного вождя-три-

буна, в котором тёмные силы социального творчества перекашиваются зловещей гримасой безумия. Избыточное, самоутверждающееся чувство вождельно прибирает к властным рукам достойный широкого охвата объект – о, это, по меньшей мере, общественная прослойка, класс, нация. Провозглашая от имени похотливой массы заволаживающие её лозунги, грубо лаская посулами, заражая неизлечимой ненавистью ко всем, кто на посулы не падок, болезненная энергия такой любви, перегорая, силой пробивает прямой и ясный путь к всеобщему счастью. Ну, а добро, которое насаждается для пользы всех, оборачивается злом, чёрным и безжалостным, как сапог... что может быть страшнее, чем выдаваемая за любовь ненависть гуманистов? И впрямь, эта властная навязчивая «любовь» к бедствующим бездумным массам сродни психическому недугу – всплыли провидческие строчки на стенде в «уголке психиатра», их с удивлением прочёл и запомнил: «наши современные цивилизации создают и по странной иронии гуманности поддерживают с самой близорукой заботливостью разного рода общественные отбросы, под тяжестью которых рухнут и сами цивилизации. Повсеместно встречаются люди умные, даже выдающиеся, теряющие способность рассуждать. Увлечённые своей политической или религиозной страстью, – а разве социализм не новая разрушительная религия? – они обнаруживают удивительное непонимание, нетерпимость, это религия фанатиков».

Обвёл взглядом жующих, прихлёбывающих... он, увидевший обрушение советской цивилизации, хлебнувший будущего, ничем, наверное, внешне не выделялся из обедавших психов; для них будущего не существовало, они ничего не ждали, не боялись... быстро опустела пластмассовая миска с ломтями хлеба.

Опять пюре с хеком, – вздохнул Соснин, – и как не надоело? Свобода, равенство, братство, тра-та-та-а-а – и летят головы, поля превращаются в пустоши, вершины культуры выгаптываются, чтобы посадить репу.

Позвольте, – вновь забубнил он, вполне автоматически, – разве свобода плюс равенство не гарантируют равные возможности для достижения исключительности?

Ну, эту трогательную мечту хоронят вместе с отрубленными головами мягкотелых идеалистов, где она зарождалась: воцаряется свобода уничтожения несогласных с равенством. И страшная двусмысленная семантика! – друг народа, пишущий в ванне... если есть специально названный друг, значит, появятся и враги, по крайней мере, их выдумают и с возгласами негодования бросят в ненасытную пасть революции, целью которой, что бы ни писали мечтатели, оказывается казарменный быт, а средством – кровопролитие. Но если такие циклы активного самоуничтожения под флагом любви неизбежны, если такова программа исторических локомотивов, в коих люди обречены служить винтиками, то почему же историческое движение угодливо связывают с прогрессом? Потому лишь, что нельзя не верить? Или потому, что и безверие всё равно сомкнётся с фанатичной любовью-ненавистью по принципу схождения крайностей? Да и что новенького добавит трезвый взгляд к позорно-слепому, но вековечному праву жизни жить вопреки всему, распахивая под хлеб насущный кладбища и пепелища?

Костлявая рыбёшка, – Соснин ковырялся вилкой в разваренной кашнице. Сотрапезники по столу уже вымазывали хлебом тарелки, кадыкастый погоняла успел получить добавку; из него бы получился отменный капо. Актриса за соседним столом шевелила губами над полной ещё тарелкой; повторяя, зубрила роль?

Ладно, вспомним о любви к ближнему.

Пусть это будет любовь к конкретному человеку, тому, что рядом. Но при чём же здесь гуманизм? Любовь – это ведь нормальное, естественное, и слава богу, локальное чувство. Или гуманисты всего-то верят в отдельного идеального человека, в его моральные принципы, духовную стойкость?

Заранее краснея от высокопарного слога, Соснин и сам был бы готов признать, что верит в непреходящую ценность личности, хотя и сомневается, стоит ли саму эту веру выводить из предположения, что смысл жизни идеального человека – это прерываемое, само собой,

силами зла, но всё же неуклонное, осенённое высокой мечтой и направляемое высокой целью восхождение куда-то, ради коего и должно противостоять, отстаивать и выстаивать.

В самом деле, почему непременно надо облегчать груз, взваленный на нашего расплывчато-вымышленного человека, иллюзией благородной и достижимой цели? Потому, что человек сильнее всего на свете держится за иллюзию? А если не будет держаться, полагая себя посильным двигателем прогресса, то узнает себя в Сизифе, разуверится в смысле жизни и груз не дотянет? Или заропщет? Ох, нет общей цели, нет. А если есть, то не человеческая! А божественная ли, дьявольская та цель, сам-то человек всегда средство, всегда чьё-то орудие и постыдно было бы гордиться таким назначением.

Соснин снова и снова ставил себя на место подслеповатых современников, встречался с воображаемым трезвым взглядом; рассуждения возвращались к исходной точке.

Не стоит ли задачу сузить? – искал лазейку из круговой западни. Может быть, кроме биологического воспроизводства нет никакого общего для всех смысла жизни и у каждого он свой, единственный, глубоко запрятанный в душевные тайники и если добывать его, тот смысл, исключительно для себя, тогда только и появится достойная, безопасная для окружающих цель? Почему бы, скажем, не усмотреть гуманность в защите внутренних ценностей индивида, сдавленного со всех сторон, но вынужденного бороться прежде всего с самим собой, переживая перипетии внутренней борьбы до тех пор, пока сознание не переполнится и вынужденно не потянет поделиться накопленным: груз невысказанных мыслей и чувств, что и говорить, сладкий груз, но и он с какого-то момента становится непосильным. И получалось бы тогда, что и Соснин – гуманист. Разве не гуманно искать индивидуальный смысл жизни не в ней самой, а в красоте, рождённой искусством, которому только и дано переживать отдельного человека и его время?

Здесь излияния Соснина, допивавшего кисель из порошкового концентрата, пора было бы оборвать, чтобы не растекаться, но тут он и сам потупился, отнял от губ гранёный стакан с остатками розоватых крахмальных клёцок и растерянно смотрел на круглый следок, оставленный на голубой пластмассе; почувствовал тоску; смотрел, смотрел, да так и не закончил мысли о суверенности и моральной относительности творчества.

Наверное, он побоялся загонять себя снова в патовую позицию, так как сообразил, что служение герметичному искусству, ревнивое очищение его от скверны жизни, ограждение красоты от посягательств безыскусного – и, сплошь и рядом, безвкусного – человека – путь к дегуманизации.

в «уголке психиатра» (после обеда)

В коридоре, поближе к лестнице – на площадку третьего этажа выходила также железная, с засовами и замками, как в тюрьме для особо опасных преступников, дверь буйного отделения, у неё торчал мордастый цербер в мятом халате... а какая, надо думать, охрана у отделения для политических – Соснин вспомнил о злочлечениях Валерки. Итак, в коридоре с коричневым лопнувшим в швах линолеумом, поближе к лестничной клетке, как раз напротив одного из постовых, накрытых исцарапанным плексигласом с подсунутыми под него памятками и номерами больничных телефонов столов, у которых посменно возились с лекарствами и папками историй болезней медицинские сёстры, была довольно глубокая, метра полтора, трапецевидная ниша.

Слева к нише примыкала клизменная с растрескавшимся кафелем на стенах, пыточным клеёнчатый топчаном и сиявшим ржавым нутром, вечно струящимся унитазом с низким бачком без крышки, в бачке второпях омывали руки – старые фаянсовые раковины клизменной и соседней уборной по негодности сняли, новыми не обзавелись. Справа от ниши – за краше-

ной белилами деревянной перегородкой с вкраплениями квадратиков матового стекла – располагалась ординаторская, за ней – кабинет Душского, дальше – высокие, с фрамугами под потолок, двери палат, отведённых для ходячих и относительно вменяемых, получивших, как и Соснин, право гулять по саду больных, чьи состояния не внушали врачам опасений, а лечебные назначения им были вполне щадящими, ну а саму нишу занимал массивный стенд с неумелой надписью зелёной гуашью по косо приклеенной полоске ватмана: «уголок психиатра». Под надписью лепились едва ли не еженедельно обновляемые машинописные листки с выдержками из трудов великих психиатров, психологов и мыслителей, так ли, иначе касавшихся в своих размышлениях разнообразных направлений, проявлений и общественных симптомов человеческого безумия; просветительский этот стенд задумывался, очевидно, как школа постоянного обучения, где без отрыва от лечебного производства, между процедурами и обходами больных, расширялся бы кругозор и повышалась квалификация медицинского персонала отделения, хотя ни разу Соснин не видел у стенда ни врачей, ни сестёр.

Не равнодушием ли персонала к высоким обучающим материям и объяснялась идеологическая смелость, с которой подбирались вывешиваемые на стенде статьи-исследования, выделялись ударные цитаты?

Фамилия прозорливого француза-автора ничего Соснину не говорила, перевод был сделан давно, в начале века.

Хм, нахлебавшись киселя, почему бы теперь ума-разума не набраться? «Социализм как болезнь», «социализм как фанатичная разрушительная религия». Кто-то же этакую крамолу отобрал, велел напечатать на машинке, кто-то прикнутил листки. В юбилейный-то год! Не боясь больничных сексотов и какого-нибудь здешнего кощея бессмертного, следящего за идейной чистотой на манер Сухинова...

Сознательный риск?

Бравада внештатного больничного просветителя?

И для кого, для кого всё это вывешивалось?

В нише было темновато, но над стендом... Соснин щёлкнул выключателем и вслед за пролившимся слабым светом бра раздался грохот, какое-то звяканье. Так и Сухинов грохотал дверью своей карательной спецчасти! Нет, Сухинов давно вахтёрствовал на пенсии, а по лестнице тащили из кухни в буйное отделение баки с запаздывавшим и, наверное, остывшим обедом; где-то здесь и секретное отделение для политических – опять вспомнился Валерка, вспомнилось как его, подвыпившего, схватили в метро... как бы не угодил сюда... а-а-а, не здесь ли когда-то пытали, окуная в ледяную ванну и заворачивая в мокрую простыню, Бродского...

«Маркс подразумевал под работой лишь ручной труд. Ненависть социалистов к умственным способностям основательна, социалисты видят в любом оригинальном уме препятствие к осуществлению универсального равенства».

И: «личность, входя в состав толпы, теряет большую часть интеллектуальных свойств, составляющих её силу»

Ну да, но слишком уж очевидно... остро пахло мочой.

А вот это поинтереснее: «человеком руководят не только современные среда и обстоятельства, но в особенности – воля мёртвых, то есть те таинственные унаследованные силы, которые живут в каждом, хотя они и менее всего для человека заметны. Наши действия – наследие долгого прошлого; все последствия их скажутся только в будущем, которого мы уже не увидим».

И на другой странице: «Социальные перевороты не начинаются снизу. Верить революционным инстинктам толпы значило бы становиться жертвой самой обманчивой внешности – это бешенные порывы минуты. Под влиянием свойственных ей консервативных позывов толпа сама вскоре требует возвращения ей идолов, ею же только что и разрушенных. Разве великая французская революция не была спущена с цепи дворянством и правящими классами? Разве

накануне революции состояние умов не отличал трогательный гуманизм, который начинался идиллией и речами философов, а закончился гильотиной? Эта истина станет общепонятной, когда психология, менее элементарная, чем та, которой мы обходимся теперь, разъяснит нам, что внешние события всегда являются следствиями безотчётных состояний нашего духа... всегда непреодолимы силы, создаваемые бессознательными стремлениями».

И ещё, справа, через две страницы, встык с собственно психиатрическим исследованием о фобиях, спровоцированных отсутствием и даже ослаблением памяти: «Нет надежды, что нелепость социалистических теорий может помешать их торжеству. Эти теории в конце концов содержат не больше химер, чем религиозные верования, нелогичность которых никогда не мешала их распространению... хотя социализм как верование стоит неизмеримо ниже иных религий: они обещали после смерти блаженство, а призрачность его не поддавалась точному доказательству. Религия же социализма вместо небесного блаженства обещает блаженство земное, в неосуществимости его легко будет удостовериться. Опыт раньше ли, позже покажет социалистам всю тщетность их мечты, и тогда они с яростью разобьют идола, которому поклонялись, пока не познали, к несчастью, что этот опыт стоит по меньшей мере разрушения общества».

борьба с запорами и калитами как важная предпосылка психического оздоровления (пунктик)

– И как у нас делишки, что тревожит? Крепко спите? – с наигранной веселостью осведомился Всеволод Аркадьевич, туповатый, плосколицый. С непривычной осторожностью, почти нежностью он прикрывал дверь ординаторской, которую обычно бросал; да, обычно озабоченный, всклокоченный, всегда куда-то торопившийся и, сгущая атмосферу бедлама, на бегу раскидывавший указания сёстрам, он на сей раз был в отличном расположении духа и гладко выбрит, причёсан, от него даже, перешибив на миг заменявшие кислород испарения мочи, пахло одеколоном, как если бы он отправлялся прямо сейчас на свидание. – Да, – вспомнил с коварной заботливостью, – как у вас, Илья Сергеевич, со стулом? Регулярно ходите по-большому?

– Регулярно, – поспешил успокоить Соснин.

– Ежедневно, по утрам?

Соснин кивнул, покидая нишу.

Врач, не зря, конечно, прозванный Стулом, с сомнением посмотрел. – Учтите, запоры, тем паче хронические калиты, для больных с расстройствами психики особенно опасны, от них многие психические обострения... так-то, закупорка в одном органе ведёт к... надо промывать кишечник, чтобы очищать душу, голову! Если припрёт, обращайтесь, не медля, назначим... – с видом кудесника показал на дверь клизменной, у которой уже дожидались своей участи двое несчастных в коричневых пижамах на вырост, и, демонстрируя искреннюю расположенность, смешно вытаращил глаза.

Психиатры расписались в беспомощности? Человеческая психика, текучая, трепетная, слишком тонкая материя для них. Не потому ли для одного целителя панацея – клизма, для другого – душ «шарко»?

Выглянул Душский, позвал Соснина.

диалог из нескольких вроде бы необязательных (для лечебного процесса) фраз и содержательное молчание

«Вряд ли Кальтенбруннер забыл о своём поручении Мюллеру проверить досье Штирлица»... – на полке стеллажа телевизор; дневной повторный показ.

Кабинет «заслуженного деятеля науки РСФСР» был чистенький, аккуратненький, как и его подтянутый хозяин с безупречно-твёрдым воротничком рубашки, при галстукe, в крахмально-снежном халате – всё белое, стены, мебель, только у внушительного мужчины с пронзительным взором – портрет висел над календарём, слева от пустого, если не считать телефона, рабочего стола Душского – курчавилась густая чёрная борода...

Наверное, Бехтерев.

Да, чёрной ещё была железная решётка на открытом окне, на ветру, вскипая, качалась ветка.

За решёткой щебетали пичужки.

– Контрастный душ, прогулки, надеюсь, идут на пользу? – поднял голову Душский, – жалуетесь на что-нибудь?

Но глазками не присасывался – ему всё ясно?

– Не жалуюсь, чувствую себя хорошо.

Привычно забарабанил пальцами по столу, затем встал, задумчиво налил из графина, стоявшего на круглой салфетке на низком столике, в тонкий стакан воды, запил таблетку; опять забарабанил.

Мюллер профессионально – одна рука внутри стакана, другая придерживает за дно – рассматривал стакан, на котором Штирлиц оставил отпечатки пальцев.

Когда засвистели у виска, как пули, мгновения, Душский шагнул к стеллажу, выключил телевизор, сел.

Всё думу думает, о чём же я думаю, он, как и вменено ему, доискивается до истоков болезни, а я-то думаю как раз о том, и только о том, что, если б он вдруг доискался, узнал, это сделалось бы его редкостной врачебной добычей, он ищет и не может найти причину психического сдвига, а я ту причину знаю, знаю, но не скажу. Если бы хоть что-то сказал, то уж точно не вышел бы на волю отсюда, как опасный безумец.

Тихонько бормотало радио... На активе городских строителей бригадир гранитчиков заверил, что повышенные обязательства, взятые бригадой в юбилейном году... мощение Дворцовой площади идёт с опережением графика... с заключительным словом выступил заведующий... отдела обкома... Салзанов, горячо встреченный собравшимися... наши успехи закономерны...

У Соснина точь-в-точь также, как на суде, зачесались внутренности, вот-вот снова взорвётся хохотом, но – с отчаянным усилием сдержался, не желал добавлять профессору пицци для подкормки его гипотез; тут и радио девичьим голоском запело про лесного оленя, про страну оленью.

– Вы что-то, слышал, пишете ежедневно, изживаете случившееся? Это хорошо.

– Что тут хорошего?

– Всякое творческое усилие полезно для психики, творческое усилие возбуждает и – успокаивает, ибо возбужденное сознание ищет отдушину, находит выход.

– Выход – куда? В иллюзию?

Прислушался. По радио зажигательно запела АББА.

– Можно и так сказать. Но если вы даром слова не обделены, если ввысь тянет, – многозначительно посмотрел в потолок, – ищите выход в искусство. Вообще-то целительно для психики самое творческое состояние, ощущение нераздельности иллюзии и реальности, искусства и жизни. Искусство, бывает, занимает место болезни, – медленно приотпускались жёлтые веки, – кто-то из неглупых людей заметил, что жизнь не прощает безумия, а искусство – его отсутствия. Творческое состояние снимает противоречие... Помолчал, устало поднял глаза. – Когда был безумен Ван Гог? Отрезая себе ухо или смешивая на своей палитре землю, воду

и небо? Снова посмотрел в потолок. – Во всяком случае, безболезненнее искать смысл жизни в искусстве, чем в самой жизни.

– Он есть, смысл?

– Вопрос до сих пор открыт, – улыбнулся.

– Всегда ли безболезненнее искать в искусстве? Разве душевная боль, которую поэт превращает вдохновением в песнь, этой самой песнью не ранит?

Душскому смутно вспоминалось что-то далёкое-далёкое... плеск волн, прыгающий на одной ноге, замотанный полотенцем Соркин, из прошлого зазвучали и назидательные тембры собственной речи. Беседе грозил совсем не предусмотренный оборот. Сказал. – Это противоречивое воздействие – песнь ранит, врачуя; но, главное, песнь не способна убивать. Если, конечно, в творческой экзальтации не уверовать вдруг всерьёз, что и жизнь-то нужна лишь для того, чтобы поставлять материал искусству. Помолчал. – Иллюзорное, превращаясь в единственную реальность, грозит опасными рецидивами.

– Что такое творческое состояние? С точки зрения медицины.

– Это тоже иллюзия, будто сложные явления и состояния духа можно просто и точно назвать, надо якобы поворошить мозгами и подобрать нужные термины, – говорил отрешённо, – есть замечательные исследования по психологии искусства, читали? Да, тома написаны, но феномен мучительно-счастливого бремени лишь робко затронут. Нельзя ли что-то добавить? Увольте! Оставим шарлатанам от медицины влезать в столь тонкую сферу. Ещё мой учитель, – скользнул взглядом по портрету, – предостерегал от чрезмерных притязаний психиатрии.

– В чём отличие обыденной психологии от психологии искусства?

– Отличия обусловлены отличиями в самих предметах психологии, отличиями жизни от искусства.

– Кто или что художника мучает и счастливит? – спрашивал, однако, удивляясь своей настырности Соснин, слова сами слетали с языка.

– Вы меня удивляете, задаёте вопрос, хотя, думаю, знаете, что на него в принципе нет прямого ответа, – присосался глазками Душский, – поэты, художники одержимы, как считали встарь, демонами, природу их одержимости нельзя полностью объяснить ни земными, ни небесными стимулами. Поэтому, кстати, им в их внутренних борениях не способны помочь ни врачи, ни духовники.

– Главный стимул – подсознательный, либидо?

– Никто, во всяком случае, более смелого и убедительного объяснения не предложил. Забарабанил громче. – Надеюсь, обойдём трясину психоанализа? Тем более, что дальше разгадки стимула не продвинулись. Перед тайнами писательского искусства, – ехидно растянул губы, – и психоанализ беспомощен.

– Венский кудесник признал своё поражение?

– Было дело...

– Как выглядит демон? – надавливал, не пожелав дослушать.

– Не так, как у Врубеля, – раздражаясь, уже не барабанил пальцами, прихлопывал сухой ладонью по столу, – есть, правда, фрейдистская претензия на обнаружение демонов в сновидениях, излишне самонадеянная, прямо скажу, претензия.

– «Die Traumdeutung»?

– Вы меня удивляете, удивляете, – саркастически повторял, прихлопывая ладонью Душский, – при вашей-то осведомлённости расспрашивать меня об облике демона?

– Ладно, обойдём невидимую мистическую фигуру, – не отставал Соснин, как если бы навязывал Душскому свой метод дознания. – И с чем же промежуточное, на границе иллюзии и реальности, состояние сравнимо, если иметь в виду поведение?

– Для вашего психотипа, пожалуй, с сомнамбулизмом.

– Поконкретней бы...

– Это деятельное пребывание между явью и сном, когда непостижимо смешиваются мысли с чувствами, можно и иначе сказать – между землёй и небом, выбирайте то, что понравится.

– Что, прежде всего, обещает парение в промежуточности?

– Отключение логики.

– Всякой логики?

– Не всякой, причинной.

– Как влияет на поведение мой психотип?

– Мы специально и подробно до сих пор не беседовали, не было в том лечебной надобности, но, полагаю, вам претят открытые жизненные противоборства, вы предпочитаете замкнуться в себе, довериться воображению.

– Как всё-таки провести грань между сомнамбулизмом и настоящей болезнью?

– В психиатрии трудно что-либо твёрдо и чётко определять, – вздохнул, – грани между контрастными психическими реакциями размыты, симптоматика психических недугов, тем более, у художников, как увидели мы на примере Ван Гога, противоречива.

– Но ненормальность ведь как-то отделяется от нормальности, как-то вы ставите диагнозы.

– Острые рецидивы, требующие изоляции больного, не в счёт, а так... нет чёткого понятия «нормы». С позиций среднего возраста даже шалости ребёнка выглядят странно, а старение и вовсе превращает безобидного человека в монстра.

Если всё так нечётко, размыто в психиатрической диагностике, подумал, за что вам, заслуженному деятелю науки, деньги платят? – Скоро ли у меня, сбалансированного средним возрастом, – натянуто улыбнулся, – проявится целебный эффект от сочетания сомнамбулизма с водными процедурами?

– Вы – практически здоровы. Потрясение, эмоциональный срыв, вызванные столкновением с судопроизводством, перенесли, но агрессия ваша пассивна, психическая патология вследствие срыва не наблюдается, сработал, судя по всему, какой-то защитный внутренний механизм, все вопросы ваши, – поднял блеснувшие иронией присоски-глазки, – в том числе вопросы о демонах, по сути своей безответные, – по форме логичные, осмысленные, так что вы, – практически здоровы. Через недельку, возможно, выпишем, – опять забарабанил.

Паршиво себя чувствовал последнее время, гудела тяжёлая голова, а руки, ноги – будто бы отнялись, сосуды забиты? Прилечь бы на часок, закрыть глаза... устал от еженощной тихой пытки бессонницей. На потолке, тоскливым фоном, – подвижная мозаика нервных красок, ведущих с ним какую-то невнятно-издевательскую игру. Из абстрактной, явленной дёргаными контурами и сиренево-лиловой гаммой симптоматики психозов проступают бледные до прозрачности лица пациентов. Измученные, смотрят сверху с укоризной, но и самому ясно, что растратил впустую ум, душевные силы, топорно лечил. Всё не так, не так, как мечталось, годы всласть поизмывались над ним, ну какие, какие психозы он, когда-то атаковавший их с молодым задором, в конце концов, победил? Беспомощность. Потрясение, эмоциональный срыв – расхожие схемы, мало что объясняющие. Повезло хоть быстро понять, что химические препараты не лечат, лишь подавляют, а физиотерапия по крайней мере не навредит. Да, порядок вещей посильнее любых потуг что-либо изменить, усовершенствовать, всё от века заведено? Где фаустовский дух новизны, иссяк? Повсюду лежачие камни, покусишься сдвинуть, тотчас всё обернётся против тебя – всё понапрасну, и не определить с чего начиналась всеобщая деградация... фаустовский дух, смешно! А у самого с чего деградация начиналась? С чувства страха? С безропотного участия? Длинные, под красными сатиновыми скатертями, столы официозных президиумов, научные советы с бездарностями на трибунах – страшное, потом безрадостное тягучее время. И, кажется уже, что годы вмиг промелькнули и зря, зря. Жизнь,

так прежде опьянявшая, давно вызывала отвращение. Прислушался к чириканью птичек, порхавших в воздушных клетках решётки. Может быть, людям искусства легче? – взгляд с сомнением скользнул по Соснину, тот тоже смотрел в окно, – хм, «Die Traumdeutung» к месту упомянул, к месту, было бы любопытно заглянуть в его сновидения! Да, никакого невроза, всего-то сомнамбулизм, перемешивающий реальное с воображённым. Что-то, терзаемый демонами, взялся писать, зародится ли искусство под пером у начинающего бумагомараки? Хм, коробки – его художное искусство, коробки, с треском повалилась уже одна. Но Риточка вдохновенно играла Шопена, Шуберта, грезил музыка. Сколько волнующей прелести нёс каждый её аккорд! И тоже – впустую. И прошлое, где оно, развеялось, как дым? Нет, хаотичными обрывками зачем-то возвращается, как сейчас. Однако чаще не успокаивает, изводит. Хотя сейчас... Хорошо, что догадался скупить, развесить в коридоре любительскую масляную мазю, она-то и ласкает, как когда-то ласкали солнце, плеск волн. Да, что-то вернулось, когда услышал про душевную боль, претворённую в песнь вдохновением. Хм, умолк судебный хохотун, умолк и всё смотрит, смотрит в окно. Есть простенький, студентам известный тест – если засмотрелся в окно, значит, одинок, значит, гложет его чувство покинутости, да, по-Юнгу томление у окна символизирует одиночество. Когда на землю спустится сон? Голова гудит, немного, наверное, ничтожных событий осталось на его долю. Краснобай и непоседа, дамский угодник Соркин угасал долго, чуть ли не с десятков лет промолчал, упёрся в одну точку, качаясь, не зная какой год, день на дворе. Кумом королю прикидывался, жил-шумел, аппетитно ел-пил, а всё стёрлось. Спустится сон? Нет, опостылело всё, лучше сразу. Вспомнился доклад в ИЭМе об опылении холестерина сети мелких сосудов мозга, о лекарствах, избирательно снижающих содержание в крови... у него в крови, давно знал, перебор плохого холестерина. Кто тех чудесных лекарств дождётся? Ему они уже не помогут. Но на кого, на кого, чёрт возьми, оставлять кафедру, отделение? На тупицу, чей универсальный инструмент – клизма? По утрам до сих пор являлся с поклоном, теперь сам с усами, в доктора наук, размахивая партбилетом, полез, скоро обнаглеет, хотя пока ещё приторно улыбается. Ну и диссертации защищают нынче! «Борьба с запорами и хроническими калитами как важная предпосылка...». И на смех не подняли, ни одного чёрного шара. Бесился, слушая, а смолчал в тряпочку, сам кинул безвольно белый шар, и сам же поздравлял потом под аплодисменты, с вежливой восторженностью. Сил нет, безразличие. Наука деградирует, всё-всё идёт прахом; да ещё надо отправляться на банкет, произносить тосты.

– Леонид Исаевич, пора! – приоткрыл дверь сияющий Всеволод Аркадьевич; без врачебного халата, в отутюженном летнем костюме, с пышным бело-красным букетом пионов.

– Я готов, – откликнулся вяло Душский, медленно снял халат, оставшись в старомодно-тёмной бостоновой тройке, аккуратно повесил халат на плечики в шкаф, – через недельку подумаем о выписке, пока в борьбе с демонами не переутомляйтесь, отдыхайте почаще, – посмотрев в глаза Соснину, добавил, – привет Маргарите Эммануиловне.

вопрос (давно назревший, если не перезревший)

– А где обещанный поиск модели саморазвития? – спросите вы. – И почему о стиле опять забыли?

Бесспорно, начало поиска, как ни хотелось представить его в выгодном свете, получилось сумбурным, но ведь это пока цветочки. Модель, тем паче модель саморазвития, штука хитрая, увёртливая, её голыми руками не взять, ну а поиск, не сулящий быстрых находок, занятие выморочное, малоувлекательное, если, конечно, это не поиск убийцы, перемежаемый постельными сценами.

Однако, выйдя от Душского, глянув после укола – укол, укол! – догнала на лестнице медсестра – так вот, глянув после укола на старенький масляный пейзажик с тощими тополями, сине-зелёным морем и голубой горой, Соснин уже улыбался, будто ему привиделось что-то немаловажное для продолжения своих разысканий.

А что, собственно, он искал?

Пожалуй, он искал форму письма, способную не только отразить заинтересовавшую нас модель, но и поточнее выразить всё то, что с ним стряслось, всё то, что увидел... ха-ха, искал форму или формат? Ха-ха-ха – формат! Какое тесное, какое лающее словечко... Но сначала, до рассказа самой истории...

Да, сначала – давно обещанная модель.

Или – её образ хотя бы?

**как он, подступаясь и переминаясь, отсекал всё лишнее
(мысленно) под нудный аккомпанемент уже отчасти знакомых
нам философичных (псевдофилософичных) брюзжаний**

Мало было бы заметить, что Соснину, узнавшему уже куда ведёт дорога, вымощенная благими намерениями, вволю насмотревшемуся на руины утопии, претили символы восхождения.

Его прямо-таки бесили претензии на восхождение всего человечества, якобы уносимого вперёд и выше на крыльях прогресса.

По мнению Соснина именно «вперёд» и «выше» оскорбляли ушедшие поколения: снабдив нас запалом гордости – как не гордиться славным прошлым? – и удаляясь теперь в искажаемую злобой дня ретроспективу отживших веков, они, эти сгинувшие поколения, превращались в исторических аутсайдеров, которые успели, конечно, протянуть нам еле-еле тлевший, пока мы не раздули, факел, но сами так и ушли в небытие непросвещёнными, не осчастливленными социальными и техническими новациями. И хотя многих из уловивших одышку всё ещё самодовольных, подстёгнутых приближением славного юбилея, доктрин прогресса уже раздражает – иных давно раздражала – болтовня о том, что, ускоряясь наукой и пролетарскими революциями, человечество семимильно и поступательно устремляется, – куда, зачем? – что оно не только выстоит, но и победит – кого? – вряд ли многие – некоторые не в счёт – понимают, что натворил в инертном, как у парнокопытных, но жадном до лестии сознании масс эффектный, спору нет, образ спирали, превозносящий винтовую нарезку времени, восходя по которой и загибая пальцы-годы, считают победные витки-серпантины, а в мечтах мусолят сытный привал, где получают по потребностям, воткнут древко и... как принято верить, не засидятся, опять устремятся к высям, чтобы взбираться, взбираться, не задумываясь куда и зачем – главное вверх. И уж совсем немногим даже из некоторых понятно, что головокружительная погоня за возвышенно-светоносной далью обрекает служек нового победного культа на прозябание в тени, отбрасываемой будущим...

Нет, не зря посмеивался Соснин над всеильными идеологическими банальностями, не зря, у него были причины считать, что развиваться и видоизменяться можно никуда не взбираясь.

Бросают же ком глины на гончарный круг и получают прекрасный сосуд.

Движение круга, а иногда и по кругу, завораживает – оно многолико.

Конечно, глупо было бы не признавать унылость отдельных видов кругового движения, навевающего порою мрачные мысли: достаточно припомнить вангоговскую прогулку узников. Однако тут же, контраргумента ради, допустимо сослаться и на впечатления противоположного толка, для Соснина из-за известной ущербности его вестибулярной физиологии прене-

приятные, но зато для всех нормальных людей радостные и возбуждающие – те, кому доводилось кружиться на карусели или хотя бы видеть как кружатся, вцепившись в резные гривы деревянных лакированных лошадок, счастливые дети, не стали бы отрицать развлекательную пользу смеха, музыки и весёлого мелькания по-ташистски смазанных форм. Между тем, пусть эти простейшие круговращения и могут сулить острые переживания, окрашенные положительными или отрицательными эмоциями, а от случая к случаю могут переплавляться в метафоры, аллегории или какой-либо иной сочинительский инвентарь, они символизируют механистичность движения, лишают, если угодно, мысли и чувства подлинно-творческого полёта, так как не провоцируют активного взаимодействия человека и круга – даже фанатичные обожатели Бахтина не сумели бы им – человеку и кругу – навязать диалогических отношений. А вот тот же гончарный круг с вращавшимся комком глины, который превращался волнением и усилиями гончара-художника в прекрасный сосуд, при наличии элементарной фантазии предлагал разнообразно наполняемую, подвижную и открытую модель обоюдного развития.

Для Соснина не вставал вопрос о продукте творчества.

Он полагал, что художественное произведение и художник есть объекты всего лишь ситуативного раздвоения, в процессе творчества они слитны и одновременно творят друг друга, надевая при этом разные ролевые и игровые маски на одно и то же лицо: стиль – это человек.

**человек, его стиль и попытка моделирования
человека-стиля в свете более общих «круговых»
рассуждений Соснина, вовлекающих в круг его
мыслей и такие достойные категории как познание
и самопознание (заглушая нудный аккомпанемент)**

Тесные связи между человеком и стилем – легко возразить – отнюдь не новость, в психологическом портрете личности они не более, чем занятная деталь, а вращение гончарного круга, с помощью которого Соснин пробует смоделировать эти связи, всего-навсего частный вид кругового вращения, для ваяния и ваятеля сугубо инструментальный.

Однако Соснин готов был, не переводя дыхания, защититься общими, для кого-то, может быть, и не лишёнными новизны соображениями. Не зря ведь ещё Платон определял познание как беседу души с самой собой о прежних встречах с божественными видениями – увидеть, узнать можно лишь то, что есть в душе. И давно известно – кому из книг, кому по личному опыту, а Соснину, к слову сказать, это известно было и по личному опыту, и по книгам – сознание сколько-нибудь пытливого индивида, едва пробудившись, начинает расширять свои притязания, неудержимо стремится к постижению внешнего мира, непрестанно погружаемому в мир внутренних.

Так-таки неудержимо? – ехидно переспросите, заподозрив Соснина в блефе, а он возьмёт и шлёпнет по столу козырным тузом.

И правда, что ещё остаётся познанию, которое тут и там наталкивается на непреодолимые покамест барьеры, как не закапываться в самопознании, чтобы, всматриваясь в себя, набираясь духовных сил, исподволь готовить новый штурм цитаделей мировых тайн, дразнящих разум?

Вот-вот! Открытие делалось предметом его тихой гордости... Заскрипели ворота; привезли порожние бачки. Маленький кран, укреплённый на кабине грузовика, рассыпая мусор, медленно поднимал в кузов полные.

Вот-вот! Встретившись на заре эволюции с первыми серьёзными препятствиями, робкое познавательное усилие не застоялось в тупике, нашло спасительный выход из бездействия в самопознание, где, наплутавшись по своим лабиринтам... вот и началось.

С тех пор, теряющихся в неправдоподобно далёком прошлом, развился изошрённый мысленно-чувственный познавательный механизм, в основе его лежал неизменно элементарный принцип, укладываемый во внешне сколь угодно усложнённую, но по сути своей тоже элементарную вполне форму: две стороны одного процесса – познание и самопознание – по первой интуитивной надобности преобразуются одна в другую с магической неуловимостью, как преобразуются из «этой стороны» в «ту» и из «той» в «эту» поверхности ленты мёбиуса, оригинальной эмблемы двойственности, в том числе – пространственной двойственности: эмблемы, которая при всём изяществе фигурки, будто бы нарочно для аргументации Соснина рождённой от соития математики с красотой, напоминает, если приглядеться, выгнутый, или точнее – хитро вывернутый пространственной восьмёркой обруч, ну а обруч-то, согласитесь, – это ведь ещё и вполне тривиальный, хотя ничем решительно не заслуживший нашего с вами пренебрежения, круг.

подробности и оговорки

Пока обедали, прошёл шумный дождь, листва блестела, от газонов шёл пар, солнечный край мокрой, усеянной капельками, скамьи подсыхал... на дорожку упала с ветки крупная капля. Разлетелись во все стороны мельчайшие капельки; и разлетелась, не успев отразиться, вселенная.

Какая пронизательность отличала «Заслуженного деятеля науки РСФСР», как всё с медицинской точки зрения было просто! – встряска ли, эмоциональный срыв от встречи с судопроизводством, затем – включение защитного сомнамбулического механизма души и, значит, отключение логики, спасение в своевольном мире иллюзий.

Опять упала, оставив оспину на дорожке, капля.

И оказавшись опять на круге, пусть и вывернутом с божественным ли, дьявольским, но уж точно озорным хитроумием, сулящим-таки плавное проникновение «по ту сторону», то бишь то сулящим, собственно говоря, то, чего герой наш с молодых ногтей волнующе домогался, он, отправляясь за фруктовой передачей, мог увлечься ещё кое-какими захватывающе-скучненькими соображениями.

Так, замечал он, круговой путь индивида чередует и сливает познание и самопознание, взаимно перетекая, фазы любопытства к себе и миру вовлекают в умственную и душевную работу все живые силы. Как? Как это представить? – та же лента мёбиуса податливо деформируется, сохраняя, однако, неуловимость взаимного перетекания разных сторон-поверхностей...

Солнечные пятна на дорожке, лужицы у газона.

Смотрел под ноги, на дорожку, глухо проворачивались круги, но умными ли, глупыми были мыслишки... Впрочем, подробности-уточнения, приходившие на ум Соснину, хотя ему и изменяло порой чувство меры, вряд ли далеко уводили от главного из сиюминутных открытий: неразрывность прихотливо чередующихся фаз двойственного процесса, активность и, если больше не возражаете, неудержимость познавательных импульсов заряжались прежде всего их круговой заикленностью.

**всё ещё о круге и кое-каких дополнительных трансформациях
круга, оживляющих прошлое, помогающих Соснину поиграть
фантазией и расшифровать неожиданную образную подсказку**

Трудно решить рассеялись ли от приведённых пояснений недоумения касательно личности Соснина или, напротив, они сгустились, лучше ли, хуже стали понятнее его природные побуждения, душевные затруднения, но хотелось бы надеяться, что теперь хоть будет понятнее почему в привычно присоединяемых к кругу эпитетах «замкнутый», «заколдованный», «порочный» ему мерещились предвзятость и недомыслие.

И восходит солнце и заходит солнце; всё возвращается на круги... – это ведь изменчивость и устойчивость, взятые вместе, напоминание о горькой правде неисправимого жизненного закона.

Но стоило ли умиляться формуле «так было, так будет»? Шире круг. В нём и идейным поклонникам спирали, если не побрезгуют, места хватит. А если непременно понадобится подъём – снова увлекался, возвращаясь к высохшей садовой скамейке и помахивая кульком с фруктами, – то и круг можно перевернуть вертикально, превратив в колесо, обод которого то неба касается, то месит грязь, и посему поиск верха и низа теряет смысл. Или можно вырастить из круга цилиндр, запустить гонки по вогнутой вертикальной стене – взревел мотор, Ван-Ю-Ли в красной, туго завязанной косынке, понёсся, сжимая рогатый руль, Нелли вцепилась в локоть Соснина, захваченная скоростным аттракционом, дёргалась, повизгивала, что-то горячо шептала в ухо, он ничего не слышал из-за треска, аплодисментов – бесконечный вираж, то выше взлетишь, то соскользнёшь, но не расслабишься: постоянное напряжение.

Или можно...

Можно не сомневаться, ему хватило бы фантазии выдумать и другие варианты кругового движения.

Напомним также, что острые вращательные аттракционы, сколько бы он ни хорохорился, для его вестибулярного аппарата были невыносимы и потому оставались практически неприменимой игрой ума.

Однако круги-кругами, а было бы заблуждением принять его за догматичного противника разного рода подъёмов и восхождений. Соснина – и здесь с ним трудно не соглашаться – отвращала ведь не сама спираль как форма, претендующая на абстрактное совершенство, а её идеологическое высокомерие, хвастливая уверенность в том, что и на возвратных витках она возвышается.

И поэтому не будем удивляться, что Соснин, хоть и несколько умиротворённый обедом, продолжал всё же пространственно усложнять модель саморазвития и, глянув вдруг как выгибает спину и потягивается повадившаяся сопровождать его кошка, понял, что катит по описывающей круг синусоиде.

чем не модель?

Взлёт – падение, взлёт – падение.

Американские горки, поставленные на круг?

перескок

И почему-то в этой сложно ритмизованной маяте замелькал смысл, забрезжила надежда на воспроизводство духа.

Мгновенно и счастливо взлетая на пик с великолепным обзором, взгляд обнимал нежную округлость земли, чересполосицу лесов, пашен, пастбищ, петляющий блеск рек. Взгляд пронзал завесу незнания, туда, туда, к голубизне дальних пиков, чтобы коснуться вечной красоты

и ужасной логики спрятанных за ними гармоний, но, может быть, счастье не за горами, а под горой? – ничего толком не успевая рассмотреть и запомнить, он камнем падает в яму.

Припасть к земле, набраться силёнок для нового вознесения?

Кто знает...

И кто мог знать ждало ли его хотя бы в последней точке земного круга заплombированное желанное понимание того, что случилось с ним?

И где, в какой нише души, трудился для его взлётов, пожирая творческую энергию, двигатель внутреннего сгорания?

Но есть же такой двигатель, есть! – воскликнул даже Соснин, безотчётно метнувшийся из хладного мрака абсурда на согревающий гуманистический свет. И сразу ему сделалось страшно от того, что довелось прикоснуться взглядом к тайному устройству собственной жизни; пусть и пристрастным взглядом, пусть и обмануться, что прикоснулся, а и сама мысль об этом прикосновении ударяла, как голый провод.

успокаиваясь, погружаясь в рассуждения-допущения (вполне вульгарные) о природе накопления, концентрации и перетекания творческой энергии

Смене поколений обычно сопутствует смена подогнанных к нуждам исторического момента иллюзий. Однако из поколения в поколение наследуется живучая, как тайный завет, сладчайшая и тревожная грёза – надежда на спасение в творчестве.

Не собираясь превозносить или клеймить удобное суеверие избранных, тем паче, не обсуждая дан ли хоть ничтожный шанс творцу вырвать у тьмы бессмертие – если шальной шанс воплотился частично в том, что Соснину выпало увидеть, услышать там, во дворе, наречённом им «двором вечности», то, как говорится, увольте... – он, однако, усматривал в бессмертии самой этой надежды жгучую, неутолимую жажду жизни, пьющей век от века души художников. И хотя феномен творчества можно при желании подать расширительно, ибо вдохновляющей предпосылкой – и одновременно конструктивным посылом – оно движет едва ли не любой род деятельности, созидающей новое, Соснин такого желания не испытывал, искал бытованию творчества внутренние, личностные мотивировки.

Творческий акт – смутно догадывался – есть акт внерелигиозного покаяния.

Покаяния не в том, что сделано дурно или не так, как следовало бы по предписаниям христианской морали – переживания в зашторенной кабинке для отпущения грехов им не рассматривались – а в том, что не сделано ради посильной гармонизации мироздания; спору нет, не свершённого – благие намерения, душевная слепота, глухота и пр. – всегда больше, чем ошутимых свершений и потому, дескать, огромная потенциальная энергия, достигнув в своём неосознанном накоплении некой критической величины, оплодотворяется чувством неизбежной вины, вступает в фазу бурного динамизма и, вселяясь в ту или иную персону, иногда наследуясь, разрешается творчеством.

Условием запуска творческого процесса, стало быть, является некий перепад, необходимый, чтобы энергия потекла, нужны поля напряжения, разности потенциалов – в школьном курсе физики Соснин балансировал между тройкой и четвёркой, с него и взятки гладки, он прибежал к физическим аналогиям исключительно из-за отсутствия специального, достойного нашей темы понятийного аппарата – к счастью для творчества, жизни не грозили покой и уравниленность...

Как же воспринимал и применял он нащупанный им закон сохранения и превращения творческой энергии?

В мире сложной причинности, где истинные пружины поведения замаскированы случаем, требовалась особая осторожность суждений и потому Соснин выделял лишь три условных уровня его применения.

Во-первых, неосознанно страдающие от чего-то не сделанного ими самими, сплошь и рядом гасят эти страдания каким-нибудь милым хобби – нумизматикой, выпиливанием лобзиком.

Во-вторых, нет недостатка в желающих не только страдать, но и отвечать за не сделанное, как ими сами, так и другими, к страданиям не чувствительными. Эти-то другие – люди как люди, они вообще не желают ни страдать, ни отвечать – с какой стати? – живут себе поживают, добра наживают: барахтаются в повседневности, влюбляются, женятся, поедают борщ и котлеты, но, оказывается, сами того не подозревая, копят подспудно творческую энергию, которая им самим ни к чему. Эта энергия и отнимается у них время от времени инструментально неведомым пока способом, ну, допустим, отнимается безболезненно, вроде как кровь у доноров, и в качестве творческого дара тайно переливается в запрограммированных на самоотречение художников, писателей, композиторов, чтобы они, интуитивно желающие страдать и отвечать за мир вещей и людей, сполна удовлетворяли свои желания, воспламеняясь творческими экстазами; подобно эгоистичным детям наши талантливые, тем более гениальные творцы полагают, однако, свой дар врождённым и безвозмездным, не понятые, не признанные при жизни, они возвращают долги в каких-то выдуманных, а то и надуманных формах лишь будущим поколениям, при условии, конечно, что будущие поколения дорастают всё же до их искусства.

Ну и коли – в-третьих, – в уме и сердце исключительной личности вызревает чувство вины за всех людей, за весь мир и всё человечество, духовные ресурсы человечества, чудесно сконцентрировавшись, вселяются в эту самую личность – так рождается великая религия, творец её становится Богом. Рождение великой религии – это настолько сильный энергетический взрыв, что он ослепляет верой живущих в духовной тьме, кое-кто, свихнувшись, даже воображает себя распятым, воскресшим... зарвавшихся одиночек изолируют от здорового большинства, так как исключительные взрывы-события оттого и исключительны, что случаются с кем-то одним и лишь однажды, да и не известно точно, к слову сказать, случались ли они, взрывы-события, на самом деле или гениально выдумывались, потому-то самозванцев и лечат от навязчивых проповедей любви и сострадания, строптивых усмиряют лошадиными дозами инсулина – больничного мессию, правда, и жестокими уколами не смогли унять, он и после обеда продолжал свою добрейшую любвеобильную угрожающую гимнастику-пантомиму, не обращал внимания на двух психов, шутников в полосатых байковых пижамах, которые, спрятавшись в кустах, кидали в мессию шариками, скатанными из хлебного мякиша... Короче, самозванцев так ли, иначе вводили в норму, жизнь продолжалась, её фундамент надолго оставался прочным и монолитным, а в людях тем временем аккумулировалась энергия будущих взрывов, которым суждено взметнуться где-то за обозримым горизонтом веков.

к чему всё-таки он клонил?

Получалась, конечно, грубая, вопиюще противоречивая схема.

И что с того?

Если, допустим, огрубить её ещё решительнее, отбросив бесконфликтные хобби бухгалтеров как умилительно-расхожие факты, а глобальный взрывной конфликт, обусловленный рождением Бога, как уникальность, случающуюся раз в тысячелетия, то можно без лишних помех выйти к противоречиям, питающим художественное творчество, которое, заметим попутно, хотя и не очень-то афишируя неосторожное наблюдение, одинаково тяготеет и к удо-

вольствиям домашних поделок, и к разного рода спасительным и страшным пророчествам. С одной стороны, схематичные рассуждения Соснина усомнились в идеале уравновешенности возносящих порывов духа и косных позывов плоти. Стоило представить идеал этот повсеместно восторжествовавшим, как воцарялась усреднённая упрощённая жизни, равносильная вымиранию. Что сделалось бы, к примеру, с изнурительно-прекрасными синусоидальными пиками-провалами? – в лучшем случае унылую, без перепадов, душевную жизнь взялась бы казуистически оправдывать какая-нибудь абстракция вроде спирали, вдавленной в плоскость... Стало быть, любовь ли, разлад, согласие с миром или крушение надежд держались на дисгармониях, неизменно остающихся при этом болью художника и условными приводными ремнями творчества. С другой же стороны, творчество всегда и везде силилось преодолевать дисгармонии в художественном порыве к идеалу, если и не преобразующем жизнь, то хотя бы бросающем на неё отблеск гармонии. Любопытно, однако, что изрядно смущённый противоречивостью своей же схемы, Соснин не кинулся заново развёртывать её так и эдак, не призадумался, не перепроверил посыпки, а поспешил успокоиться на том, что сложная причинность являет нам и двулично-сложные истины, которые горды самоотрицанием.

Даже в бравурном марше – верилось – чуткое ухо ловит трагический мотив покаяния.

не оправдания ради

Легко предположить, что из мутноватых теорий Соснина, сколько они бы не разбухали, не вытекут философские откровения. Но если и в наскоро отжатом виде они не заражают энтузиазмом, отмахиваться от них будто бы от банальностей, всё равно было бы опрометчиво.

Не гоняющиеся за точностью, замутнённо-затемнённые выкладки и для него-то самого не всегда служили полновесными продуктами мысли, способными окрылить, направить к добыче других продуктов. Однако они бесперебойно питали какой-то неприхотливый орган внутренней жизни, без участливой помощи которого вообще невозможно было бы набрести на что-нибудь путное. Раскапывая богом забытые края памяти, походя вытаскивая тему за темой, этот – то неповоротливый, то расторопный – помощник, оказывается, специально нагромождал перед ищущей мыслью логические противоречия или ещё какие-то искусственные препятствия, осиливая которые она то и дело сбивалась с вроде бы выверенного курса куда-то вбок, шалела от перехода из одной неразберихи в другую, но обретала-таки в лунатических блужданиях устойчивость духа и свободу обзора, столь необходимые, чтобы пробиваться к давно угаданной, хотя поминутно и ускользающей из поля зрения главной цели – художественному высказыванию.

как взаимодействовали на пути к цели устойчивость духа и влекущая в дали-дальние свобода обзора (не забывая о модели саморазвития)

Это не были шатания, сопутствующие бесплодному, пуще того – вредному для психики самокопанию, случающемуся при чересчур уж пристальном автопортретировании.

Нет-нет, избави бог!

Упрямые боковые векторы лишь придавали вращательность поиску, закручивали его вокруг невидимой, но прочной оси, которую мы рискнём уподобить творческой воле, и, неустанно деформируя форму высказывания, не выпуская её из транса незавершённого, иступлённо-незавершённого самоусовершенствования, доставляли Соснину трудно объяснимое удовольствие.

Осаживая трепетную, будто лань, мысль, тут и там вырастающие преграды активизировали сознание, поглощённое вечными и насущными тревогами «я», подбрасывали ему отвлекающие задачи, которые хочешь-не-хочешь требовалось обмозговать хотя бы в иллюзорно разрешимых вариантах, ехидно обвиняли только-только проклюнувшийся типаж в психологической несостоятельности, и он, боязливо озираясь, застревал на полпути к образу, ну а радость пирровых побед над искусственными препятствиями получалась недолгой, совсем недолгой, чуть ли не любое из скромных открытий разъедали сомнения и надо было эти сомнения поскорей опровергнуть, опереться на какие-то другие основы-принципы, что опять уводило в сторону. Да, произвольно переключая внимание, соглашаясь перепробовать подчас и несъедобные плоды мысли, перебивая самого себя рассказами о хитростях своего собственного внутреннего устройства, он вовлекал сознание в затейливую игру, искусно провоцирующую разлад между главной и побочными целями, между словами, приходившими на ум, и зрительными образами, которые слова отбраковывали. Необъяснимо приятный, сравнимый с удовольствием, страх перед этим разладом и держал Соснина в неослабевающем напряжении, сушил эмоции, глаза, даже нос, хлюпающий обычно летом от щекотки тополиного аллергена, и тот прочищался.

с эволюцией заодно

Неловко было бы утверждать, что нечто подобное в качестве одной из великого множества своих предусмотрительных выдумок не запланировала эволюция.

Наверняка запланировала! Мы ещё вспомним, к примеру, одну из главных выдумок эволюции, да-да, непременно и не раз вспомним – применительно к индивидуальным творческим терзаниям Соснина – про функциональное разделение мозга на левое и правое полушария.

Но пока речь вовсе не идёт о том, что Соснин был от рождения наделён чем-то из ряда вон выходящим.

Речь просто подходит к тому, что любую из больших ли, малых выдумок природы он использовал в духе упрямых своих наклонностей.

мельком о защите Соснина, его индивидуальной диалектике главного и второстепенного

Попробуйте выковырять улитку из её домика: это не так-то просто.

Беспомощная на первый взгляд студенистая плоть отлично знает, что единственное её спасение – не сжиматься, не отделяться от заменяющей скелет скорлупы, заполнить всё пространство, слиться с ним.

Конечно, самоуглублённость не хуже жёстких эластичных доспехов защищала сознание от тупых ударов обыденности.

Но что подельвали, заполняя замкнутое и надёжно защищённое пространство сознания, главные, обязательные мысли, пока он возился с необязательными?

Держу пари, что без особого труда разгадаете эту загадку, ибо успели к Соснину присмотреться.

Подумаете, наверняка, что главные мысли, пока о них забыли, рассеянно примерялись к словам?

Или – мгновенно опережали увязавшую в сомнениях словесную вязь, уносились далеко-далеко, к влекущим пустотой страницам, увлекая за собой новые неожиданные соображения, а Соснин, наскоро удовлетворяя проблесками смысла позыв за позывом, ленился выкрикивать

вдогонку запоздалые фразы, отчего текст получался с нелепыми пробелами, будто целые куски его были вымараны пьяным редактором?

Или – едва начав оформляться, но так и не найдя для продолжения нужных слов, – главные мысли растерянно обрывались, уступали дорогу побочным соображениям, сами же, как отцепленные вагоны, по инерции катились по запасной колее в тупик, где и отстаивались до поры до времени, надеясь на маневровый толчок и перевод стрелки, которые вдруг да позволят то одной, то другой опять возглавить повествование?

Да, именно так бывало.

Соберём-ка наши находки-наблюдения и, заскользив дальше по поверхности текста, продолжая накапливать новые чёрточки Соснина и его стиля, попытаемся нащупывать выпуклые элементы самой стилистики.

давно пора, но не пора ли также свыкнуться с тем, что не всё (нам с вами) даётся сразу?

Считается, что идея, образ – первичны, а художественные приёмы, созидающие образность, которая заряжена идеями, как и подобает служебным средствам выражения, появляются во вторую очередь.

Увы, у Соснина чаще получалось наоборот.

Чаще его поражала какая-нибудь невнятица, мелочь – пение за стеной, узор на женском платье, мало ли что... мог ненароком наткнуться и на слово, словечко, конструкцию фразы, чем-то зацепившие, но ни с чем важным и конкретным для него не связанные, а потом мучительно изобретать или ловить носящиеся в воздухе идеи и образы, которые смогли бы к ним приноровиться.

И самое удивительное было в том, что, вдохновляясь случайными пустяками, он изобретал или отлавливал удобные ему идеи и образы, просто не мог их упустить – такой вот был дар, недаром проницательный Душский ещё в незапамятные времена, ещё не удостоившись титула «Заслуженного деятеля науки», назвал своего будущего пациента «ребёнком наоборот». И хотя с общепринятой точки зрения вовсе это не дар, а беда, не хочется, чтобы отравленные расхожим мнением, как наветом, записали бы Соснина в формалисты, а то ещё, чего доброго, бросили в него камнем. Если и не пришлось по вкусу или быстро приелось вываренное в собственном соку сознание, хорошо бы, пусть и поморщившись, дожевать – именно мелочи, пустяки, извлечённые невзначай из искусственных, случайных помех, не только саботировали последовательное движение пера к цели, заключительной точке, но и ускоренно порождали главные мысли, из которых пусть досадно медленно и затруднённо, но всё-таки ткалась основа высказывания, не только – хуже ли, лучше – подбирали слова, строили фразы, но и управляли ими: перегруппировывали, переводили стрелки... да-да, сбиваясь с пути, затевая уводящие в сторону вылазки или даже пускаясь в обгоны слов, главные, обязательные мысли, оказывается, если не запомнили, терпеливо дожидались, пока их судьбой распорядятся мысли второстепенные, сугубо необязательные, привязанные к тем самым пустякам, мелочам. А ещё ведь забытые и полузабытые мысли неожиданно настигали убегающий текст, им требовалось подыскать поскорее абзац, строку, ибо они норовили с притворным усердием закольцовываться или самовольно заполнять пробелы в тексте. Вот и судите после этого – разлад провоцировался между главным и второстепенным или дальновидный союз, кто и что верховодили, развёртывая текст, кто и что подчинялись.

И выходило, что, сбиваясь вбок, двигаясь по касательной к смыслу и – хоть в ущерб стилю, но повторим для закругления – походя задевая случайные темы, чуть ли не намеренно затрудняя себе поиск формы высказывания, а то и умерщвляя саму форму нарочитой сум-

бурностью или псевдоанализмом, Соснин уподоблялся зайке, который хоть и знает что он хочет сказать, физически не может этого сказать сразу и, покачиваясь, краснея от натуги, многократно выдыхает вместо слова первую букву или же какие-то свистящие звуки; помимо поучительных литературных образов зайк перед писакой нашим, конечно, выросла водевильная фигура Фаддеевского... Однако, стилистически разыгрывая и форсируя творческое заикание, Соснин преследовал также интуитивно скрытую цель: от мучительно-долгого вынашивания предмет высказывания делался вожделенным, символическим, и – самое удивительное! – серятину худосочных умствований пронзало вдруг неподдельное чувство, форма оживала. Опережавшие главное, необходимое – сам неопределённый предмет высказывания – будто бы необязательные раздумья незаметной искрой поджигали свитый случайностями бикфордов шнур и оглушённый, ослеплённый вспышкой импровизации, опьянённый мнимым перемирием между логическими противоречиями, развязавшим ему язык и руки, он плыл, плыл по уносящему в искусство течению полусна-полуяви и напряжение спадало – наступала тишина, беззвучно мельтешил тёмными кружевами сад, и хотя так и подмывало ущипнуть себя, чтобы очнуться и перекроить сочинённое острым взглядом, боялся пошевелиться, вмешаться в чудо созревания композиции, непреднамеренность коей он ценил больше, чем стройность мыслей, хотя, само собою, придя в себя, досадовал, что сознанию, как и сердцу, не прикажешь держаться творческой дисциплины.

ещё не легче

Трудновато для понимания, не правда ли?

Порою казалось, что Соснин ловил смысл сетью оговорок и недомолвок, а тот уходил из неё, как вода.

Но в сравнении смысла с водой, чаще всего язвительном, не было бы здесь и капли издёвки, а был бы лишь намёк на текучесть.

Брёл ли Соснин дворами своего детства, разгадывал ли живописное полотно, скрещивал настоящее с прошлым и будущим, а пережитое – с художественными переживаниями, ничем не связанные между собой вещи наперебой рассказывали ему о себе, друг о друге, о времени, вдруг на его глазах искажившем картину мира. Но какими же расплывчатыми получались фрагменты этой картины, когда он вспоминал о них! – сталкивался с давно знакомыми вещами, будто впервые... всё твёрдое, жёсткое размягчалось, растворялось или – возгонялось в нечто газообразное. Менялись сами вещи, или только в памяти они, обретая пластичность, лишались привычной определённости? Он ведь сам, как водится, подспудно менялся по мере развёртывания сюжета, так изменился-преобразился под напором событий всего-то одного дня, так резко обновил видение в тот ошарашивший день, что... Полно, прислушиваясь к себе-другому, способен ли он был расслышать ещё какие-то невнятные голоса вещей?! Удивлённо вглядываясь в себя, мог ли вчитаться в потоки сигналов, которыми, надеясь на участие, они привлекали его внимание? Допустим, слышал, видел не только себя. И готовился, называя изменившиеся вещи своими словами, запечатлевать услышанное, увиденное.

Чтобы понять – надо создать, – повторял он, как «отче наш», догадываясь, однако, что процессы понимания и создания тоже закольцованы. Ну да, разве понять-назвать – это не значит создать, поскольку безымянных вещей вообще для нас не существует? Каждый же, кто замахивается создавать, даже оставаясь на платформе общего понимания, всё равно создаёт по-своему и если звучащие, видимые, попросту говоря, непосредственно ощущаемые в быту вещи имеют чёткие и достаточно определённые для всех границы использования, то будучи индивидуально названными, они тотчас же втягиваются в окоlesiцу межпонятийных контактов и по мере их, контактов, активизации обрастают зыбкими наслоениями сим-

волики. Вот-вот, не столько вещи, сколько смыслы поплыли. Это, собственно, и позволяло понимать любую вещь переносно, насыщать её разными значениями, включать в сложное, вспыхивающее смысловыми неожиданностями взаимодействие с прочими вещами, названными прежде, уже освоенными.

Что же кладёт предел стихии символизации?

И есть ли такой предел?

Стоило допустить хотя бы гипотетически, что вещи раз и навсегда названы, за ними принудительно закреплены понятийно-чёткие границы, как ему делалось худо: он физически страдал от прямых подходов, на которых возводят в дежурный идеал пользы какую-нибудь позитивистскую чушь, разоружают мысль, добиваясь узких целей единообразия, исправно служащего синонимом упорядоченности. Ну, а мрачное торжество посредственностей, тупо воздвигавших тощую ниву монокультуры, разве не означало вырождение творческих потенций сознания, превращение его в рутинный механизм инвентаризации мира?

Вот так мнительность!

Сам себя до смерти испугал, не на шутку переволновался и возбудился.

Спокойнее, ещё... ещё спокойнее.

Зажмурился от яркого солнца, нашедшего подвижную брешь в листе.

Вдаль поплыли яркие радужные круги.

дух против буквы (приближение к больной теме)

Мог ли Соснин не опасаться потерять в ясных чётких суждениях вместе с оттенками и основные цвета?

Он давненько подозревал, что обольщение точностью, правдивостью и тому подобными фетишами реализма платит доверчивым бескорыстным вещам, достойным образного воссоздания, предательским упрощением... недаром они, многомерные вещи, не узнавая себя в копиях-истуканах, обиженно тускнеют и замолкают.

С первых и робких акварельных опытов в рисовальном кружке мучился собственной бесталанностью, усугублённой, как он понимал, вопиющей технической беспомощностью.

Или уже тогда столкнулся с неразрешимым противоречием?

Представим, что кто-то – взволнованный, возбуждённый натурой – стараясь точно запечатлеть то, что видит, пишет акварелью густо-лиловые ирисы с выплеснувшимися из жерла каждого цветка двумя-тремя центральными пепельно-чёрными пятнистыми лепестками, будто бы вырезанными из рыхлого бархата, которые кокетливо выгибались, чтобы похвастать пушистыми, с проседью, гребешками.

Пишет, не унимая дрожь.

А краски сохнут, блекнут через минуту-другую, и неумолимо вянут цветы; их-то материальное увядание написать можно...

Но куда деваются волнение, возбуждение?

Как их увидеть, с чем сравнить и как написать?

Между прочим, Соснин вновь всерьёз задумался над этим совсем недавно, когда после обрушения дома он, неожиданно вызванный на заседание комиссии по расследованию, вышагивал к филозовской приёмной, по стенам коридора как раз развешивали летние живописные работы сотрудников, тогда же он усмехнулся, соскользнув взглядом с увядших ирисов, – вот она, зримая текучесть, редкостное совпадение формы и содержания – живописцы предпочитали писать ненастье и подражали Бочарникову, писали по-мокрому. А получалось совсем не так, как у Бочарникова! Потускневшая текучесть?

Ронял голову на руки... шумел на ветру сад, вскрикивали вороны.

И чувствовал он, что вряд ли существовала принципиальная разница между тускнеющими красками и тускнеющими, едва сложится фраза, словами. Не потому ли и соблазнился текучестью смысла, его готовностью заполнить причудливый сосуд прозы, когда тот отформуется на кругах стиля?

И то правда.

Соснин, посмотревшись в детстве импрессионистов, и сам смотрел с тех пор на природу сквозь вуаль настроения, охотно замещал материальные явления-вещи их расплывчатыми, снующими в сознании отражениями, а сами отражения – отражениями отражений... да, даже театр как-то спроектировал в виде яйцевидного зеркала. И как всё это изволите называть? Как не называй, наш мир, – твердил, – призрачен, и не только вожденный смысл жизни неуловимо текуч, но и язык, которым мы живы, журчит, поблескивает текучим зеркалом, преломляя и искривляя мир человеческими пристрастиями. К тому же мыслительные и языковые структуры странным образом конкурируют. Если мышление – оно заведомо полнее, быстрее – жёстко не зависит от логических операций причинности, то язык, хотя и основывается на такой зависимости, тем не менее пытается отражать мысль во всеобъемлющей полноте, что и заставляет его клониться в сторону алогичности.

А ведь отразить и выразить чувство ещё сложнее, чем мысль; эмоциональный эквивалент мысли требует не тех, совсем не тех слов, что сама мысль.

Самопроизвольное отключение логики, примета художественного языка?

**всё о том же, хотя и слегка иначе, с привлечением
к нашим с Сосниным суждениям-рассуждениям
простенькой оппозиции внешнее – внутреннее
или, если угодно, поверхностное – глубинное**

Снова откинулся на спинку скамейки – двусмысленное, противоречивое нельзя определить просто, ясно, нельзя, выражая чувство, впечатление, довольствоваться наглядным ореолом отличающей любительскую мазню расплывчатости: поиск красоты, подменённый поиском украшенной простоты, тащит в ловушку самообмана... кажется, поняли, ухватили, сейчас передадим, а суть в этот-то момент и ускользает с беззвучным смехом.

Не то. Не та расплывчатость, не та текучесть?

Ещё поискать?

Да и был ли резон бросать поиск образной – не-наглядной? – текучести, если суть любого прочного и твёрдого тела, будь оно прочнее и твёрже алмаза, все равно размывает в конце концов познавательный конфликт внешнего с внутренним.

Вдуматься только! – чувства ли наши, мысли, пусть самые глубокие и возвышенные, рождаются и умерщвляются не внутренней темнотой вещей, а их лучающимися, подчас сияющими, но затемняющими якобы спрятанную где-то в глубине тайну поверхностями – Соснин сообразил это случайно, дома, когда по заданию Филозова готовил дурацкую справку – не больше, не меньше, как справку о сути красоты, её законах! – к выездному заседанию комиссии по расследованию; в проёме балконной двери проплывали, взблескивая, розовые, сиреневые, голубоватые мыльные пузыри, их выдували девочки на верхнем балконе, самые впечатляющие экземпляры провозжались в небесный путь смехом, хлопками в ладоши, радостными повизгиваниями.

Совершенство и пустота?

А где же сущее, где спрятана та самая тайна?

Все жизненные дороги петляют среди хаотически громоздящихся скорлуп и оболочек, а уж за ними, за скорлупами и оболочками, в глубине...

Себя ли познавая, мир, планомерно захлёстывающий стихией абсурда, мы тужимся прочесть написанное на задраенных дверцах: ведь прямо-таки нигде, кроме как на скромных – пусть лубочно, или ещё как изукрашенных – поверхностях, даже и сорвав шоры привычки, даже изловчившись вывернуть какую-нибудь вещь наизнанку или расколоть её, как орех – и увидеть под обличьем ядра новую скорлупу – не прочесть о ней, той самой вещи, ничего новенького. Но, почему-то стесняясь в этом признаться, обманывая себя и тех, кто идёт за нами, мы с наивной горячностью возвышаем некую спрятанную от глаз глубину-реальность, якобы хранящую истину во всей её полноте, над заведомо низкой видимостью, пока на неожиданном витке понимания – ну и въелась же в кожу спиральная идеология! – не остудит вдруг, что спрятанная реальность – фикция, что любые проникновенные суждения о жизни отталкиваются от узоров на пошловатых её обёртках, так как постижение внутреннего всегда и везде выливается в истолкование внешнего. Да и как иначе? И что в лимузине нашёптывал сухой старик в нобелевском фраке, почти касаясь уха Соснина жёсткими, как щётка, стриженными усами? Привалился слева, когда сворачивали с Поцелуева моста на Мойку, и шептал, шептал еле слышно, чтобы не удостоиться насмешки высокомерного господина в вишнёвой шёлковой пижаме, восседавшего с демонстративным равнодушием справа от Соснина. – И сама-то красота, – шептал старик-нобелевец, – хотя мы молимся на неё, понятийной этимологией своей противостоит глубине, поскольку красота изначально предполагает видимость, а глубина – скрытость.

врезка

– Светло... – неожиданно, словно в пустоту, произнёс, глядя на тёмную красно-кирпичную стену с аркой, пробитой в небо, высокомерный породистый господин справа, тот, что в пижаме, – светло... но вспыхнет закат над Новой Голландией – кровавый дымный закат, подобный тем, что так поразили Блока.

заминка

Ну и что с того?

Что с того, что вспыхнет закат?

Соснин поднял голову. Чёрные железные трубы котельных протыкали облака. Носились ласточки.

Загудел, отчаливая, буксир.

как ещё вразумить? (пока смятение сменялось рассеянностью)

Заслонив глаза ладонью, коротконогий мессия сделал несколько шагов навстречу солнцу, взять хотел в руки? Странно всё это.

Опять смысл не в фокусе, плывёт и плывёт?

Или, может быть, опять трудно?

Да уж, легче-лёгкого выставлять антитезы, спаренными колоннами поддерживающие мироздание, хотя жить, писать, прорываясь сквозь многословную немоту криком души, только тогда удаётся, когда о них забываешь. Но кто же сумеет жить, писать, как ни в чём не бывало, если мироздание ходуном ходит, трещит, будто бы вот-вот рухнет? Как тут

не кинуться его подпирать из последних силёнок новыми антитезами, боясь проснуться в одно прекрасное утро в культурных руинах?

Замкнутый круг, да и только.

Но ведь и вселенская разомкнутость, врасплох захватившая дух простором, открытым чистому разуму, ничуть не лучше, может, и хуже. Не от неё ли человечество, падкое на абстрактные посулы, сорвалось в идейный штопор, хотя уверовало в подъём, в достижение через виток-другой благодати? А тем временем расширяется трещина между притязаниями здравого смысла и магической в её круговой цельности сутью жизни.

Теперь-то, надеюсь, уразумели куда опять клонится наш разговор?

Наткнувшись на серьёзное препятствие – поди разгадай тайну красоты, например, – познание хочешь-не-хочешь обращается к самопознанию. А обратившись, сменяет оптику и, конечно же, отмечает свежим, как промытая и протёртая линза, оком... снова полетели мыльные пузыри, приблизился пузырь-глаз, его собственный глаз с колючим зрачком. Да, тогда ещё не знал, что назавтра...

Знобящий порыв ветра выдул из памяти, растворил в листве легчайшую стаю зашлифованных цветистых шаров.

**сосредоточимся, (не в пример рассеянному Соснину),
попробуем всё-таки, если не увязать, то хотя бы вновь**

**свести вместе, вспомнив об органике стиля, разрозненные
(словно нарочно разбежались) моделирующие фантазии**

Да-да, наткнувшись на препятствие, обратившись к самопознанию, Соснин меняет оптику и тотчас же отмечает свежим, как промытая с мылом, насухо протёртая линза, оком, что синусоидальная, всхолмлённая окружность отнюдь не исчерпывает модель саморазвития, лишь по подсказке выгнувшей спину кошки заимствует образ у земного ландшафта, отчасти – у популярного некогда аттракциона «американские горы». И хотя вне образа, всегда отталкивающего от увиденного и пережитого, отчаянно трудно было бы эту желанную и довольно-таки непростую модель представить, хотя, задумывая что-либо многоплановое и ощущая при этом явную нехватку интеллектуальных средств, мы неизбежно к образу возвращаемся, всё же стоило продвинуться дальше; выхватывая внутренним взором из таинственной тьмы сознания ту ли, эту смысловую грань искомого целого и – признаем, справедливости ради – придавая возникающим из ничего, последовательно усложняющимся формам свойства вовсе не чуждой Соснину механистичности, можно было бы кое-как осветить пространственную абракадабру, которой бы позавидовали даже фантазёры из «Арчигрема», и получить впечатляющее одних, подавляющее других нагромождение разнокалиберных круговых дисков и обручей, насаженных на волевой стержень.

Забывал даже, увлекаясь, о хитроумной строгости ленты мёбиуса.

Диски, обручи вращались синхронно и вразнобой, крутились, превосходя вращательной суетой все луна-парки сразу, потом внезапно замирали, разбрасывая во все стороны поработанные центробежной инерцией мысли, а неугомонный взор, прикинувшись летучим, вполне натуральным объёмным глазом, придирчиво ощупывал внешне хаотичную, но внутренне цельную и организованную конструкцию, прыгал по ступенькам вращающихся или замерших дисков упругим, полным счастливого неведения детским мячиком, или... мыльным пузырьком, или надутым меланхолией, голубым, розовато-сентиментальным, послушным ветерку, кото-

рый его то вверх, то вниз, воздушным шариком, или, если сделать реверанс точному знанию, вкусившему относительность, – соскальзывающим с уровня на уровень боровским электроном.

Однако же, пока мы, сосредотачиваясь, не увлеклись до беспамятства, не углубились в дебри, трудно было бы не признать, что самодеятельное моделирование всегда субъективно и потому оно, внятное и поучительное для самого субъекта, вряд ли вразумительно и поучительно для всех прочих, рвущихся, не медля, поставить любую мыслительную, даже и образную конструкцию на объективное основание. И тут-то самое время повернуться от смутного замысла сверхсложной модели, требующего напрочь помимо обычного ещё и пространственное воображение, к сравнительно простым, во всяком случае, общеизвестным образным элементам этого так до сих пор и не скомпонованного, сугубо индивидуального целого, чтобы напомнить в который раз для пушей понятности про гончарный круг, про сценические или ещё какие-либо круги куда большего радиуса и – чем чёрт не шутит – вселенского назначения; можно кивнуть хотя бы на заведённое движение нашей обжитой планеты, которая – пусть не по кругу, пусть по эллипсу – неторопливо обходит солнце и при этом до незаметности быстро-быстро вертится чуть приплюснутой с севера и юга шарообразной юлой вокруг своей собственной земной оси. Только и ссылка-то на авторитет небесной механики уже вряд ли поможет тем, кто всё ещё упирается согласиться, что символика круга, вращательные – то центробежные, то центростремительные – импульсы мыслей, чувств и творческая подоплёка, как импульсов, так и символики, не досужее авторское изобретение, а глубоко органичная суть личности Соснина и, следовательно, – его стиля.

переведём дух

Не сочтите, однако, что и сыр-бор с попыткой сосредоточиться, объясниться затеян был понапрасну и понапрасну же, нагоняя муть, тянется.

И не в том дело, что минуло время, когда телеграфный ли, рубленый или какой другой из кичившихся лаконизмом стилей проглатывали вместе со словами язык. Да и не в том здесь дело – хотя это и принципиально – что художник не столько инсценировщик жизни, сколько истолкователь культуры, а культура нашего с вами времени вопреки очевидной её визуализации остаётся многословной, её не укоротишь. Но пока мы не будем дотягиваться до высоких материй – впереди для этого у нас найдётся много куда более подходящих поводов – пока лишь припомним, что продолжительность фазы самопознания уже сама по себе оценивает высоту преград, понуждающих познающего отступить, подкопить внутренних сил, ну а, попросту говоря, пока не вредно было бы обжечься предположением, что досаждающие-замедляющие подробности, текучие, но и засыхающие тут и там рассуждения-отступления хоть каким-то боком заденут дальше что-то немаловажное, что абсолютный листаж ещё не плюс и не минус прологу ли, эпилогу, так как существенна лишь соразмерность их всему тексту, а вдруг текст так ещё разрастётся, так разветвится, что и сам-то пролог с эпилогом, по первому впечатлению весьма и весьма пространные, покажутся сжатыми, краткими? Ну а коли согласны, что ускорять повествование вовсе не обязательно, то и не ловите на слове: дескать, спешить-то некуда, а Соснин поспешил почему-то успокоиться на глобальной, но неустранимо-противоречивой модели саморазвития. Не будем корить его в беспринципности и усыпляющей внимание обстоятельности. Просто-напросто он, прибегнув к отвлекающему манёвру, при кажущейся рассеянности ушёл в себя, чтобы уточнить свои собственные творческие задачи; поэтому-то и не успокоился он, лишь переменял предмет беспокойства – покой ему и снился.

это и в самом деле серьёзно

Взять хотя бы звуки, ещё не переплавленные в картины.

Симфонию, как известно, можно расчленить на музыкальные темы, записать каждую из тем на нотной бумаге, а потом, комбинируя в соответствии с замыслом, собирать вместе не только благодаря последовательному развёртыванию во времени, но и благодаря одновременному исполнению их разными инструментами, образующими оркестр.

Это – двойная полифония, которая будто бы теряется красками, ибо в картине, целиком охватываемой взглядом, синхронно сосуществуют все её компоненты.

Однако потери живописи обманчивы; склеившиеся с холстом цвета, контуры, объёмы именно своей поэтически сконцентрированной, предельной свёрнутостью подсказывают ищущему глазу способы их тайного развёртывания – выходы за раму, выбросы изображения из картинной плоскости в персональное пространство зрителя или в далёкие иллюзорные перспективы, блуждание фокусов композиционного напряжения – сколько Соснин простоял перед «Срыванием одежд», сколько увидел! – в свою очередь означают, что внутренняя динамика красок, контуров и объёмов, раскрепощается развёрнутостью во времени самого восприятия.

И всё же всем-всем давно известно, что, присматриваясь к живописи, прислушиваясь к музыке, играющей контрапунктами, литература при сколь угодно изошрённом письме реализует любые заимствования из других искусств в последовательном, скорее близком музыкально-исполнительскому, чем живописно-станковому развёртыванию текста: в каждый момент времени, в каждом своём отрезке текст ведь состоит из обычных слов, необычность которых проявляется и возрастает при расширении контекста, а сам текст достигает полноты и зримой мощи только по окончании произведения. И хотя Соснин, даром, что сын пианистки, не имея музыкального слуха, не умея даже сыграть одним пальцем чижики-пыжика, всё это вместе со всеми средне образованными людьми давным-давно знал, хотя Соснина донимали разные темы, ситуации, портреты, которые нельзя было написать одновременно, но приходилось писать поочерёдно и торопливо, лишь бы не упустить, так как наваливались новые темы, ситуации и портреты, хотя его не сразу осенило, к примеру, что и дробность литературных смыслов-картинок можно ассоциативно уподобить пуантилистски-измельчённым мазкам, а смешение красок, дающее сложный полифонический колорит, – смешению звуков, он всё же с самого начала письма взялся с присущим ему упрямством всё делать наоборот и развёртывал роман не по шаблонам звуковых рядов, а как бы разглядывая картину, собранную из множества картин и охватывающую тематически весь роман, – сколько мук, сколько озарений в таком разглядывании! – при этом разглядывании он добивался двойной полифонии текста, в каждый момент повествования, в каждом своём отрезке обгоняющего естественно формирующийся контекст другим контекстом – опережающим.

Поэтому-то, забегая вперёд дальше и дальше, Соснин кружил по цветочной поляне замысла, собирал букет рефренов, надеясь потом, когда опережающий контекст растворит анонс событий в прелюдии настроений, довериться, наконец, композиции, выверяющей ширину и глубину романских пространств.

несколько авторских штришков к портрету-биографии Соснина, предваряющих его объёмный, хотя и эфемерный (против природы не попрешь) образ

Соснин обдумывает, что писать, как.

Вот именно – не о чём, а что! И, само собой, – как!

А мы приглядываемся к нему, не боясь – в духе времени – подменять картины душевного разлада условно-внешними схемами порядка, такими безжизненными, такими сухими. И тут же, намереваясь повнимательней ему посмотреть в глаза, обращаем внимание на плохую его осанку. И уже следим за прыжками мысли, досадуем на неподдающийся описанию скрежет поворотных кругов. И хотя характер литературного персонажа по канонам упругой прозы пристало раскрывать в действии, не обессудьте: в поле нашего зрения – напомним – попал внешне бездействующий объект.

Чем он нам может быть интересен?

Прежде всего – своими отличиями от других.

Отличиями? О, головы всех сочинителей, включая самых достойных, тех даже, кто замыслил нечто эпохальное, посещает разнородная ерунда, о чём, впрочем, сами сочинители, если они, конечно, истинные профессионалы пера, дабы не засорять-затруднять сюжет, с боязливым благоразумием предпочитают умалчивать, выбрасывая на осаждаемые читателями прилавки лишь очищенные от всего необязательного готовенькие шедевры. Но ерунда-то ерунде рознь. Ерунда, донимавшая Соснина, во всяком случае, могла бы послужить объяснению специфических именно для него позывов. Ох, непросто всё это объяснить – истоки задатков, устремлений и настроений прятались само-собой в непроглядной темени минувшего, где замышлялась его натура, и не было бы ничего нелепее попыток исчерпывающего уяснения тех истоков с задатками; и, тем не менее... душевно-умственной эволюции Соснина, покровительствовал, несомненно, бесплотный иудейский бог, терпеливо пестовавший племя фанатиков абстрактных идей, вернее – фанатиков, одержимых поисками спасительных абстрактных идей, живших в тревогах нескончаемого их, идей, становления. Правда, и тут не всё получалось складно; как подтрунивал Шанский, великие идеи, сверкая и посвистывая, точно трассирующие пули в ночи, проносились мимо головы Соснина, чтобы поразить более достойные цели. Смешно. Как бы то ни было, однако, он, безыдейный, но склонный к абстрактным умствованиям, обрёл вполне материалистическую профессию, которая в наше время лишилась почти всего, чем всегда была, ничего не получила взамен, хотя почему-то сохранила ореол избранности, наделяющий – в глазах многих – даже бесталанного обладателя архитектурного диплома трудно объяснимыми значительностью и благородством, ну а собственный взор профессии, если таковой существует, когда она, профессия, ныне утилитарно-созидательная и униженная, вздыхая, глядится в цеховое зеркало, нет-нет да туманит умиление славным прошлым. И – нельзя не признать, что двойственная, между искусством и техникой, между гуманитарным и естественнонаучным знанием, профессия шла Соснину. Отдадим должное шестому – честолюбиво-материнскому? – чувству Маргариты Эммануиловны, избравшей её для сына, едва родился, возможно, и тогда ещё, когда требовательно заворочался в утробе: чем-то архитектурная стезя, безусловно, отвечала складу его характера, манере поведения, если хотите, внешности. Что же до тяги к чистым пластическим искусствам и живописи, потом и к стихии слова, то не помешало бы сразу предупредить, что архитектор, в какое бы смежное искусство не потянулся, остаётся заложником формы, не только вечности – его стиль непременно перекошен сугубо формальным поиском.

В МИНУТЫ ЗАНОСЧИВОСТИ

Не «о чём», а «что»! – разве написать жизнь, всю непостижимо-сложную жизнь, и внутреннюю, и внешнюю, необозримую, охватывающую со всех сторон и, в свою очередь, охваченную фантастически-хватким взглядом, не значит написать мироздание? И разве поэтому всю

жизнь, когда пишешь её, всю-всю, взятую целиком, не резонно уподобить пространственному объекту? И время ведь тоже течёт в пространстве...

в двух словах о проектировании мироздания

Можно ли объять необъятное?

Можно, можно, – глупо улыбаясь, твердил Соснин.

Он ведь был внушаем при всём упрямстве своём, из пёстрых речений Тирца, Бухтина, Шанского и прочих умников машинально вылавливал главное для себя и многократно уже уподоблял воображаемый свой роман то Собору непостижимой сложности, то Вавилонской башне, то великому городу. Вот и слово «мироздание» Соснин склонен был понимать буквально и, находясь внутри мироздания, пытался представить непредставимый материально-духовный объект снаружи, хотя бы фрагментарно, хотя бы в каком-то индивидуальном условном ракурсе... и в силу профессиональной ограниченности подбирал параметры невидимых каркасов, пусть и подвижные параметры, переменные, намечал многоуровневую структуру с парящими лестницами, воздушными коридорами, анфиладами, и – благо отключалась логика, никакие правила не связывали – свободно мог компоновать слова и изображения, каменное и эфемерное, мог даже складывать и перемножать тонны и километры. И тут уже глупая вдохновенная улыбка сменялась улыбкой вполне осмысленной, он понимал нелепость изначальных трёхмерных поползновений, понимал, что у мироздания вообще нет ширины, длины, высоты, у него нет веса, оно равнодушно к любым нагрузкам, а если и есть у мироздания общая композиция, сколь величавая, столь и неопределённая, то композицию эту формируют лишь бессчётные взгляды и душевные порывы.

констатация

И – по боку цельные желанные образы мироздания, образы сложенных из слов Собора, Вавилонской башни, города...

Мир ещё не сложился.

и ещё мысли впрок

Относительно пространственной стадии письма у Соснина зрели прелюбопытные соображения, так как организует пространство архитектура, которая, будучи его профессией, скачивалась к бюрократической заземлённости, но, оставаясь мечтой, воспринималась им поэтически – как окаменевшая аура жизни, как окаменевшее время... да, он вслед за Ильёй Марковичем и итальянским спутником его, Тирцем, взмывал над абстрактной шеллинговой метафорой, мысленным взором его овладевали образные структуры Рима ли, Петербурга, и он часами готов был бы с закрытыми глазами просиживать на своей скамье, хотя сейчас, с тетрадкой на коленях, он несколько огрублял воздействие на письмо воплощающей дух материи, ждал чуть ли не формальных подсказок от того ли, этого городского образа, однако озирался всякий раз не оторванную от быта крупномасштабную полукульптуру, исчерпываемую в созерцании, а культурно-средовую реальность, пластически выражавшую вечный животворный конфликт функции и символики, неподдельности которого тайно завидуют другие искусства, включая литературу.

Пространственные томления выливались в мечты о новом подходе к организации повествования.

Организации, прежде всего, языком композиции, языком её образного давления, способным навязывать или, помягче скажем, внушать зрителю ли, читателю выношенные автором идеи и впечатления.

Между тем, мечты-мечтами, а желания приступить к пространственной компоновке текста – возможно оттого, что не было ещё никакого текста – он пока что не ощущал.

Записал только на полях: архитектура как эзотерическая игра – и, продолжая терпеливо накапливать опережающий контекст, метил в конец по сути ещё не начатого романа.

что происходило при накоплении контекста, как выглядел и что испытывал Соснин, очутившись в последней точке своего воображаемого романа

Загадки, ловушки, намёки опережающего контекста накапливались, по сути, превращая всю эту вступительно-заключительную часть текста в досадную, утомительно-растянутую загадку... из будущего, из не написанного ещё романа, из последней точки его, в аморфные, необжитые пространства замысла беспорядочно летели, угрожая разmozжить голову Соснина, предметы, каждому из которых предстояло подыскать место, летели клочки событий, впечатлений, разговоров, которые предстояло склеивать, летели горбатые и прямые носы, мокрые и сухие губы, румяные щёки, бледные лбы – заготовки для лиц героев, вот породистый нос Валерки Бухтина, вот язык Тольки Шанского, длинный-предлинный, вот взмахивает ручищей, возражая Шанскому, Антошка, могучий и громкоголосый Антошка Бызов; а вот пролетел тяжёлый альбом с проектными откровениями авангардиста-Гаккеля, вот дрожащий от волнения классицист-Гуркин путешествует на лету указкой по спроецированной на мятый белый экранчик старой карте Флоренции... совсем уж неожиданно пролетела inferнальная Жанна Михеевна, подкрашенная, с подсинёнными веками, в чёрном вечернем платье, на ящике с полусладким шампанским. И летели, невообразимо смешиваясь, звуки, буквы... имена героев, черты их лиц, подвижные контуры фигур, разрозненные слова, частички их пока что бессвязной речи, ей следовало обрести элементарную строгость, и много ещё разнородной засоряющей ерунды летело, благо замысел жаден и терпим, ничего с порога не отвергает, ну а само будущее, то самое будущее, которое Соснина с головой накрыло, воспринималось теперь, при попытке писать, как порыв встречного, сбивающего с ног ветра... он падал и упрямо поднимался, потирая ушибы, контекст накапливался, а он... один бог мог видеть то, что творилось с ним!

Противно заскрипели ворота, нервно дёрнулся – хоть бы смазали петли...

Находясь внутри замысла, внутри зыбкой, не сложившейся композиционной структуры, чувствовал, что выброшен из неё вовне, на край её, неопределимую оконечность, и уже стоит на последней точке, вглядывается в обратную перспективу текста, где всё то, что только что беспорядочно летело навстречу, волшебным образом собралось и склеилось, и, пожалуйста, на проводах Шанского, отбывающего в Париж, можно познакомить читателей с главными героями ещё не написанного романа. А что? Ведь и в жизни бывает так, что попадаешь вдруг в чужую компанию, поначалу чувствуешь себя неуютно, не понимаешь, кто есть кто, о чём говорят. С удивлением и сам Соснин читает в обратном порядке страницу за страницей, узнаёт лица, голоса, события, преображённые подсветкой искусства, читая пролог с эпилогом, обнаруживает, что уже эпилог завидует прологу, силясь скорее предварять, нежели завершать, а оттуда, из пространств будто бы законченного, отредактированного романа, в эту самую финальную точку, способную вместить фантастически уплотнённую вселенную, врываются

ураганом темы, образы, и он уже вновь едва удерживается на ногах, сюда же коварными огненными шарами несутся то ли молнии, то ли болиды, – поразят цель, так народившаяся вселенная расколется, опять обратится в хаос.

И если бы можно было увидеть Соснина балансирующим в желанной опасной точке, но деликатно не заметить на нём застиранной больничной пижамы, то кое-кому из театралов среднего и старшего поколений припомнился бы, наверняка, коронный номер заезжего мима с печальной меловой маской вместо лица, который, оставаясь в центре алого круга, пластично разводя руки, перебирая босыми ступнями, упрямо шёл навстречу урагану, свободные развевающиеся одежды трепетали языками пламени, и получалось захватывающее зрелище, хотя понятно было, как оно получается – в кулисе жужжал вентилятор, малый в белой нейлоновой рубашке, возившийся с софитами и цветофильтрами на тесном балкончике, бесстрашно задевал алый луч, обагривая локоть или плечо.

Заскрипели, закрываясь, ворота.

Но, может быть, достигнув последней точки своего ненаписанного романа, Соснин выглядел не так уж эффектно?

Пожалуй, и впрямь – как было дело, если попытаться всё же всё по местам расставить? Мысленно шёл против ветра, который дул из будущего, потом, упрямец, достиг последней точки воображаемого романа, оглянулся на него, на свой завершённый, совершенный роман, и тотчас же ветер поменял направление, подул, шелестя страницами, в разгорячённое творческой удачей лицо, подул – из прошлого? Путаная, противоречивая, неубедительная картина, если не вспоминать о круге, примиряющем взгляд вперёд со взглядом назад, замыкающем будущее и прошлое. А мы вспомним вдобавок к кругу пустой причал ожидания и просто-напросто представим Соснина съёжившимся, продрогшим один на один с холодным ветром, которому почему-то не под силу разогнать густой тяжёлый туман.

Допустим, представили... но не возникала ли при этом новая какая-то несурезица? – в ушах свистели бы, смешиваясь, ветры будущего и прошлого, и он бы встречал корабль, не несшийся к нему на всех парах или парусах, а лишь дрейфовавший где-то неподалёку в тревожном штите желаний, и он пытался бы разглядеть тонущие в тумане контуры, хотя в лучшем случае мог увидеть расплывчатое пятно. И он знал бы уже кто должен приплыть, слышал сквозь гул и дрожь машины, стоны снастей, знакомые голоса, как если бы не понимал, что ждёт корабль, который ещё не спустили на воду, что не выбрана даже красotka в блёстках, которая, белозубо залившись смехом, разобьёт о железную махину шампанское, – с надеждой всматривался в муть, ждал, ждал, хотя в наличии был лишь недостроенный стапель и неизвестно было сколько будет у корабля труб и палуб.

уточнение

Впрочем, пора бы привыкнуть к сознательно-бессознательным вывихам ли, вывертам Соснина и никаким внутренне противоречивым, даже нелепым с точки зрения здравого смысла, предположениям на его счёт больше не удивляться.

Отметим лишь, что он и в самом деле ничего бы не сочинил, ни странички, ни строчки, если бы не читал ненаписанный роман повлажневшими глазами. Он, практически здоровый, был безумен, несомненно – безумен! Кто ещё из самых тяжёлых пациентов с пухлыми историями болезней, без обиняков считавших их сумасшедшими, мог видеть ещё ненаписанный текст, видеть и дёргаться от его огрехов, видеть, что какое-то слово мешает ещё не составленной фразе, о, он мог и проснуться ночью, в пропахшей мочой и потом палате, чтобы вычеркнуть отсутствовавший абзац. Так он, спросите, не только читал от конца к началу? И от начала к концу, ответим, и от конца к началу, и пустые страницы умел, как никто из больных, читать.

Однако речь не о самом медицинском феномене, не об опасных – или спасительных, если всё же поверить утешителю-Душскому – для психического здоровья вывихах, вывертах. Где бы автор, точнее, автор, прикинувшийся персонажем, не находился – внутри ли komponуемой вещи, снаружи, перебегая глазами туда-сюда по пустым страницам, он в любой из своих сомнительных позиций, в любом проявлении своего безумия знал наперёд то, чего ещё не могли знать будущие читатели. Но не спешите завидовать – ему, столько всего узнавшему, не хватало какой-то особенной проницательности. И он всматривался в поверхностно и торопливо исписанные, густо набранные или пустые пока страницы с жадной критичностью из последней, пусть и условно помеченной на окружности, но последней точки, из этого символа исчерпывающей полноты авторских знаний. Всматриваясь вперёд ли, назад, в туманности романских пространств, он при каждом повороте туловища, головы чудесным образом пополнял свои знания, достраивал и перестраивал текст, коего ещё, по правде говоря, не было; он, отдавшийся магии предвосхищения, был тих, замкнут и – как не повторить? – по крайней мере, со стороны мог бы показаться умиротворённым.

И поэтому он, скорее всего, не стыл на ураганном ветру, встречая корабль-призрак, не корчился грациозно в зажигательном пантомимическом шоу, чтобы сорвать овацию.

Скорее он мог бы напомнить работающего заботливого садовника, который умиляется зелёному фурункулу завязи, загадывая в нём спелый плод.

вернулся к началу

В кульке были отменные абрикосы.

Бездумно выбирая бархатистую румяную жертву, Соснин в который раз спрашивал себя: отчего же взвихрились мысли, воспламенились чувства?

Да, дом упал, событие породило слухи... потом столько всего повалилось и навалилось, столько всего увидел, затянуло в воронку...

Но почему это смогло случиться? И для чего?

приступая к сухому изложению фактов и обстоятельств

Чего-чего, а фактов, способных пролить свет на вопиющие обстоятельства случившегося, в распоряжении взбешённого и испуганного городского начальства, которое хотело показательно покарать виновных и само же боялось верховной, кремлёвской кары, собралось уже предостаточно.

Сперва факты копила, дотошно анализировала и систематизировала комиссия по расследованию, многими, если не всеми успехами, обязанная энергии и цепкости своего председателя. Потрудившись и на страх, и на совесть, комиссия выпустила для служебного пользования переплетённый в коричневый коленкор, свежпахнувший столярным клеем трёхтомный отчёт, его, будто фото безвременно ушедшего во цвете лет составителя, открывала обведённая тушевой рамкой эффектная перспектива погибшей башни, и всякий, кто имел бы допуск и знал толк в подобных делах – хотя, справедливости ради, нельзя не вставить, что дело-то было исключительным, ему даже в отечественной практике не отыскалось аналога – мог бы не без поучительной пользы, пусть и морщась от клеевого душка, покопаться, полистать и подивиться стойкости конструкции, доведённой-таки, вопреки её сопротивлению, до предельного состояния. Чувства законной гордости и удовлетворения у председателя комиссии – не сомневайтесь, Владилен Тимофеевич Филозов заслуженно станет одним из главных героев повествования – а также у отдельных членов комиссии, Фаддеевского, к примеру, вызывали те разделы отчёта,

где в таблицы была сведена аналитическая информация, дышавшая ледяной бесстрастностью математики. Проверочные расчёты, которые выполнила мощная ЭВМ рекордного быстродействия, по специальному партийному указанию отвлечённая на гражданские нужды от межконтинентальной баллистической кривой государственной важности, недвусмысленно доказывали безупречность и, стало быть, непричастность к причинам катастрофы выбранной конструктивной схемы, до последней секунды надёжно сопротивлявшейся полезной нагрузке, кручению и ветровому изгибу, как по отдельности приложения этих опасных сил, так и в сверхопасной их совокупности...

усмешка

И доказывали ясно, строго, оперируя в рамках непостижимой для Соснина математической условности всего двумя цифрами: страницу за страницей заполняли дородные нули, лишь кое-где краплёные единицами, и эта откормленная отара нулей обдавала Соснина, не принадлежавшего к восторженным поклонникам машинных вердиктов, пыльной скукой – нехотя перелистывая отчёт, он, не иначе как из врождённого чувства противоречия, почему-то ждал встречи с захудалой единицей как избавления, хотя нет-нет да мелькала назойливая догадка, что и целая страница единиц не только не выхлопочет ему прощение, что, впрочем, вполне понятно, но и не сможет усугубить наказание.

по-прежнему сухо, хотя и с подспудно закипавшим волнением

Вслед за отчётом комиссии начала быстро расти ещё одна, смежная, гора фактов, которую готовилась представить на рассмотрение суда прокуратура.

Опираясь на техническую подоплёку случившегося, эта гора, так сказать, шла навстречу человеку или, как принято нынче говорить, вводила в и без того щекотливое существо дела человеческий фактор, ибо прокуратура должна была опять-таки объективно, но в отличие от математического языка комиссии, в отшлифованных юриспруденцией выражениях оценить степень виновности будущих подсудимых, подозреваемых в преступной халатности, или же, напротив, снять с кого-нибудь из них подозрения, чтобы на законном основании решать, кого надо действительно взять под стражу. Следствие, копившее и с обвинительным уклоном интерпретировавшее удобные ему факты, бурно продвинулось вперёд, когда на решающем этапе его возглавил специалист по особо важным делам, юрист с международным авторитетом – о, Остап Степанович Стороженко, ещё один герой повествования, много, очень много успел всего за несколько дней, остававшихся до начала показательного процесса, так как привлёк на службу следствию секретные архивные данные, организовал поиск доказательств и сами процедуры дознания с размахом и чёткостью, пустив по следу истины ультрасовременные методы криминалистики; тонкий психолог, он чтит науку. – Человек, – очаровательно улыбался он, – творит чудеса не по наитию, а лишь подводя под творчество научную базу.

у Соснина зачесались руки тут же набросать досье-портрет Стороженко

Начал неторопливо и обстоятельно, даже тяжеловесно: «у Остапа Степановича были редкие русые волосы, аккуратно зачёсанные наверх, а под открытым плоским лбом симметрично располагались правильные, прямо-таки отточенные, но мелкие черты лица, и, так как голова

с учётом среднего роста достигала нормальной величины, между маленькими глазками, прямым, без намёка на горбинку носиком, гибкими влажными губками простирались пустоты, затянутые бледной пористой кожей. Бледность, наверное, объяснялась умственной нагрузкой, которую добровольно взвалил на себя и исправно нёс этот недюженный человек...».

Задумался, мечтательно улыбаясь.

Потом и вовсе едва сдерживал смех, вспоминал перипетии допроса.

какой ценой и с какой-такой целью (заряженной чиновным страхом, чувствами партийного долга, задними мыслями) комиссией и следствием добывались и объяснялись факты

Конечно, конечно, подробнее об Остапе Степановиче – дальше. Но хотя и так вполне ясно, что уж кем-кем, а дельным человеком он, слегка кокетничая, называл себя с полным на то основанием, наверное, не помешает, не откладывая на потом, сразу же коснуться его влияния и хваткой целеустремлённости – какой всё-таки боевитый тандем составили Остап Степанович и Владилен Тимофеевич, какой тандем! – исключительно благодаря бесценным в наше время личным достоинствам Стороженко удалось придать делу отвечающую ему масштабность и объявить всесоюзный розыск шофера такси, случайного свидетеля ночной катастрофы, потом, когда поднялся дым коромыслом, находившегося, как назло, в очередном отпуске.

Обгорелого до волдырей шофера нашли на пляже близ Кобулетти, где он неосторожно баловался коварным весенним солнцем, привезли в сопровождении, тщательно сняли показания про рёв, про промелькнувшую в зеркальце заднего вида подозрительную фотовспышку на одном из ближних балконов. Однако к тому времени компетентные органы с отщепенцем-фотолюбителем уже разобрались, готовились даже выпроводить его на историческую родину. Оставалось поспешно, сломав плановую сетку, поручить головным закрытым лабораториям имитацию реактивными авиационными двигателями рёва катастрофы, и те, стоило включить звуковые тренажёры-имитаторы в обложенных акустической пробкой боксах, преодолевали без усталости один звуковой барьер за другим, а оглушённый таксист парился в специальном шлеме, защищавшем от побочных шумов, которые музыкальной ли трансляцией, пролётом случайного насекомого или сердцебиением лаборантки, приросшей к пульту, могли примешаться к звуковым волнам опыта, поставив под сомнение его чистоту, исказив непосредственность свидетельских показаний.

Вот уж влип в историю наш свидетель!

В конце концов, на долю Соснина выпала всего-то утомительная, пустая и уж точно дурацкая, бурлескно-неправдоподобная беседа с Остапом Степановичем, и только попозже Соснин понял какие были у этого шута горохового длинные руки. А вот шоферу досталось крепко от следствия!

Видавший виды водила, который брал, конечно, как и все, чаевые, но водкой ночью не торговал, от ГАИ не скрывался, превысив скорость, и вообще вины никакой за собой не знал, не на шутку перепугался, когда двое в штатском сунули ему под нос, ещё мокрому от купания, красные книжицы и велели проследовать. Потом две недели кряду он моргал выгоревшими ресницами в продолговатом оконце шлема, включённого в сеть, и слушал рёв из микродинамиком – рёв на узких, будто отрезки ленты для снятия кардиограммы, бумажных полосках протоколировали для башковитых спецов-акустиков волнистыми линиями быстрые самописцы – и сдавленно докладывал в миниатюрный микрофон похоже ли ревёт, не похоже.

На исходе второй недели оглушительных экспериментов добились-таки нужного тембра, из графической записи страшных звуков, наконец, стала вырисовываться умопомрачительная картина обрушения.

Да-да, прокуратура по сути продублировала работу комиссии, привлекая для экспертизы лучших в своих сферах учёных, и они, точно так же, как и не менее компетентные учёные, подобранные для решения сходных задач комиссией, переводили звуковую интерференцию на цифровой язык статики и динамики, сличали лабораторные результаты с ощущениями всё видевшего и слышавшего, едва не лишившегося слуха таксиста, затем согласно терялись в догадках относительно того, что же падало раньше – центрально-стволовые или обрамляющие конструкции.

И это ещё не всё, в такой горячке кто смог бы сохранить холодную голову?

С помощью светил-взрывников, не удовлетворённых накопленными данными и изучавших вероятностную модель обрушения, которую по рекомендации Остапа Степановича составили наподобие словесного портрета преступника, удалось и вовсе загнать проблему в тупик: получалось, что шофер, слышавший рёв, якобы отчётливо видевший оседание башни и разлёт крупных обломков – разве это не позволяло описать катастрофу с использованием взрывных аналогий? – с перепугу что-то соврал или напутал, так как, если верить скороспелой модели, озвученной шумовыми эффектами, которые отобрал свидетель, – а хоть чему-то хотелось верить! – обрушилось всё здание сразу, словно вмиг рассыпалась в пыль и развеялась ночным ветром вся-вся-вся, до последней клеточки усталая, безразличная к постылой жизни материя; тем более, что наутро никаких обломков на снегу действительно не осталось... только мокрое место... о, в этой катастрофе с исчезнувшими следами угадывалось столько символики! Хотя для узких, остепенённых, в большинстве своём защитивших докторские звания специалистов, преуспевших в точных науках, такая антинаучная картина обрушения оборачивалась кошмаром, непостижимым и оскорбительным, их охватывало профессиональное отчаяние, шофер, доказывали они, понадеявшись на свою шумовую память, мог легко исказить истинное звучание катастрофы, ибо тотчас же, в мгновение ока, не перевёл увиденное обрушение на язык децибелов, а расчёты, проверенные и перепроверенные, не ввали! Нули говорили сами за себя: железобетонная материя вовсе не должна была испытывать чрезмерных усилий, ей вроде бы и уставать было не с чего... Конечно, ни в какие ворота не влезающие посылки надлежало опровергнуть, сняв противоречия в новой серии ещё более строгих экспериментов, однако подпирал срок показательного процесса, а Смольный не привык ждать, и потому Остап Степанович просто-напросто отбросил противоречия и своею теневой властью прекратил научную тягомотину, со свойственной ему напористостью и как раз к началу судебных слушаний удачно дал ход главной из задних мыслей – обвинение сосредоточилось на местоположении и пропорциях одного из окон на торце злополучной башни; как жёлчно ухмылялся Остап Степанович, расспрашивая об этом окне! – местоположение и пропорции окна, конечно, совсем не обязательно послужили причиной катастрофы, но уж во всяком случае, ничем таинственной причине, её вызвавшей и пока что напрочь скрытой от научных работников, не помешали. Этот-то вывод, заранее заготовленный ушлым следователем, но вроде бы рождённый импровизационно, вроде бы внезапно осенивший его на допросе и там же убедительно подтверждённый сомнительным на взгляд Стороженко поведением Соснина, шаткостью художественных и – главным образом! – идейных позиций... да, ударный вывод удалось, пусть не вполне бесспорно с обывательской точки зрения, но зато юридически корректно, чётко и выпукло сформулировать в прочно сшитой белыми нитками тетради, приложенной к объективным данным экспериментов, которые вместе с захватанными жирными пальцами томами обвинительного заключения вложили в толстенные папки с чёрными обувными шнурками-завязками и наклеенными бумажными квадратиками с аккуратно выписанными на каждой папке номером дела.

Слов нет, солидные, весомые получились папки.

Уходя в совещательную комнату, судья и заседатели еле-еле тащили неопровержимую тяжесть фактов; понимая, что они надрываются и по его милости, Соснин злорадно хохотал им в спины с неукротимой, прямо-таки оперной мощью басов.

что к чему? (с учётом опережающего контекста)

Напомним, однако, что мотивы хохота, равно как этимологию душевной болезни, сколько ни старались, так и не распознали, и поэтому слово «злорадно» остаётся на нашей совести. Если же заражённый здоровым скептицизмом Соснин, прежде чем публично расхохотаться, и кривился в усмешке, наблюдая огромную и – будем справедливы – заслуживающую уважения исследовательскую работу, то это произвольное мимическое движение тем более не стоило бы пенять ему – заподозрив, будто он считал проделанное комиссией вкупе с прокуратурой пустым или излишним, вы бы наверняка впали в глубокое заблуждение.

Напомним главное – другому на его месте было бы не до смеха, а он был благодарен своей беде.

Да-да, дом упал и – началось!

Рёв, грохот, а Соснину послышался удар гонга!

Да, именно горячка с составлением коленкорového отчёта комиссии внезапно открыла Соснину дверь в комнатку с трещиной на стене, где и повалились на него, как снег на голову, побочные, не имевшие отношения к делу, но зато задевавшие его за живое факты... и сколько ещё сваливалось потом, слепливаясь в историю.

И хотя, поддавшись массовому психозу отмахиваться от сложного, непонятого, легко посчитать сказанное ниже дутой многозначительностью, Соснин, всматриваясь сейчас в случившееся, видел в разнородных фактах звенья одной цепи, которая приковала его к этой начавшейся со всеобщего трам-та-ра-рама, а по сути лишь одного его затронувшей, лишь его разбередившей истории. Он прозревал наличие между разнородными фактами изначальной связи, указывавшей не столько на совпадения, сколько на вмешательство провидения, чья невидимая длань как бы невзначай вытягивала из клубка случайные нитки. Благодаря ему, такому вмешательству, собственно, и завязывались нервные узлы повествования: вот хотя бы крымские, взятые у матери, фотографии, вот пачка оставшихся от дяди, стянутых резинкой старых фотографий и писем, вот чудом попавший к Соснину дядин дневник. И – фоном – слепой дождь, и солнце, заплывшее на дядиных похоронах; теперь вокруг густо заросшего кладбища на Щемилровке, где похоронили Илью Марковича, новые панельные дома, много новых домов.

Разумеется, упоминание обо всём этом сейчас с точки зрения композиции романа покажется преждевременным, а с логических позиций и вовсе нелепым, так как не внесёт ясности, а лишь усугубит путаницу, однако для накопления опережающего контекста коснуться неожиданных фактов было бы не бесполезно. А поскольку круги, которые описывали чувства циркулем мысли, получались разного, подчас огромного радиуса, охватывающего всю художественную вселенную Соснина и, стало быть, вынашиваемый им, воображённый текст, то, извинившись за самоцитирование, стоило бы вырвать наугад какой-нибудь бесформенный эпизод с двухсот тридцатой или четырёхсот восьмидесятой, но равно отсутствующих пока страниц... ну вот, хотя бы этот... или, если угодно, тот – да, нити вытягивались из клубка, связи между разнородными фактами действительно обнаруживались, правда, разглядеть их пока было трудно, пожалуй ещё труднее, чем узнать в лежащей в растрескавшейся комнатке измученной болезнью старухе, откинувшейся на только что взбитую подушку, молодую улыбающуюся даму в мехах, с муфтой; она стояла об руку с обсыпанным конфетти, но нарочито серьёзным господином в цилиндре, за ними беспорядочно торчали стволы с косо размазанными по сугробам тенями.

– Снято утром на Островах, после встречи Нового, 1914 года, – живо сообщила, опять взбивая подушку, давняя подруга больной, словно мумифицированная, но редкостно для своих фантастических лет подвижная, по-балетному грациозная старушка с прямой спиной, – вскоре Илья Маркович уезжал в Италию...

Ох, многие, даже пробежав крохотный эскиз-эпизод глазами, привычно примутся бурчать, что, поверив ли в указующий свыше перст, таинственную всемогущую длань, тянущую за нити, Соснин преувеличивал значение произошедшего с ним, спешил в ущерб общей ясной картине выпятить какие-то невнятные мелочи, заставлявшие лишь провисать внимание, тогда как всё следовало объяснять попроще, попонятнее, и, главное, побыстрее, а Соснин бы продолжал стоять на своём, искренне полагая, что не только искусство, но и сама жизнь испытывает нас день за днём загадками опережающего контекста.

Простейший пример – пространственный.

Допустим, подъезжал бы Илья Маркович на рассвете к Риму, как к незнакомому какому-то городу, с волнением бы прикинул к оконному стеклу вагона, не зная, что он вскоре увидит, и тут начал бы всплывать над пепельными холмами купол... потом с первыми лучами солнца войдёт Илья Маркович в собор Святого Петра, потом, а пока, издали... Разве не жизненное, до дрожи доводящее испытание путешественника? – загадочная знаковая частица чего-то огромного, опережающая цельное впечатление от собора и площади, от всего Рима.

Или – другой пример, посложнее и при этом забавнее, пример пространственно-временной, если угодно.

Допустим, Марк Аврелий, уснув в седле своего бронзового коня, проспал долгие столетия, а, открыв глаза, скользнув властным удивлённым взором по чужим темноватым дворцам и церквям, почему-то теснившимся у подножия Капитолийского холма на месте привычных беломраморных колоннад и фронтонов, извечно подпиравших треугольниками синее небо, боковым зрением увидел бы слева ещё и автомобильный поток, лихо огибавший театр Марцелла. Неужто, и при всём своём стоицизме император сохранил бы невозмутимость и гордость осанки при виде торопливых колёсных посланцев нового времени, – неведомого времени, сулящего, как умнейшему из императоров сразу стало понятно, уйму неожиданностей и несообразностей?

В словесных порядках всё, увы, выглядит не столь естественно или, согласимся, противоестественно, как в досужих наших примерах, как и вообще в городских пространствах, наглядно развёртывающихся во времени и временем перестраивающихся. Да, в словесных последовательных порядках, подчиняющихся, хочешь-не-хочешь, логике, могут вызвать недоумение и протест ни с того, ни с сего опережающие суть цепи загадок, фрагменты картин и фраз, вся их круговерть, выдаваемая за невразумительный анонс поджидающего впереди содержания, за содержание творческого поиска во всяком случае. Да, текст такой сперва становится тестом на терпение, на доверчивость к автору, не зря, наверное, терпением читателя злоупотребляющим, – до конца дотерпите и всё, даст бог, прояснится. А пока раздражающе мелькают ничего не объясняющие имена, лица, обстоятельства, обрывочными фантазиями на темы романа подменяется сам роман, однако повторим: жизнь, та самая, натуральная и актуальная, повседневная жизнь, которую по всем канонам реализма вменено отражать искусству, тоже начинена ведь неразлично-невнятными частицами будущего, как бомба порохом, и потому сплошь и рядом путает нас, укрывая до поры-времени рисунки судеб, назначения их – утомляет затемнением своих целей и долгим-долгим ожиданием света, дразнит загадочностью судьбоносных намерений, пугает предчувствиями, а потом вдруг, в награду за терпение и упорство приоткрывает свои секреты. И тут уж как повезёт: бывает, убивает, бывает, что трогает душевные струны, просветляет, если хотите. И не зря, ей-ей не зря, выйдя ли на обледелую улицу, спускаясь ли ещё по лестнице, пропахшей кошками, во всяком случае, совсем неподалёку от растрескавшейся комнатёнки Соснину послышался свербящий мотив покаяния, на миг

стали ватными ноги, и сразу он ощутил, что скоро откроется где-то волшебный кран, польётся творческая энергия.

**как сочинение художественного текста выливалось
в собирание-перекомпановку осколков какой-то
былой гармонии и (преимущественно – безуспешное)
разгадывание складывавшихся из этих осколков головоломок**

Стоит ли и дальше судить-рядить мог ли, не мог Соснин, заподозрив высший промысел в своей трудно объяснимой причастности к чужеродным, но согласно намекающим на возложенную на них общую сверхзадачу фактам, не увязывать их по-своему, не поглядывать на них, собранных вместе, со своей колокольни?

Ведь, если не забыли, он по-прежнему разгадывал хаотический текст, разорванный и обгорелый, заполнял пробел за пробелом, силясь подогнать мысль к мысли, эпизод к эпизоду. А когда разгадывают что-либо, да ещё при этом входят в азарт, питаемый вдохновением, то за любой намёк, за любой, хоть и случайно сложившийся узор фактов, хватаются, как за ключ, открывающий замок тайны. К тому же разгадывался этот бог весть кем придуманный и завладевший затем воображением Соснина текст-руина для того, чтобы, фрагментарно возрождая его и в меру разумения упорядочивая, приобщаться к поверженной, но полнокровно жившей где-то и когда-то гармонии. Поскольку многие, увы, очень многие осколки былой гармонии, судя по всему, исчезли бесследно, он, улавливая любой намёк, присматриваясь к любой загогулинке в узоре фактов, воссоздавал на свой лад эти рассыпанные, как битый витраж, исчезнувшие осколки, отчего приходилось менять форму и цвета остальных осколков, вроде бы уцелевших, по крайней мере, тех из них, которые соприкасались с воссозданными...

Да-а-а, легче-лёгко надуть губы – дескать, не хватит ли отвлекаться на осколки и загогулилки, не пора ли проникнуть в глубину взглядом?

Надо ведь ещё понять как проникнуть, как пересказать увиденное!

Не забывая о странной сверхзадаче, условия которой передоверяли Соснину факты ли, осколочные узоры, не входя пока в методические поиски решения, заметим попутно, что любой чего-то стоящий текст способен сообщать что-либо, лишь обучая желающих его понять, специфическому языку сообщения. Нашему герою, конечно, такого желания было не занимать, однако новый для него язык хаотического текста он сам ещё только-только начал осваивать: знаки – как и взблескивающие осколки того самого разбитого витража – завлекали подмигиванием смысла, но при первой попытке этот смысл назвать, он, искомый смысл, тут же свёртывался в головоломку.

Когда же Соснин звал на помощь простейшие житейские факты, которые, свалившись на него, собственно, и разбудили в нём интерес к разгадыванию головоломок, то и простейшие эти факты вместо того, чтобы что-то ему подсказать и смиренно стушеваться затем, обрастали необязательными мыслями, принимавшимися бесцеремонно заигрывать с мыслями важными, обязательными – захлёстывала кутерьма почище той, что утомила ещё страниц двадцать-тридцать тому назад, когда мысли отцеплялись и прицеплялись, тут же обнаруживалась путаница сюжетных линий, как если бы все они вопреки благим намерениям сплетались в никак не упорядочиваемый – бессюжетный? – узор, который и сам-то по себе оказывался головоломкой, к ней тоже надо было подбирать ключ.

Что же, сбиваясь на менторскую тональность, не вредно было бы заметить, что обучение языку и впрямь занятие муторное, многоступенчатое, требующее прилежания.

Однако Соснин не унывал.

Не собираясь возводить отношения мысли и слова в болезненный культ, он отправлял не складывающиеся воедино соображения перебродить в сознании, а сам, пока брожение протекало как бы независимо от него, с удовольствием жевал абрикосы, радовался солнцу, размалевавшему жёлтыми мазками газонный коврик, и с мечтательно-глуповатой миной вслушивался в картавую перекличку ворон, которая, как могло почудиться при взгляде на Соснина со стороны, куда больше занимала его, чем дурная бесконечность языковых заторов на пути смысла.

жуя абрикосы, радуясь солнцу, прислушиваясь к воронам, он всё же о чём-то думал

Достаточно искущённый в подвохах художественного восприятия – с его мерками Соснин, между прочим, не стеснялся подходить и к восприятию жизни – он, чтобы продлить передышку, готов был лишь наскоро сравнить сумятицу мыслей, смятение чувств с неизбежным при столкновении с чем-то новым и сложным отказом зрения, отнюдь не сразу находящего приятный контакт с увиденным.

Иногда ведь надо привыкнуть к темноте, дабы начать различать предметы.

Порой же наоборот – резкий свет, вспышка или прожекторный удар по глазам погружают до травинки знакомый мир в крошечную неразборчивость, вынуждают жмуриться, пережить оргию оранжево-красных клякс, растекающихся напалмом по вогнутым сферам век.

Зато потом мир увидится ясно-ясно...

И ещё яснее, чем прежде!

И можно будет без помех написать о любви, детективных приключениях, мечтах с их сомнительной лучезарностью, о личных драмах, общественных встрясках, стычках добра и зла – обо всём том, о чём пишут, соблюдая литературные законы занимательности, в настоящих романах. И пусть дотошность объяснений и повторений рискует обернуться назойливостью, пусть пошла уже словесная пробуксовка – возможно, и впрямь помогающая собраться с мыслями – повторим во избежание недоразумений, что, уповая на образность языка искусства, парящего над схваткой дедукций, индукций, силлогизмов и прочих роботов мысли, взращённых причинной логикой, Соснин всё же время от времени морщил лоб, но не мучился, не страдал; пока его сознание превращалось в бродильный чан – он блаженствовал в предчувствии творческого раскрепощения, и оно наступало, и он плыл, плыл по волнам вдохновения, и можно было не очень-то погрешить против правды, подумав, что он, как и большинство сочинителей, пребывал в счастливом неведении относительно истинных трудностей своего занятия.

всего о нескольких обязательных операциях,

исключительно методических и технических

Что значит – собирал, воссоздавал, упорядочивал?

И что значит не вообще, а чисто технически – собрать осколки гармонии?

Воспользовавшись опять сослагательным наклонением, легко было бы допустить, что Соснин мысленно раслаивал нагромождения хаоса, чтобы увидеть воображённые слои по отдельности, поверить в их конкретность и, совмещая затем выделенные слои между собой так и эдак, придать вновь полученному, пока плоскостному и невразумительному узору композиционную завершённость и эмоциональную глубину...

И тут уже не удалось бы замолчать метод, который организует работу художественного мышления, связывая по той или иной индивидуально пригодной схеме обрывки умозаключений и чувственные импульсы в конвейер логических и технических процедур письма. Ну а рассказ о методе, потребовав своего метода, становился бы, сколько этому ни противиться, вдвойне схематичным.

Но если не побояться хотя бы недолгого соскальзывания в схематизацию, то, посчитав, что Соснин мысленно расслаивает хаос, а потом, вынашивая-воображая нечто гармоничное, переводит условные слои в нужный ему прозрачный материал и совмещает между собой, мечтая совместить разные планы повествования в объёмной и фактурной картине, которой он теперь, временно позабыв про Собор, Вавилонскую башню и конфуз с проектированием мироздания, уподоблял роман, вполне естественно было бы развить этот тезис и, вспомнив про возвратную поступательность, про круг, посчитать, что художественная устремлённость Соснина реализуется движением вспять, без которого нельзя ни шагу ступить вперёд, а для простейшей иллюстрации такой закольцованности творческого конвейера сослаться на раскладку цветов при изготовлении литографии, угадывающую итог их поочерёдного наложения.

Нет, мы не станем задерживаться на процедурах раскладки и тем паче на пунктике Соснина, для которого палитра была не клочком пробной бумаги или лекально вырезанной дощечкой с круглой дыркой для большого пальца, а, образно говоря, пространством замысла.

Отложим палитру.

Допустим, цвета подобраны.

Посмотрим, что получается при их совмещении.

хранившаяся про запас иллюстрация

(вспоминая уроки литографии с ненавязчивыми поучениями Бочарникова)

Под залившим верхнюю половину листа светло-голубым пятном, пахнущим типографской краской, появляется тёмно-синее, в бумажный просвет между голубым и тёмно-синим пятнами впечатывается неровная охристая полоска, по ней с помощью красноватых штришков разбрасываются коричневатые червячки и получаются небо, море, пляжная коса с загорелыми отпускниками, от наползания кое-где пляжа на краешек неба гребень косы зарастает травой, кустиками для переодевания, а горячее песочное прикосновение к синей прохладе там, где обычно скапливаются медузы и с шумом, гамом бултыхаются малолетки, вздувает прибойную волну бутылочного оттенка, и картинка делается близкой, понятной, и тут только мы замечаем, доводя до крайней остроты восторг доступности, что на нечто белое, вполне бесформенное и будто бы случайно оставленное не закрашенным на границе густой синевы и прозрачной голубизны, тоже был нанесён, оказывается, крохотный, размером с соринку, красный штришок, и вместе с мгновенно возникшей под ним чуть скошенной по моде трубой белая бесформенность становится безмятежным, в отличие от парусников, пароходом, турбоходом, дизельэлектроходом, ещё каким-нибудь плавучим новаторством, где труба не более, чем декоративная дань традиции. Но дело-то в конце концов не в трубе, а в том, что чудо превращения бесформенности в форму так поражает, что вместо других пробелов, по небрежности ли, неумелости вклинившихся меж синими мазками, натурально изобразившими морские, с пенными гребешками волны, уже хочешь-не-хочешь чудятся мельтешащие за кормой чайки.

от противного

Однако, положив руку на сердце, действительно ли поучителен тот давний изобразительный урок для текущих словесных опытов?

Несмотря на чудесные превращения, которые обещает крохотная штриховая деталь, несмотря на наличие залитого крымским солнцем пейзажа-мечты, рождённого от наложения на бумагу и ловкого совмещения между собой всего нескольких влажных цветковых пятен расплывчатых очертаний с просветами в виде крикливых белокрылых пернатых, эта отлично знающая свою цель, простейшая и нагляднейшая схематизация, хоть и помогая провести методическую параллель, всё же навряд ли прояснит, что, как и почему доискивался или, вернее, собирался доискиваться Соснин, а лишь докажет от противного, что искать он всё же будет что-то совсем другое, поскольку для раскраски милой, радующей глаз картинки, которой мы только что искренне полюбовались, не больно-то нужны были растревоженная совесть, самобичевание рефлексии и прочая чувствительная атрибутика высокого творчества, не посвящённого до поры до времени в свои цели, не говоря уже о том, что героя нашего, обожавшего живопись, не очень-то волновала зависимость от железного механизма с прижимным колесом, придуманная для тиражирования техника литографии, и – надеюсь, не запамятовали? – если и ждал Соснин встречи с плавучим символом немалого водоизмещения, то уж совсем другим, отнюдь не с комфортабельно-самодовольной круизной посудинной.

смотрим в корень

Сложной, не наглядной схематизации вообще не бывает – всякая схематизация упрощает и уплощает, а это-то принципиально и не годилось для Соснина, он ведь был убеждён в том, что непрерывное разложение-восстановление хаотичного, с превеликим трудом упорядочиваемого текста способствует полному у его пересказу. Недаром же Соснин преуспел в смешении на своей воображаемой палитре чего угодно! И недаром хаос сравнивался им с растрёпанной обгорелой книгой, битым витражом или руиной, а палитра с беспорядочно выдавленными и размазанными красками, к слову, разве и впрямь не служила для живописца пространством замысла?

Всё – вместе. И всё – вразнобой!

Но не по забывчивости или неуважительным для словесного искусства причинам языковой неряшливости, а потому лишь, что точное и ясное, бьющее в цель, но единственное – забавы ради целил косточками от абрикосов в стоявшую неподалёку урну – определение предмета или явления, если бы его и удалось вдруг найти и приклеить к предмету или явлению как этикетку...

Прервёмся, дабы чрезмерно не повторяться – Соснин шёл по кругу.

НО

Что же, он смертельно боялся точных определений?

Сознательно избегал их?

Или, может быть, рвался к высказыванию, сорил словами, чтобы... утаивать смысл?

ех пово, как любил говаривать,

укалывая насмешливым и участливым взглядом Шанский,

**или, если попросту, почти резюме
(и своевременное, и преждевременное)**

Ба, неужто наши старательные объяснения, почти что перешедшие в заклинания, потерпели-таки фиаско и не привилось, не запомнилось даже про текучесть смысла, размывающего хоть острые, хоть обтекаемые препятствия, про тайнопись поверхностей, сполна рассказывающую о глубине, про то, что и сам-то художник – не составитель энциклопедии чувств и мыслей, которую, совмещая полезное с приятным, можно было бы держать под рукой для справок, а живой тайник, которому суждено спрятанное в нём донести, но не рассекретить?

Ох-хо-хо... от души жаль.

Хотя загадки творческой лаборатории – лакомый кусок сочинительства, этот кусок даже у вьедливого Соснина, как мы видели, нет-нет, да и застревал в горле. Если же с не раскусываемым сюжетом всё равно не расстаться, если приспичило, пусть и расшибаясь в лепёшку, но кратко, даже элементарно, не заботясь тут же сводить концы с концами, высказать суть художественного поиска, который всегда и повсюду отталкивается от реального или вымышленного факта и фактами того или иного происхождения питается на всём своём похожем на лабиринт пути, то и вам придётся напрячься и, расставшись с эстетической наивностью, понять, что Соснину не важны были факты сами по себе, что он не шёл у них на поводу и потому не спешил назвать, пригвоздить – он сливал их в таинственную целостность, отличающую рождённое от придуманного.

Так сливаются в ребёнке черты мужчины и женщины.

Но проступают-то эти черты, в которых живут черты многих-многих, как давно умерших, так и ещё не посетивших сей мир людей, не сразу; сперва ребёнок может походить на мать или отца, вызывая умильные всплески родственных рук – просто копия! – а попозже, подрастая, меняясь, раскрывать в себе всё больше разных, смутно заявленных сызмальства, но постепенно и неумолимо проявляемых год за годом начал. И только, может быть, в зрелые годы или же на пороге старости прорежется вдруг ни с того ни с сего его сходство с давно умершим и забытым дядей.

И если всякий художественный текст – роман главным образом – развёртывается подобно всему живому, то, сколько бы не забегать вперёд, сколько бы стилю не искать, не объяснять себя в мутациях опережающего контекста, проявится текст многообразно, во всей своей полноте, лишь реально достигнув последней точки. А пока не достиг, в той желанной точке до поры до времени остаётся балансировать мысленно и ничего неслыханного, невиданного нет, да и не может быть в том, что, разглядывая завязь, загадывая плод, приходится пережёвывать роман-ный жмых.

И если уж так приспичило нам с вами, не откладывая открытие в долгий ящик, ухватить главное в художественном поиске, одержимом магической техникой слияния чужеродных фактов, то не стало бы грубой ошибкой утвердиться в не раз уже обронённом вскользь, да так и не уточнённом до сих пор замечании: движение мыслей, чувств Соснина назад, вспять непостижимым образом сплавлялось в этом поиске с продвижением вперёд. А так как он нико-

гда не был рабом хронологии, так как мысли его, хоть и оставаясь заложницами слов, могли свободно, в разных направлениях, путешествовать по сознанию, романый текст, пока он его разгадывал и пытался пересказать, развёртывался в прошлом, настоящем и будущем одновременно – всем ведь известно, что только искусство научилось обживать эти взаимно перетекающие, но и разграниченные чем-то временные пространства.

не чересчур ли категорично?

Только искусство... всем известно...

Постойте, постойте, а как же не знающая преград наука?

Разве, воспроизводя по звуку, точнее – по оглушительному рёву, картину обрушения, учёные, тратившие по заказу следствия машинное время, не проделывали методически ту же работу, что и Соснин, который, конечно, не имел доступа в закрытые, по последнему слову техники оснащённые лаборатории, располагал свою творческую лабораторию, где придётся, пусть и в дурдоме, на садовой скамейке, экспериментировал мысленно и не по социальному, партийному или ещё какому-нибудь заказу, а на свой страх и риск, хотя с не меньшим – не исключено, что с большим – рвением и упорством, чем высокооплачиваемые, взявшие повышенные преддубилейные обязательства научные коллективы?

нашлись отличия

Оказывается, нет.

Комиссия, прокуратура ввязались в сложные и дорогостоящие эксперименты, чтобы строго и точно, не отвлекаясь на постороннее, смоделировать вполне реальное – хотя и невероятное! – привязанное к месту и времени обрушение.

Прикладная наука ведь и не была бы наукой, если бы не ставила вопросы и не искала ответы на них строго логически, не жертвовала полнотой ради точности и не спрямляла в угоду заказной истине пути познания.

Удивительно ли, что заботы науки имели мало общего с не лишёнными приятности творческими муками Соснина и напоминали ему изнурительно-однообразные тренировки спринтера, тогда как сам он, чертовски выносливый, скоростью и быстротой реакций не мог бы похвастать.

ухватимся за аналогию

Оттолкнувшись от колодок, спринтер пулей прошивает стометровку, потом, выслушивая упрёки тренера, расслабив мускулы, понуро возвращается на стартовую позицию. И так до тех пор, пока не добьётся – чаще не добивается – рекордного или хотя бы близкого к рекордному результата.

Так и тут: моделирование, успешно осуществляемое под эгидой следствия, многократно стартуя, несло к ясной и бесспорной, как директива, цели – едва ли не сотни раз имитировали с электронно-вычислительной помощью обрушение одного и того же здания, пока не сделали вид, помозговав над графиками и цифрами, что если ещё и не успели открыть объективный закон падения, то хотя бы разглядели и вывели на чистую воду его пособников.

порассуждаем о противоположных направлениях моделирующего поиска и прикоснёмся к интриге сборки

Вот ведь что любопытно: никто из тех, кто с пытливостью маньяков раз за разом разваливал многоэтажную башню и воспроизводил звуковые картины падений, сравнивая шумовые показатели в децибелах со свидетельствами запуганного шофера-очевидца, ни разу не порывался приступить к её сборке... хотя бы экспериментальной...

Напротив, в научной среде вполне естественным считалось – если бы железобетонные улики не исчезли в ночь катастрофы, так бы и было! – раскалывать обломки на мелкие куски, чтобы исследовать изъяны этих измельчённых частиц, исследовать во всеоружии новейших аналитических методов, технических средств. Конечно, научный ажиотаж вокруг обломков, затмивших целое, служил бы, если бы обломки не исчезали, не коллективному заблуждению, а всего лишь одной из необходимых в аналитической работе форм абстрагирования. Но почему никогда не закрадывалось в умные головы сомнение в её, аналитической работы, достаточности? И почему возвращение к началу каждого последующего эксперимента сводилось чаще всего к расслабленности, досаде на задержку, тоскливому перебору погрешностей, оставленных предыдущим экспериментом, хотя именно на возвратах, как полагал Соснин, а не в безоглядных рывках вперёд, и делаются подлинные открытия.

Да, для него, что-то меланхолично чертившего прутиком на дорожке, было удивительно, что многократно и сугубо экспериментально воспроизводя скандальное обрушение, – в реальности многократные обрушения стали бы сущим кошмаром для власть имущих – никто из видных учёных – председатель комиссии, между прочим, по совокупности трудов даже баллотировался в академики – не представлял себе и одноразового, исключительно опытно-экспериментально-лабораторного – и столь желанного для возвращения к положительному плановому балансу – восстановления обрушенной башни. И хотя не просто, но желательно было бы замазать дырку в плане, зияющую на горе руководителям, если бы учёным предложили изменить привычное направление их экспериментов, если бы их с вежливой твёрдостью попросили не раскалывать и дальше на куски, а собирать уже расколотое, они, не сговариваясь, дружно и возмущённо пошли бы багровыми пятнами и замахали руками, доказывая антинаучность сборки её практической бесполезностью – из трухи удобный, прочный и красивый дом не построить. Но даже если бы докторов наук во главе с будущим академиком и заставили, к примеру, пригрозив отнять партбилеты, поверить в оплачивающую такую нелепицу пользу – пусть не материальную, пусть морально-этическую или всего-то-навсего эстетическую, способную вылиться лишь в краткое зрелище, забавный аттракцион, то и тут испуганные по понятным причинам, но вполне славные, вполне высоколобые люди продолжали бы отмахиваться, волынить – авось без них обойдутся – а те, кто поинтеллигентнее, руками бы развели, беспомощно улыбнулись или пожали плечами, однако не посмели бы нарушить табу: какая-то обратимость обломков в целёхонькие панели, какой ещё цирковой аттракцион, когда все учёные мужи, как один, свято верили в необратимость времени.

сборочный аттракцион для отвода глаз

Соснина заинтриговал обратный и противный здравому смыслу процесс, если хотите, не процесс даже, сомнительный безрассудный трюк: не связанное обетом научной строгости воображение зачем-то снова и снова запускало вспять киноленту шумной катастрофы... учёных, присягнувших анализу, ничуть не пугали разрушительные потенции их точных наук,

тогда как Соснин брал сторону синтеза, брал сторону цельности, и мы двинемся вслед за ним не потому, что надумали выгораживать обвинённого в преступной халатности, но потому, что – кто поспорит? – картина мира нашего дробится и распадается, а никто в ус не дует.

Неправильная пирамида обломков вздыхала, вздыбливалась, оживали разбросанные вокруг искорёженные куски железобетона. Цементная пыль, инертные песок и гравий, усталые торчки арматуры, взметнувшись, схватывались в твердеющие на лету плоскости, которые сталкивались в сырой темени, тёрлись одна о другую, но не коробились, не ломались, а деловито примериваясь, занимали свои, предопределённые проектом места: медлительные застре-вали на нижних этажах, те, что порасторопнее, устремлялись выше и выше, самые заносчи-вые уже добрались до верху и, празднуя финал сборки, над поставленным на попа кое-где остеклённым брусом догорал фейерверк электросварки, а внизу быстро-быстро наметался театрално-чистый снежный покров, пронзённый раскачивающимися на ветру былинками, сам собой, с мультипликационным оптимизмом вырастал из россыпи щепок и гнутых гвоздей забор, вот и свет зажигается в случайном окне, жёлтое пятно падает в ближайший сугроб.

эврика!

(Соснин у порога деконструкции)

Ну и что?

Был брусок, поставленный на попа, возродился такой же брусок... ничего будто не происходило, ничто не разваливалось, не падало.

Следы заметены и можно, стало быть, жить по-старому?

И, выходит, эта торопливая ночная сборка была творчески бесполезной, не сумев даже потешить воображение?

Дудки! Ещё и панели не взметнулись к чёрному небу, как Соснина осенило, что собирать из обломков рухнувшего прошлого стоит вовсе не то, что было до обрушения, дудки, от реставрации разит трупом, компоновать надо наново и что-то совсем другое, тоскующее об утраченном тепле, но обжигающее ледяными неожиданностями грядущего.

Он, довольный собой и своим интуитивным открытием, – по правде сказать, оно застигло его врасплох! – задержал от счастья дыхание и – сник. Что за открытие? Детским лепетом откликнулся на чужие и не прояснённые до конца теории. Унял нетерпение, мысленно сослался на какого-то умника-француза, которого в своей телевизионной феерии, по-свойски поругивая, представлял Шанский, но заправил всё-таки в шариковую авторучку новый стержень, чтобы многообещающую идею оригинальной сборки опробовать и приложить к делу, своему делу; сперва, правда, достал из кулька абрикос; припекало; баюкали шорохи, шелест листвы.

**пока идея-открытие Соснина,
который вдруг изобрёл философски-
методологический велосипед,
отлёживается-отстаивается, а то и переваривается в сознании,
порассуждаем ещё чуть-чуть
об особенностях почерка Соснина,
возможно уже вязнущих на зубах,
но подводящих к новому открытию,
на сей раз касательно его главного творческого пристрастия**

Да-да, не удивляйтесь!

Что-то по-своему моделируя, что-то для себя открывая, Соснин не только не испытывал пока тяги к осмысленной компоновке, к строгой организации текучего текста, но и интуитивно опасался композиционного ножа, будто тот был занесён не над тусклыми строчками и абзацами, а над его головой.

Да, Соснин использовал любую уловку, чтобы писать не по правилам, наоборот – что и говорить, в странные формы трансформировался с годами детский негативизм. Страницу за страницей он охотно тратил на мыльные пузыри, на скучные до одурения пассажи Остапа Степановича, хотя знал, что в хорошей прозе такое передаётся сжато, с помощью одной-двух ярких деталей.

Однако ничего не вычёркивал, словно ему нашёптывал осведомлённый в высших целях внутренний голос: оставь, пригодится.

И разве он был так уж не прав, прислушиваясь?

Не ломиться же в открытую дверь, доказывая, что искусство, доверяясь смутным ориентирам, сплошь и рядом ищет окольные пути к неясным целям – страшась наспех высосанной из пальца определённости, охотно идёт в обход, а не известно куда зовущий поиск не известно чего, постепенно накапливая взрывной динамизм стиля в тормозящих длиннотах и отступлениях, может и сам по себе притязать при этом на что-то важное, что-то важное знаменовать, надевая слово, аккорд, мазок, как давно или недавно прижившимися значениями, так и значениями, ведомыми одному будущему. И напоминание этого, которое было бы нетрудно развить, дополнить, грозило бы расползтись общим местом удручающе большой площади, если решительно не отрезать, что напоминает-то всё это не для того, чтобы печатно опорочить или всего-то противопоставить дискретное, научно обоснованное и рекомендованное в целях прогресса движение только вперёд милым сердцу и уму Соснина кругам, на коих непрерывные движения вперёд и назад таинственно совмещались, а напоминает с одним-единственным,

зато уж острым желанием подчеркнуть пожирнее, что Соснин искал и прояснял связи между свалившимися на него разнородными фактами и событиями, что неспешный поиск его устремлялся к неизвестному, по крайней мере – смутно угадываемому и, мягко говоря, смешно, если не набраться прямоты и не сказать – глупо, было б и на миг допустить, будто он, кругом виноватый, испытал замешанный на муках совести, благородстве и жертвенности гражданский порыв, взялся собирать из безнадёжных обломков не только давным-давно им придуманный, но и давным-давно успевший намозолить ему глаза своей сомнительной геометрической лапидарностью панельный брусок.

Стало быть, отыскивая связи, распутывая их хитросплетения, Соснин, благо отключил логику, не строил холодные умышленные каркасы, не спорил о дефинициях, не документировал на научный лад истины, а ловил образы, там и сям неожиданно всплывающие на поверхность сознания, но тут же, едва попробуешь за них ухватиться, камнем уходящие обратно в тёмную глубину. Вот волнение Соснина, мечтавшего их выловить, приручить, и бежало кругами по зеркалистой глади смыслов во все стороны сразу из-за чего, наверное, могло показаться кое-кому из скорых на выводы, если не на расправу, что он разбрасывается, что, посмеиваясь над громогласно раздутым и потихоньку подминающим художественное мышление авторитетом науки и её вездесущих методов, он и сам делается чересчур уж теоретичен, а его отвлечённые умствования, заразившись болезнью века, осушают чувства, чтобы упиваться абстракциями, – он и абстрактные картины писал, был грех, и свидетельства о предосудительном его увлечении, до сих пор хранятся, где следует – прогоняют эксперимент за экспериментом не ради пусть мелкотравчатой, но похвальной результативности, способной хоть чуть-чуть разбавить горечь материальной утраты, наглядно опровергнуть слухи и пригасить нездоровое возбуждение масс, а ради интеллектуального удовлетворения смаковать, разыгрывая до полного исчерпания, варианты единичного и – прямо скажем – архиприскорбного, если не сказать, понизив голос, безобразного случая. Время от времени ему и самому-то это казалось, так как мнительностью его природа не обделила, и он, чтобы не разбрасываться, чтобы порядка ради наметить цель и двинуться, нет-нет да чертил прутиком по жёлтой, в пушинках и пятнистых лиловых тенях дорожке какие-то линейные схемы, вот-вот готовые подбить хотя бы предварительные итоги поиска, однако догадывался, да и надеялся вскоре убедиться в том на собственном, пусть небогатом пока сочинительском опыте, что отягощённые метафизикой образы – на другие ни за что бы не согласился – всплывут-таки из разбуженного случаем подсознания, всплывут сквозь вязкое крошево событий, чувств, настроений, которые то и дело отцеживались, чтобы их опять перемешивать, ну а сборка дома из трухи наперекор научным рекомендациям, подстрекалась исключительно творческой наглостью, а вовсе не негодной попыткой выслужиться в неурочный час в глазах ошарашенного начальства, усердием не по чину, или, попросту говоря, необъяснимым для человека без связей могуществом, но была всего лишь симптомом внутреннего раскрепощения, обещанием вырасти и утвердиться в своих глазах, прозрев не ждущую поощрений в административном приказе художественную целостность...

И если верно, что, общаясь между собой, творя что-либо сиюминутное, подобное тополиным пушинкам, скользким по дорожке от дуновений, или вечное, как дворцовый или словесный шедевр, все мы без исключения мыслим жанрами, если верно, что кто-то по внутреннему устройству-назначению своему в бытовом ли поведении, в высоких проявлениях разума, покоряющих вершины духа, всё равно остаётся сатириком-фельетонистом, кто-то скучным или весёлым рассказчиком, а кто-то, к примеру, прирождённым сказочником с лукавой искрой в уголке невозмутимого глаза, то не так уж сложно, наверное, было б сообразить, что мышление Соснина, который тщился столько разных жанровых и поджанровых разностей синтезировать в своём тексте, при всех его изъянах оставалось полижанровым, романским мышлением, чем,

собственно, и объяснялись многие его пристрастия, в первую очередь, страсть путешествовать по времени.

в двух словах о его отношениях с временем (метания между полюсами)

Он, конечно, тянулся к прошлому.

И не потому только тянулся, что подпал под эмоциональную тиранию памяти, а потому ещё, что в нём, атеисте, жила по сути религиозная вера в истину, тлеющую далеко позади, в неумолимо отступающей темнеющей вечности, и инстинктивный страх потерять за спиной тускнеющий отсвет заставлял замедлять шаги, оглядываться – лишал покоя.

Но Соснина-то сформировало новое время, он не мог откреститься от вколотенной всем нам в головы надежды на то, что истина – откровение, высший смысл и пр. – в каком-то виде таится в будущем, заманивает, торопит, и мы с каждым познавательным шагом к нему, вымечтанному будущему, как солидно заверял Филозов, асимптотически приближаемся – вот оно, светлое, рукой подать.

Казалось бы, этот мировоззренческий тянитолкай – Соснина-ребёнка заворожило двуглавое копытное существо из яркой книжки – мог лишь монументом неподвижности стоять на месте – какие там путешествия по времени! Однако позывы прошлого и будущего имели переменную силу и продолжительность, полюса тяготения непрестанно смещались – один приближался и усиливался, другой удалялся, ослаблялся... а мысли неслись по нескольким направлениям сразу, спешили, откликались на новые впечатления, толкавшие то сзади, то спереди; прошлое и будущее – вечные катализаторы настоящего – заряжали символикой сиюминутные цели. Не мудрено, образы прошлого и будущего толпились в сознании, с волшебной неуловимостью друг в друга перетекали – что, опять лента мёбиуса? – а взаимные превращения конкретных до зримой осязаемости образов-невидимок поощряли к путешествиям по беспокойной стихии, ускользающие суть и назначение которой Соснин, начитавшийся умных трактовок всевластной абстракции, и сам, по-своему, пытался представить в формах, пригодных для описания.

Чтобы понять, назвать, надо создать, и потом, потом... не изрекать надо, а нарекать – маниакально повторял он; один бог понимал, что с ним творилось.

помышляя о романе, как о развёрнутом отпечатке времени, он замахнулся вдруг, доверившись видению, писать само время (в плену недоумений, смутных желаний)

Недавно перечитывал: «можно ли рассказать время, какое оно есть, само время, время в себе? Конечно же, нет, это было бы нелепой затеей».

Тут Соснин и из духа противоречия пока не стал бы ничего возражать. Но, – машинально читал дальше, – «время – одна из... стихий рассказа».

Одна из...? Нет, он ощущал время иначе – стихия скрытного движения не только, задавая-меняя ритмы, вела рассказ, но сама делалась его зримым образом.

Он смотрел вдаль, в романную даль, или оглядывался на роман, пусть и тонущий в тумане, перепрыгнув через весь текст и стоя в последней точке, но по сути он видел время – именно само время, чей прихотливый бесплотный поток оказывался чудесно демаскирован, представлен в виде набора слов – во всей напористой протяжённости, во всей условной перидичности.

Воображённый роман, ещё не написанный, лишь замысленный, но уже где-то живший в нетерпеливой готовности, и сам по себе им воспринимался как совокупность черт будущего – зовущего, пугающего, полного неожиданностей. И этот же роман в известном отношении стал уже прошлым Соснина, хотя он всё ещё не сочинённые главы выстраивал, перекомпоновывал... время аритмично разворачивалось перед ним в панорамные чередования меняющихся картин, он шёл сквозь них, шёл и – пока шёл – менял...

Как наставлял, грассируя, дородный насмешник, тот, чей гордый профиль темнел в лимузине справа от Соснина на фоне солнечного Невского, плившего за окном? – время следует писать как пейзаж или натюрморт.

Вот он и хотел писать время, как пространство... не «о» хотел писать, а – «что», пусть и словами, но – показать хотел увиденное, а не рассказать о том, что увидел.

И вязывался в жуткую путаницу – какое там прошлое, какое будущее!

Время расслаивалось по изобразительным признакам, представало в двух контрастных субстанциях; перед ним было уже две стихии, два времени.

Он отчётливо видел два лика абстракции.

Одно время...

Даня Головчинер, ходячий цитатник, не иначе как предрёк нынешнюю путаницу, когда у Художника, на картинах «Срывания одежд», задекламировал, подняв полную рюмку водки: зоркость этих времён – это зоркость к вещам тупика...

И до чего же плотными и безнадежно-отвердевшими, мерзкими ли, прекрасными, но без остатка поглощавшими свет воспринимались теперь – по контрасту? – те тупиковые вещи, обложившие издавна со всех сторон и, как верилось, навсегда! Окаменелости пейзажа? Вещи старого-престарого натюрморта?

А другое время, то, резко-контрастное к прошлому Соснина, то, которое ему приоткрылось, было лоскутно-подвижным, мельтешаще-мелькающим и блестящим, слепяще-блестящим, сотканным сплошь из бликов; такое нарочно не придумаешь, такое надо увидеть. Но и увидев, можно ли написать такое?

В незапамятные времена корпел над натюрмортом с восковыми яблоками, опрокинутым на бок лукошком из бересты, монументально-матовыми складками драпировок и пропылённым чучелом селезня, у селезня на головке, заплывая на шею, взблескивал изумрудный блик. Намучился с бликом – изумрудная зелёная, чуть-чуть кобальта. Колонковая кисть набухла, ярко, сочно блеснул мазок, а едва высыхал, блик тускнел, угасал.

Один-единственный блик не мог написать, а тут...

Сам себя наказал?

Когда-то он ведь не только мучился с бликом на оперении болотного щёголя, но и мечтал дематериализовать архитектуру – театр, спроектированный Сосниным-студентом в виде объёмного зеркала, сенсационно представлял на подрамниках отражения окружавшего театр мира, изломанного и искривлённого, смазанного блеском... Но поможет ли прошлый опыт с натуры написать будущее, тот необъятный бликующий хаос, в котором довелось очутиться? Глянцевое время, где нет прочных давних опор, твёрдых форм, знакомых контуров – одни эфемерности. Не знал как к бесплотному хаосу подступиться, чтобы хоть как-то увиденное организовать, сгармонизировать... И опять всплывал болтливый гуру, самоуверенный телеэкранный Шанский со своими броскими формулами. Как он сказал, если угодно, скажет в свой срок? – захватывающий или отвращающий образ будущего глупо искать в перспективах эволюции, острые, неотразимые образы способны сотворить лишь неожиданные взрывы, распады. И потому образы будущего подобны произведениям деконструктивизма. Метко! Будущее причудливо собрано из обломков прошлого, лишь прорастает новой травой, надстраивается блеском.

Но почему блестят и сами обломки?

Отглянцевали?

Соснин опять сник.

Мелькали, дразня взор, картины, те самые отпечатки времени, разрозненные и фрагментарные, он шёл сквозь них, мог уловить смену картин – вот одна, вот вроде бы другая, но как их связать с картинами минувшего, как вмонтировать неотразимое, не своё, время в образ своего времени, изобразить в обнажённом ясном единстве, когда не улавливаешь новых жизненных связей? Повсюду – между зарастающими бурьяном руинами – стекла, зеркала, поигрывающие отражениями, и – на лестницах, площадях – искусственный мрамор, слизистый, скользкий и холодно поблескивающий, как лёд под слоем воды.

Скользкое время.

А руинные кучи камней, кирпичного и панельного боя, островки в океане зыбкого блеска – останки прошлого, омытые сиянием будущего?

он там был (томления вывернутого наизнанку)

Где – там?

В пространстве без хронологии?

Он, вовлечённый случаем в череду метафизических экспериментов, вышедший из этих экспериментов другим, не знал, сколько длилось его пребывание там, знал лишь день, июльский день, из которого внезапно ушёл, чтобы столько всего увидеть, услышать, в который так же внезапно вернулся, да-да, как курильщик опия, одурманенный, потерял счёт минутам, часам, годам... из мозга и впрямь вынули нечто подобное испорченной ходовой пружине в часах? Или неизмеримое неукротимое время понеслось вскачь, унося его за грань возможного? Его будущее, вместившееся в тот растянутый день, едва вернулся он, превратилось в прошлое, и он теперь обречён ждать того, что непременно, как он узнал, наступит, хорошо, хоть не узнал, сколько ему самому отпущено лет – разве это не метафизический кошмар, просуммировавший выпавшее узреть и впитать там, за гранью? Кошмар, дремлющий, надо думать, в каждом, но тут воочию явленный, заставивший измениться. Душа беседовала сама с собой о прежних встречах с божественными видениями, и вот он, словно звездочёт, посвящённый в будущее, уже смотрел на всё другими глазами. Он, вывернувшись, пережил своё обращение. Из кого – в кого? Кем он стал? И не скользкое ли, бликующее время прикинулось последней точкой романа? Образной точкой его собственной метаморфозы? Миг – и почувствовал, что стал другим, но как долго пришлось идти к этому поворотному мигу, не упуская все толчки, внутренние движения... метаморфоза случилась с единственной целью: вынудить его написать роман? Оскользываясь в конце романа, смотрел назад, в текст, смотрел на такие привычные вещи, но видел их в новом свете... и наново переживал утраты – наплывали голубые облака, глаза застилала голубая вибрация, бил озноб.

Вернулся, переполненный видениями, опустошённый тайным знанием, которым ни с кем не смел поделиться; сначала там таился, в чужом времени, теперь, вернувшись, таился здесь, в укрытии; да и выйдя на волю будет таиться... а пока боялся открыть глаза и увидеть большую стену с железной решёткой поверх неё.

Заскрипели ворота; лесной олень... по моему хотению... Всё громче, громче: неси, олень, меня в свою страну оленью...

Открыл глаза.

Въехал с громко включённым в кабине радио грузовик, окуталось голубым выхлопным дымом крыльцо морга под покосившимся жестяным козырьком.

Санитары выгрузили два гроба.

уловка

Так что же ему привиделось?

И кто бы ему поверил, если бы он принялся рассказывать...

Тогда-то, если бы он принялся, захлёбываясь, рассказывать, что и как обвалится, кто что скажет и в кого выстрелит, в нём бы тотчас и опознали настоящего, опасного психа, а заодно бы психиатрия резко расширила научную зону бредовых поползновений; о-о-о, много раз повторял он себе, посмеиваясь, – тогда-то, если бы он раскрылся, принудительное лечение не ограничилось бы душем «шарко», вкалыванием витаминов. После того, что увидел своими глазами, сумел узнать, жизнь изрядно обесмысливалась, из неё уходили волнения, страхи, всё то, что связано с неизвестностью. Но волнения, страхи можно было передать тексту, собственно, сочинением текста Соснин и жил. Пытался всё свалившееся на него переложить на бумагу, понимая, что поверят ему лишь в том случае, если он сумеет выдать то, что с ним действительно приключилось, то, что он на самом деле увидел, узнал, за художественные фантазии.

оксюморон по случаю

Как это у них там будет именоваться?

Флешбеки из сопливых шестидесятых... – ожила презрительная ухмылка Марата, – или, как скажут, наверное, попозже – из устало-гротескных семидесятых.

Для них, там, это будет затасканный киношный приём, а для Соснина сейчас и здесь – сама жизнь, она рядышком и вокруг него, её, тускло-грязную, но такую близкую, пока не надо освещать вспышками. За тёмными стволами, за стеной, ограждавшей закуток больничного сада, солнце подкрашивало обшарпанные фасады.

Захотел пройтись, встал.

За ним спрыгнула со скамейки кошка.

Поверх солнечных фасадов, высившихся за стеной, на противоположном берегу Пряжки, почему-то наложились окна с геранью, в окнах появились счастливые – рты до ушей – жильцы, сжимавшие в руках наполненные, с пенными шапками, пивные кружки.

Заулыбался – флешбеки из будущего?

монолог перед грубо сколоченным ящичком с прислонённым на нём к дырчатому кирпичу осколком зеркальца, утаивавшего от Соснина за слоем амальгамы громоздкий механизм обратимости времени

– Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их слились в одну. Общая мировая душа – это я... я... Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню всё, всё, всё, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь...

Монолог Заречной! – догадался Соснин; актриса уже молча шевелила губами, зубрила монолог про себя, опустив тяжёлые от туши ресницы... Связалась с провальной пьесой и – обезумела? Порвала с жизнью, приняв сценическую иллюзию за единственную реальность?

Тут она сказала тихо, изменив голос.

– Это что-то декадентское.

А-а-а, реплика Аркадиной, – догадался опять Соснин.

Потом вновь взялась читать голосом, которым наделила Заречную, и – сначала; слегка нараспев.

– Люди, львы, орлы и куропатки...

Плохо, иначе... – лицо её перекосила гримаса боли.

– Люди, львы, орлы и куропатки, – с вдохновенной заунывностью заново завела она, поводя головкой по сторонам, – рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звёзды и те, которых нельзя было видеть глазом – словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли, – проглотив слюну, – на лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно.

Соломенный завиток выпал из причёски на шею. Тонкую бледную шею охватывал байковый коричневый воротник. Тёмно-русый гладкий зачёс на затылке накрывали крашенные, выжженные перекисью пряди; как сноп.

Соснин замер за её спиной.

– Я одинока. Раз в сто лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте уныло, и никто не слышит...

И вдруг взгляды встретились в зазеркалье.

Монолог оборвался.

Она была так одинока в своём безумии, так поглощена им, а он испугнул... Густо намазанные ресницы обиженно задрожали, блеснула слеза, половинка лицевого овала с провалившейся щекой, помещавшаяся в зеркальном осколке, дёрнулась, как если бы актрису застигли в миг оголённой и нервной, но пока ещё репетиционной, не адресованной публике и посторонним соглядатаям искренности. Так и было. Он вторгся в её персональную грим-уборную под открытым небом, и она ссутулилась, словно от неожиданности свернулась в кокон, и сразу решительно распрямила байковую застиранную, в свалывшихся ворсинках спину и повела худыми разновысокими плечами; испугалась сглаза, инстинктивно попыталась отогнать нечистую силу, заявившуюся в образе Соснина?

Нет, она его не узнала...

А он узнал её, в тот самый миг узнал!

Узкие губы, мелкие прыщики у уголков рта.

Как же звали её?

Не вспомнить.

Отступил на шаг, всё ещё глядя в осколок зеркала с серебристыми ранками у кривого края. И ощутил физически – на клеточном уровне? – как время, отведённое ему судьбой время, потекло от следствий к причинам.

и что с ним (доверившимся внутреннему взору) стряслось при этом?

Клеточная его чувствительность каким-то таинственным образом была связана со зрительными нервами, хрусталиком и сетчаткой.

Соснин увидел, именно увидел, что молодеет – лента жизни, прогоняя картину за картиной, бег которых чудесно проецировался на листву, оштукатуренную стену с железной оградой, крыши и небо, самопроизвольно запустилась назад, к юности, детству. Картины торопливо озвучивались гвалтом школьных перемен, свистом, узнаваемыми детскими голосами, весен-

ними дворовыми песнями, вот лента, блеснув первозданной чёрноморской синевой, проскочила уже рождение, достигла коварного истока его судьбы.

Сердце упало, пропало.

И звук исчез, будто бы отключили.

Кино опять онемело?

Там, где Соснина ещё не было, поскольку он ещё не родился, и неизвестно было ещё, выпадет ли ему родиться, в жидком сереньком свете переломного, точнее, в канун переломного для дальнейшей его судьбы холодного дня, он увидел одетого по-домашнему, однако и при этом привычно-элегантного Илью Марковича в большой комнате с массивным эклектичным бюро красного дерева с чертами александровского ампира в углу, книжными полками, высокими венецианскими окнами, смотревшими на заснеженный, с позёмкой, канал и повисший над жёлтой ледяной проплешиной Львиный мостик, увидел у окна дядиной комнаты, у присобранной гардины, совсем молоденькую и красивую, как на старых фотографиях, мать, взволнованную, с полными слёз глазами. Илья Маркович, прохаживаясь, медленно переставляя ноги в мягких туфлях без пяток, растерянно ей что-то втолковывал, потом попытался усадить в кресло под зеленоватым сонным гобеленом с домом-пряником на пригорке, затенённом пышными кронами, девочкой в воздушном розовом платье, уже лет двести как сбегавшей с пригорка... Но мать ничего не хотела слышать, безутешно застыла, вцепившись в гардину, её немигающие набухшие слезами глаза укоризненно уставились в Соснина.

Откуда что берётся? Как объяснить это закипание творческого желания? Ведь и психоанализ расписался в своей беспомощности... Соснину почудился мотивчик покаяния, еле уловимый из-за шума листвы.

В сопровождении кошки поспешил вернуться к своей скамье.

пока он возвращался и наново собирался с мыслями

Входя в святая-святых романских пространств, ощущал сухостью гортани, покалыванием в сердце – сердце обнаруживалось так же внезапно, как пропадало – диалектику дальних и ближних художественных целей, державшую в напряжении, а то и оцепенении его прозу; физическое же ощущение соперничества ближнего и дальнего смысловых планов, которым ещё надлежало предстать планами метафорическими, обостряло, в свою очередь, чувство протяжённости и переменной глубины времени, манило в новые и новые путешествия по нему благодаря перебросам мысли.

Освоение временных пространств так захватывало, что он, быстро ли, медленно, но именно их на свой лад, до потери сознания измерял зыбкие абстрактные глубины чутким внутренним счётчиком, будто бы прикладывал рулетку к выступам и дырам материального тела.

по сути он опирался всего на четыре, для кого как,

**а для него – фундаментальных – (вопреки их зыбкости)
соображения (подкрепляя свои мысли чужими,
подслушанными ли, почерпнутыми из умных книг)**

Будто бы прикладывал рулетку... будто бы...

Право на свои воображаемые, условно-измерительные путешествия по времени, уподобленному пространству, он завоёвывал не торопясь, терпеливо, хотя любое или почти любое

человеческое действие, если вдуматься, уже заключает в себе какой-нибудь способ измерения времени, измерения не только тиканьем, круговертью стрелок или энергией батареек, не только геологическими, историческими, биологическими и прочими – хоть и атомными с их пугающими распадами и полураспадами – часами, протоколирующими ход переменных, относительных и других скрытых от глаз процессов, но и самыми обычными нашими мыслями и поступками. И пусть от разнообразия средств измерения у Соснина поначалу разбежались глаза – постепенно блеск часовых витрин, равно как и блеск рассуждений о времени, которым нынче нас подрядились слепить все уважающие себя романы, уже не мешали почти самостоятельному, во всяком случае, чуткому к противоречивым индивидуальным позывам, пониманию времени; к слову сказать, этому пониманию ничуть не помешал, скорее помог, и недавний спор в лимузине двух романистов-антиподов, истолкователей времени, они едва не подрались, толкая и весомо придавливая то слева, то справа...

Итак, всего четыре соображения.

Во-первых, Соснин – слева наваливался сухой старик-нобелевец с огненно-тёмными южными глазами и жёсткими коротко подстриженными усами – не мог не согласиться с тем, что время – это логически непостижимая, сомнительная реальность, чью родословную нельзя вывести ни из природных посылов, ни из искусственных построений разума, а поскольку те и другие божественного происхождения – хотелось верить, чтобы не впасть в отчаяние – то время, находясь вроде бы в сторонке, но по-своему земной жизнью повелевая, привносит в жизнь что-то сатанински-холодное и безжалостное, сохраняя, однако, при всём своём равнодушии к человеку, безнадежно пытающемуся его постичь, редкую притягательность.

Во-вторых, понятно было, что именно это вероломно-притягательное бездушие поработило человека. Польстившись на изначально лишённое моральной окраски время в качестве чистого инструмента познания, человек понадеялся, что инструмент сей в союзе с математикой подчинит и объяснит мир числом, хотя конечно же измерение самого времени и измерение временем – не более, чем иллюзия подчинения-управления, накидывающая на буйство мира умозрительную сеть упорядоченности с тем или иным размером ячеек, а поддержание в людях таких иллюзий позволяет времени удерживать их в узде своей безразличной власти.

В-третьих, оценивая прагматическую роль времени, как не увидеть, что, не отказываясь никогда и нигде от своей всепроникающей власти, время, тем не менее, предлагает самонадеянному, но падкому на посулы человеку ещё одну иллюзию свободы в параллельном обыденности мире искусства. Затёртые в повседневном употреблении понятия «пространство» и «время» – на Соснина навалился было справа вальяжный гордый насмешник в пижамах, но сразу же слева снова прижался фрак нобелевца – миновав фазу серьёзной философской нерасторжимости, начинают излучать магию, а производные от пространства и времени абстракции, бесконечность и вечность, не влияя на нашу жизнь практически, и вовсе делаются мощными стимулами творческой возбудимости сознания. И что интересно! – надавливал фрак – бесконечность и вечность образуют парную символическую антитезу обыденности, принципиально неизмеримые, поскольку нельзя измерить символы, они, символы эти, плоть от плоти порождения пространства и времени и поэтому, когда Соснин прикладывал в полузабытьи к каким-нибудь зыбким, но вполне обиходным глубинам свою воображаемую рулетку, он трепетал от одномоментного прикосновения мыслью сразу к двум заведомо неизмеримым магическим величинам.

Вновь наваливалась, придавливая, пижама, вновь.

Но если и сама процедура измерения обусловлена всего лишь одной из иллюзий человеческого господства над миром, необходимой для поддержания практической деятельности и порабощения самих деятелей мертвящей жестокостью нашёптываемых временем схем, если темноватая символика вечности-бесконечности, недоступная мере, возвышенно маячит в иллюзорной перспективе искусства, свободного устремляться к недостижимому и необъяснимому, то почему бы – в-четвёртых – не соблазниться очередной иллюзией и не попытаться,

пусть и превращая попытку в пытку, одухотворить языком искусства холодность и отстранённость самого времени?

Из сказанного, наверное, не трудно понять, что, принимая во внимание видимую всем, кто хочет и может видеть, причастность времени к однонаправленному – от прошлого к будущему – ходу событий, Соснин, прислушиваясь к мнениям, высказываемым то слева, то справа, соглашаясь с тем, что услышал, верил ещё и в скрытую стихийность времени, в обладание им своей внутренней реальностью, не линейной, само собой обратимой и – почему бы нет? – поэтически постижимой, и – добрая ли, злая, но воля романиста пускаться на свой страх и риск в путешествие по этой нафантазированной реальности, помещая ту или иную вещь, себя ли, выдуманных героев в бесшумный, внешне неподвижный, но дарящий непрерывность как жизни, так и роману поток.

в волнообразном потоке

Так вот: время текло, бесформенно расплывалось, колыхалось. Несла река, потряхивая на перекатах, качало море – на любое ускорение или замедление времени, на его штормы, обманчивые штили он отзывался как больной на перепады давления или температуры, менял ритм, интонацию.

Если же запастись минимальной строгостью и поймать в импульсивной непредсказуемости стихийных порывов тенденцию этих корректировок, то и при мало-мальском внимании даже тем, кто легкомысленно проскочил причуду Соснина балансировать на последней романной точке, кинулось бы в глаза, что наспех названные им для накопления опережающего контекста события и лица почему-то и не пытались попрочнее обосноваться на переднем плане истории.

События, так и не получив сколько-нибудь чётких очертаний, отодвигались, растворялись вдали. А лица и вовсе могли полнокровно жить лишь где-то далеко-далеко в воображаемой перспективе текста, пока же их, эти удалённые лица, представляли плоские фигуры опознавательных знаков – точно снятые против солнца, темнеющие тут и там в ореолах загадочной недосказанности, фигуры опережавшего текст контекста совершенно не стремились высветиться новым светом, обрести объёмность ещё до того, как их заслонят какие-нибудь другие, хотя столь же невразумительные силуэты, которым тоже суждено, едва появившись, унести в романские дали, как если бы там располагался сверхсильный магнит; очутившись внезапно на виду фигуры, словно куда-то спешившие и убоявшиеся нескромного щелчка фотокамеры, лишь успевали растерянно поморгать в объектив, блеснуть боком, гранью.

странности формируют поэтику?

Может быть, у Соснина попросту отсутствовал повествовательный дар? С чего бы он вместо того, чтобы выстраивать свою историю, выделяя актуальное и драматичное в сумятице фактов и ощущений, напротив, раздробляет её, романную историю, растворяет её частицы...

Или дар был у него какого-то особого склада?

Во всяком случае, история ли, рассказ, последовательно повествуя о вытекающих друг из друга событиях, исходят, как гласит азбука прозы, из прошедшего времени, из того, что было, а если и переносятся в будущее, то – напоминал, слегка прижимаясь, фрак – и оно, будущее, при всей своей необычности подаётся повествователем, отодвинутым ещё дальше за границу описываемого, как им самим – или кем-то – пережитое прошлое.

Соснин же, хоть и перемещаясь с завидной свободой по разновременным пространствам, не мог ни о чём рассказывать с какой-то удалённой и защищённой от текста дистанции лет и не потому не мог, что его «было», сплавившее прошлое, настоящее и будущее, пока что не отстоялось, не схватилось. Напомним, это всеобъемлющее «было», мельком заглянув июльским днём в будущее, усомнилось и в исходной достоверности прошлого. Всеобъемлющее «было» вмешивалось в «сейчас», «здесь», пучилось в голове, сердце, усиливая тревожный азарт создания.

Рабочий метод заключался в раздвоении людей, предметов, явлений.

Раздваивая, разводя спорящие, разнозаряженные, как анод и катод, полюса-половинки на воображаемые жизненные удаления, Соснин получал поля напряжённых взаимодействий, вбрасывал их напряжения внутрь сложных и желанных ему единств и, перестраивая их составные части, доискивался по ходу мысленных сборок чего-то нового, самого подчас ошарашивающего. Но в первую очередь он сам раздроблял себя на части-особи, чтобы разыгрывать спектакли с участием одновременно родственных и чужих ему персонажей; впрочем, даже те, кого он дразнил, над кем издевался, были им тоже; один бог был зрителем невидимых тех спектаклей.

Редкие же герои, те, что из мяса и костей, те, о которых он не мог не мечтать, едва материализовавшись вопреки ли, благодаря прихотливой его методе, тоже растерянно моргали, ощутив и себя фигурами опережающего контекста. А, пооткрывав ненароком рты, раньше времени сболтнув лишнего, они безжалостно устранялись, будто бесполезные звенья в художественной эволюции. Устранялись не на совсем, пока, все они словно присутствовали при всём при том, где-то под рукой с пером, то бишь – с шариковой авторучкой, хотя присутствовали лишь в бесплотном будущем текста, безуспешно теснили там традиционно-самовластную авторскую позицию и, сбившись в кучу, вопросительно-смущённо посматривали оттуда, а сам автор, ещё не зная что с его героями – и неожиданно-конкретными, и расплывчатыми – станет дальше, своим незнанием не очень-то тяготился и бездумно заслонял действующих, точнее – бездействующих, как, собственно, и сам автор, лиц толчеей мыслей, ощущений, похоже, отлично обходившихся без обязательных для правильной прозы характеров в костюмах и платьях.

смущённые герои собрались на читку воображаемого романа?

Забудем временно о посягательствах на истолкования культуры. Представим себе, что романист – всего-навсего инсценировщик жизни, а по совместительству – ещё и интерпретатор-манипулятор; почему нет?

А герои – ещё не выучили роли. Подобранные, но не понимающие пока, что будут играть актёры, актрисы... вот они, все-все, главные герои, любовники и любовницы, характерные герои второго, третьего планов рассаживаются.

Нет, на всех не хватает стульев.

Их много, очень много... принесли табуретки, кто-то сел на пол. Наконец, утомонились, все – внимание.

Но как воплотить столь грандиозный замысел? Всех их, поедающих глазами романиста-инсценировщика, надо наделить психологией, задать каждому достоверный рисунок поведения.

А он, пригласивший своих героев на читку... будущего, их будущего, смущён куда больше, чем они, ему страшно за них, страшно до дрожи. Но о чём он сможет им рассказать, – понемногу успокаиваясь, думает он, – где реплики, где слова?

Что они будут играть без слов?

Рассмеялся – пригласил на читку своего текста без слов?

Всё ещё смеясь, он, однако, забывает о себе, как инсценировщике им самим высмотренной и придуманной жизни, вспоминает об образе приглашённого интерпретатора-манипулятора, натягивает кожаный пиджак режиссёра... смотрится в зеркало... как непривычен ему, как нелепо сидит на нём этот, с чужого плеча, пиджак.

И сразу, забыв о своём не написанном тексте, о пантомимическом провале, в который вылилась для него бессловесная читка, переносится в условный, столько раз наблюдавшийся им в настоящем театре конец, в успешный и на зависть счастливый конец творческих режиссёрских мук.

ещё одна ролевая маска, которую (отвлечения и смеха ради) примеряет Соснин

Исполнители кланяются, выбегая с горящими очами на авансцену, подбирают брошенные из зала цветы, передаривают друг другу букетики, опять кланяются. Пропускают вперёд главных любовников, те великодушно протягивают руки статистам.

И уже все они выбегают кланяться слитной цепью, благоговейно замирающей на краю оркестровой ямы: усталая большеротая улыбка воскресшей Джульетты, длинноногой, в плиссированной миниюбке; у пышущего жаром, будто и не умиравшего, прижимающего к вспухшей груди гитару Ромео чешется лысина под париком... рядом заведённо кланяется, укрощая колыхания огненно-красного плаща, только-только пронзённый шпагой мстительного бузотёра чернобровый Тибальд с оплавленными щеками. И вдруг цепь распадается, героини-актёры, героини-актрисы, все Монтекки и Капулетти принимаются согласно аплодировать, как по команде повернув восторженные лица к директорской ложе, где начинается суматоха, потом они, продолжая ритмично бить в ладоши, смотрят уже в кулису, будто оттуда ждут явления Бога, а вот и он – Он! – ничем не примечательный – разве что пижонским кожаным пиджаком – человек, он, сам творец и отважный препарат-истолкователь чужих творений, восстанавливающий связь времён, уже в центре шеренги между Джульеттой и Ромео; восстановлено и единство пёстрой костюмированной цепи, зал рукоплещет чудеснику-режиссёру.

В самом деле, не вызывать же автора. Где он, ау-у? Ему досталось веками в гробу пере-врачиваться...

Соснин сладко потянулся; как там, делу – время, потехе – час?

признания (между делом)

Конечно, в копилке опережающего контекста, возгоняющего из цельной истории атомизированную предысторию, кое-что уже появилось.

Но и вопросы до сих пор не отпали.

Контекст неотделим от текста?

А если отделить и... – припомнилась самиздатовская статья Валерки Бухтина «Контекст как текст». Увы, Валерка сидел в кутузке без шансов вскорости выйти, иначе бы Соснин подкинул ему, пока не зачисленному правозащитниками в узники совести, но давно уже – подпольному мэтру прогностического литературоведения, этакой шокирующей протухших филологов мифической дисциплины, им же изобретённой, чтобы, фонтанируя идеями, как угодно далеко заглядывать в будущее романного жанра. Чем дальше заглядывать, тем безответственнее? Так вот, сбавим темп: Соснин готов был подкинуть Валерке, возможно, что и не подкинуть, попросту вернуть ему, слегка лишь на свой лад, с учётом своего нового опыта переиначив... – да, смиренно, благодарно вернуть, ибо фонтаны Валеркиного красноречия многократно оро-

шали суховатое мышление Соснина, кстати, и недавно совсем в «Европейской», за «Судаком Орли» под отборный коньячок, Валерка такого о перспективах романного жанра наговорил, – так вот, в памяти ли, фантазии проклюнулась острая – обоюдоострая? – идея, которая вполне сгодилась бы для очередной отважной статьи Валерки, и название для неё, такой статьи, можно было б предложить в Валеркином духе, название, вписанное в его фирменный трафарет – «Замысел романа как роман», недурно, а? Так вот, так вот, если текста нет пока, так, первичная подборка-раскладка словесной смальты, зыбкая, не схватившаяся ещё мозаика слов, а контекст берedit уже, берёт за душу? Вот задача!

Поэтому-то и контекст – спереди, на переднем плане, а лица, фигуры – сзади.

«Опережающий контекст как текст»?

«Замысел романа как роман»?

Недурно!

Пока Соснин, которого внутренний мир героев занимал куда меньше, чем внутренний мир искусства, ставит и формулирует свои нестандартные задачи, заметим, однако, что и сам-то опережающий контекст, как понимающие с полуслова, наверное, давно уже догадались, был не самоцелью, а одним из зондирующих неизвестность инструментов сознания, как впрочем, и распри между обязательным и необязательным, между мыслью и словом, тогда как верховодили подсобной поисково-зондирующей системой, ощупывающей на манер слепого что-то огромное и бесформенное, – лучше поздно признаться, чем никогда – зрительные образы.

куда уводили и к чему приводили разнонаправленные художественные устремления

Посылая начальные импульсы, возбуждая, воспаляя мозг, раздувая огонь отнюдь не схоластических споров, зрительные образы добивались глубины словесных картин, затягивая тем самым их написание. Но и сами-то зрительные образы спешили, уносясь в даль, их, как и мысли о них, тоже было не удержать; тщетно пробуя угнаться за ними, Соснин множил эскизы, дробил на варианты и подварианты цельную и единственную натуру, бывало, не стыдился осрамить монументальность торопливым акварельным затёком.

Противоречие?

Берёте на карандаш?

И нет ли противоречия в том ещё, что после доказательств всеислия случайных слов, словечек, провоцировавших кутерьму мыслей, выяснилось вдруг, между делом, что расталкивает сонное сознание и толкает мысль вперёд зрительный образ?

Нет. Нет тут никаких противоречий, тем паче – антагонистических, которые нам так привычно искоренять.

Всего-то смыкались крайности.

Слово, словечко толкали к образу, а зрительный образ, бывало, что и пустяковое зрительное впечатление, в свою очередь подталкивали мысль к желанному слову, ну а вперёд ли, назад толкали, разве установишь, не сходя с круга?

Да уж, строгую последовательность художественного поиска Соснина можно прочер-тить лишь оттачивая иронию: явления и предметы, боящиеся однозначных определений, прихотливо группируются вокруг центрального события – ночного обрушения – в озадачивающую воображение картину, её, картины, рваные детали, фрагменты, доверившись мыслям, которые подталкивались случайными ли словами, пустяковыми зрительными впечатлениями, наново перекомпоновывались в духе деконструкции в совсем уж прихотливую – с пробоинами и деформациями – целостность, дразнящую головоломками, подначивающую путешествовать по времени, чтобы искать глубинные связи между явлениями, предметами, найдя,

тянуть за связи, как за снасти, чтобы выуживать в сознание из пучин подсознания образы, а уж затем, устремляясь в даль...

Но можно и умерить иронию, перепрыгнуть через мучительные внутренние труды души и сознания, сама попытка изложения сути которых выглядит столь опрометчивой и нелепой, – можно договориться, что романная даль, хотя путь к ней извилист, а временами до тошноты головокружителен, лежит где-то через сколько-то страниц готового текста, там, где последнее слово, последняя точка. Туда же, к условной точке-магниту, тянутся символические силовые линии, которые прутиком чертятся на дорожке, и рука с пером, то бишь с шариковой авторучкою, сама туда тянется, хотя Соснин может думать и о другом, о том, что довелось увидеть – зрительные образы теребят мысли, чувства, помогают нащупывать форму, искать слова и в тот же миг и образы, и мысли, и чувства несутся куда угодно, без усталости раздвигают податливое пространство романа, и роман, ещё не собравшись, разлетается во все стороны сразу, как волнение сочинителя, но не теряет цельности и организованности, как не теряет их, разлетаясь и расширяясь, наша с вами вселенная. И как разлетающийся роман остановить, как его ограничить сжатым и точным словом, когда то, что привиделось, не позволяет ограничить волнение?

И то правда.

Разве не внутренними конфликтами бедолаги-художника живо искусство?

Соснин, к примеру, раздражающие его конфликты, душевные ли, конфликты средств выражения, прежде всего, конфликты между видимым и запечатлённым – чаще, никак не запечатлеваемым! – попросту выпускал наружу, на страницы своей тетрадки, смело усугубляя хаотичность будущего романа; от умения извлекать из своих трудностей материал для письма, он, наверное, и мог в минуты нешуточного напряжения казаться умиротворённым до сладкой зевоты бестолковостью птичьего гомона и розовато-палевыми плодами юга. Не случайно же Соснин недолюбливал художников божьей милостью, щёлкающих соловьями без умолку и без болевого усилия, и не променял бы поэтому свои трудные отношения со словом, обусловленные во многом наблюдательностью, зоркостью через край, ни на какую бойкость пера. А раз так, то был ли резон пенять глазам, что они наперёд не поинтересовались хорошо ли, плохо подвешен язык?

всё ещё пытаюсь сориентироваться

Та же ночная сборка упавшего дома, которая оттолкнулась от зрительного образа и, несомненно, к полифонической образности устремлялась, стала в романно-временной протяжённости не метафорой художественного синтеза, не шпилькой научной вере в чудо анализа или неверию в обратимость времени, не намёком на зеркальность процессов антимира, уподобляемых горячими головами процессам сознания, созидающим мир искусства, и уж само собой, как это ни прискорбно для выражения гражданского лица Соснина, сборка, если помните, состоялась не по причине его благородного побуждения безвозмездно восстановить материальные ценности.

Нет-нет, у нас хватит терпения надавливать, пока не уложится: сборка стала всего лишь возвышающим шагом к дальней цели, всего-то-навсего робким взглядом в сторону образности, её ожиданием и если угодно попользоваться ходким в рафинированных учёных кругах словечком, – её маркером.

В сторону образности, в сторону волнующих ожиданий, связанных с временной обратимостью.

Это ведь до удивления похоже на то, как посматривал Соснин тупо, не понимая ещё, что его ждёт, в щёлку между резиновой обкладкой окошка и шторкой – шторка покорно покачивалась туда-сюда, туда-сюда – и увидел красно-бурую кирпичную стену над взъерошенной

жимолостью, задрожали отражения стволов, и до блеска зашлифованный шинами деревянный настил моста, спеша вытрясти предчувствием душу, побежал быстро-быстро назад из-под колёс и понятно сразу стало куда везут, понятно, что там всё, что угодно, сможет случиться.

как взвихрились элементарные частицы образности

Припекало всё сильнее, Соснин клевал носом.

Услышанное краем уха, просто-таки сдуру когда-то нафантазированное сталкивалось с обдуманым, картины, которые он, пока не сморил сон, пробовал рассортировать, расположить в ряд, слипались изображениями, и глаза слипались, а образы, как настойчиво постукивало в виске, могли выкристаллизироваться только в сложном растворе, хотя и не уразуметь было чего больше в нём – очищающего или наносного.

И потому взметнувшимся панелям ничто не мешало вспугнуть стаю перелетающих из ночи в ночь вещей, не гнушающихся падали птиц, похожих на безобразно больших ворон, которые задолго до полуночи кружились над гиблым местом, чтобы накаркать беду, а теперь, обнаружив скорую обратную сборку, тяжело взмахивали бы зубчатыми чёрными крыльями и, обиженно клекоча, удалялись бы к тайным своим гнездовьям, тогда как жильцы соседних пятиэтажек, разбуженные рёвом падения, расплющившие носы о стёкла, приняли бы воздушную акробатику стройдеталей вовсе не за компановочное баловство сочинителя, а за обрывок увиденного с перепоя нелепого сна, их почти успокоили бы деловитость электросварки, жидкое жёлтенькое излучение стеклянного домика крановщицы, но возбуждённые не ко времени уколом острого ощущения, они всё же ругнули бы в сердцах проревевший не свет, не заря над мирными крышами шальной самолёт, зашлёпали бы по линолеуму к неостывшим ещё постелям и, прежде, чем выдавить из диван-кроватей тяжёлые вздохи, их мятые фигуры пересекали бы блеск комодов, как привидения, а одинокий таксист, столкнувшись с невообразимым, решил бы бежать поскорей и подальше от греха лжесвидетельства, пустился бы, поддав газу, пересчитывать зелёным глазком щели в заборе...

Да-а-а, современный человек побаивается образности, он здраво мыслит, его и занимательным-то обманом не всегда проведёшь.

Между тем и не подозревая о чудесном возрождении наскоро похороненной в графе убытков и непредвиденных потерь крупнопанельной башни, с минуты на минуту должны были промчаться через спящий город с воем сирен и синим миганием специальные автомобили, за ними с солидной плавностью подкатили бы чёрные лаковые «Волги» с кроваво-красным нутром и белыми занавесками, а встречающие подобострастно кинулись бы по грязи распахивать дверцы, вот-вот должны были вспыхнуть и мощные прожектора, оперативно доставленные с тонущей в сыром мраке знаменитой пустынной площади, где они ночь за ночью исправно подсвечивали барочный изумрудно-белый дворец. И пора было затарахтеть, зафырчать могучим, как танки, бульдозерам, экскаваторам, но пока что Соснин откинулся на спинку скамьи, машинально поглаживал кошку, и пока она распухала от удовольствия в большущую ленивую рысь с кисточками на ушах, можно было вволю пофантазировать какая бы воцарилась паника, если бы пожирающую несметные тонны и киловатты технику пригнали бы по ложной тревоге и пришлось бы нелицеприятно выяснять, чтобы доложить в Смольный, кто первым допустил особенно раздражающую в столь поздний час оплошность, поднял, не протерев глаз, переполох, спешно сообщив куда следует, а те уж дальше, наверх и незамедлительно по чрезвычайной высокочастотной связи, поднимающей кого надо не обязательно с дежурства в казённом месте, но и с ложа, хоть городского, хоть дачного, разыскивающей в гостях, в машине, за ломящимся столом банкетного кабинета, и виновники бы ложного переполоха конфузливо переглядывались, валили бы друг на друга, все вместе – на испорченный телефон и ночной туман, ухудшив-

ший видимость, а Соснин, быстро вырастая в своих глазах, скромненько стоял бы в сторонке от наново им собранной и продолжающей собираться наново и иначе башни, в сторонке, куда никому и в голову не пришло бы направить прожекторный луч, чтобы обратить взоры на подлинного героя, ну а башенный дом высился бы его стараниями целый и невредимый или – возрождённый пока на три четверти или наполовину, да ещё – спасибо новациям деконструкции, коробящим жаждущий гармонии глаз, – с композиционно найденными дырами и разрывами, в динамичном обрамлении так и не долетевших ещё до проектных положений, так и не склеившихся в чёткие прямоугольники панелей обломков.

что-то не складывается?

Да, в этой трагикомической фазе мысленного эксперимента не худо, наверное, остановиться. Ведь если бы Соснин, эксплуатируя образные взвихрения, которые заигрывались с принципом обратимости, действительно вздумал выслужиться, прикинув недурной вариант разжиться премией или должностью за неурочную сборку, он тут же поставил бы крест на своих художествах.

В том-то и фокус!

Какой там ураган, какой пожар!

Слухи были бы задушены в зародыше, комиссию бы не создали, уголовное дело не возбудили.

А трещины в домах-угрозах замазали потихоньку, чтобы без помех справлять юбилей, бесценные фото и дневники истлели бы, так и не попав к Соснину, и он бы невзрачно продолжал жить, как жил раньше, и эта скамейка бы пустовала или кто-то другой, своими безумствами одержимый, плыл бы на ней сквозь ропоты больничного сада, и всё-всё-всё было бы не так, как задумывалось, сцепления бы рассыпались. Даже неутомимый Остап Степанович блеснул бы очками по какому-нибудь другому поводу, хотя тоже особо важному, и при любых обстоятельствах правонарушения фанатично отстаивал бы питающую законность научную истину, а уж отпускник-таксист смягчал бы солнечные ожоги на плечах и спине вазелином или мацони и преспокойно догуливал по профсоюзной путёвке отпуск, попивая чачу в пурпурной тишине закатного часа, а поутру, когда расплавленный диск выкатывается из-за гор, отводил бы душу в азартных лодочных погонях за косяками ставриды, огибающей по весне Зелёный мыс, чтобы в поисках корма для мальков подойти близко-близко к Кобулетти, к знаменитым на весь мир пляжам из розовой, одна к одной, гальки.

И о чём тогда, – пусть не «о чём», пусть «что» – если бы в итоге ничего не случилось с башней, если бы все сделали вид, что ничего и не рушилось, Соснин бы мог написать?

Тем более, что он и сам усмеялся – упал, обрушившись, поставленный на попа брусок, потом – встал, наново собравшись, брусок... зачем было ввязываться?

– А я еду, а я еду за туманом... – дежурный толкал к хозяйственному двору тележку с позвякивавшими пустыми кухонными бачками; скоро ужин.

для недогадливых

Сборка служила подвижным образным фоном; одновременно с вроде бы необязательной сборкой, которая чуть ли не спонтанно затеялась на краю сознания, Соснин, фиксируя попутные интуитивные открытия – как опять не вспомнить о деконструкции? – умудрялся видеть много всего другого; рассматривал, пересматривал...

эффекты и аффекты параллельного видения

Это похоже было на то, как его привезли, провели по коридору – пока вели, он переполнялся энергией, мечтами-желаниями – и шёл, легко шёл, казалось, бежал, летел на выросших крыльях, потом щёлкнула замком последняя дверь. В забранном решёткой окне палаты простиралась до придавленного маревом горизонта ломкая ржавчина крыш, ветерок серебрил тополя, засмотревшиеся в гофрированную протоку, пятна куриной слепоты догорали у нагих стен, а там, за брандмауэрами, подступавшими к Пряжке, за крышами, куполом, склеивались в панораму рустованные дворцы с арочными окнами, белоколонными портиками, а на фоне декоративного, возбуждающего великолепия Соснин почему-то мог увидеть себя, заплаканного, с вымазанными зелёнкой коленками, деда, утешавшего его, молодых отца с матерью, нудно выясняющих отношения, думая, что он спит...

Вся Коломна лежала как на ладони; дома напозлали один на другой, их проекции наслаивались, спрессовывались в сгусток невыразимой плотности, будто монолит с торчавшими тут и там пучками деревьев нигде не рассекали улицы, реки. Закутавшись в тюль на балконе деда, над маслянистой Мойкой, можно было в который раз осмотреться... Там, над крышами, если глянуть вверх по течению Мойки, красовался Исаакий, а там, если обернуться, среди прочно сшитых заплаток крыш, чуть отпоротившийся рыжеватый лоскуток, да это же дом напротив мостика! – трёхгранный эркер пробивает карниз острой башенкой, с балкончика стекает плющ, вон там, чуть правее – пухлые грязноватые фасады выстроились вдоль узкого прямого канала, слева – чёрный, как заношенная галоша, буксир с канареечно-жёлтой рубкой, грузные, тускло поблескивающие старой жестью резервуары, заборы, трубы.

Редкостное собрание унылых пёстрых несообразностей!

Здесь хитрыми клиньями сходились разные городские пространства. Их затейливо искривляли набережные, неожиданно пронзали улицы, несколько шагов и ты – в другом мире. Романтический край города с лопухами, грубым холстом брандмауэров, медлительной мутной водой, обсаженной лохматыми тополями. И тут же блистал сине-белый, со вспышками позолоты, Никола Морской, грузно-полнотелый, зеленоватый, из-за домов-замухрышек высывался оперный театр, и перспективы заслонялись или проваливались, едва возникнув, разбегались по сторонам, теребя боковое зрение, требуя уклониться, а наслоения неприглядных стен увенчивались иглою, куполом, сверкавшими в сетке ветвей. И ощупывая перекрёстными взглядами мешанину камня, воды, листвы, Соснин чувствовал каждый раз это строптивное единство своим; своевольно разрезал на картины, расставлял их, переставлял, чтобы затем наново их сомкнуть, склеить в какую-то главную, хотя неведомую пока картину. И опять смотрел, смотрел, замороженный, на покосившиеся заборы, мостки, настилы причалов под изломами серых, охристых, коричневых силуэтов.

Поблескивающая пробежка ветра.

Резкий блеск свежеоцинкованного ската меж прохудившихся шляп соседей.

И тянется к солнцу, и тонет в тенях мрачноватый коллаж башенок, полуколонн и пилястр, балконов, но вдруг – прорывы до земли, воды пахнувшего морем, скошенной травой и бензином воздуха, медленное перемещение мачт, чёрные баржи нехотя просовывают носы между стволами, где-то сзади, судя по металлическому скрежету, поводят в небе головками на решётчатых шеях сизые монстры, вскарабкавшиеся на исполинские табуретки.

Казалось, вся жизнь уместилась в этом окне, волшебном заменившем тысячи окон, вся-вся спрессовалась, как спрессовался город, дабы окантоваться старой, изъеденной жучком рамой с заросшими масляными белилами петлями и шпингалетами. И Соснин в какие-то доли секунды наводил на резкость детали прошлого, будто на сеансе ясновидения оценивал места,

назначенные им, деталям тем, в композиции вещи, промелькнувшей, когда его вели по коридору, как освещённое молнией сооружение, и только потом, в солнечном саду – скамейку в кустах сирени тоже из окна заметил – его начали обволакивать тьма, туманы и пр. – начался тягучий и тягостный, авантюрный, полный сюрпризов поиск, который и от призрачного композиционного сооружения мог не оставить камня на камне.

не до баловства

Непыльная работёнка – сидеть на скамье в саду дурдома, дистанционно дирижировать полётом панелей. Мог раньше, позже за эту работёнку приняться – план ведь не подгонял. Но повремени он со сборкой хотя бы часок-другой его бы затея сдулась, он прозевал бы... куда там! – автомашины, бульдозеры и прожектора стремительно появились на месте катастрофы не ради нашей с вами забавы.

Уже через час после обрушения башни из Смольного через оперативного дежурного приказали ликвидировать к утру все видимые следы случившегося.

Приказ отдали не просто так, не для освещения ночи вспышкой трудового энтузиазма, а по комплексным соображениям государственной важности – вполне достаточно напомнить, что руинное безобразие под окнами поликлиники и жилых домов, выглядело бы в юбилейный год, по сути, накануне гордого всенародного торжества, особенно оскорбительно, нетерпимо, а тут ещё член политбюро, престарелый идеолог партии, наутро прибывал из столицы на предвыборную встречу с передовиками славного завода-гиганта оборонного профиля, омрачать утро болезненно-вспыльчивого идеолога смолянам было б себе дороже, и потому дело в лучах прожекторов закипело: обломки, если не запамятовали, вывозились на загородные свалки, вывозились так быстро, что стоило бы слегка замешкаться, как собирать дом было бы не из чего – да-да, совершенно верно, даже лабораторных проб, необходимых для вдумчивого измерения материальной усталости, и приведшей по всей вероятности к катастрофе, взять не успели. В запарке той «стройки коммунизма наоборот» – так окрестил ночной аврал, внимая рассказам Соснина, Шанский – кто бы мог похвастать предусмотрительностью?

нашлось место для подвига

Владилена Тимофеевича Филозова выдернули из задорно скачущей цепи летки-енки, из уютно-респектабельного ресторана «Европейской», где раскованное веселье близилось к кульминации; выдернули и привезли на страшное место.

Молодцевато справившись со сменой обстановки, он не побоялся испачкать обувь австрийского производства, смело распахнул модно укороченный дублёный полушубочек с курчавым нутром и, заломив пыжик, бросился было возглавлять расчистку завалов, к которой только что приступили, но подкатили лица поважнее Филозова, и он, хотя ёкнуло горячее сердце, достойно уступил командную высоту, не стусевался, а чётко, не входя в вероятные статические подробности, доложил и, удостоившись поощрительного кивка, больше уже передышки не знал и первых рядов не покидал. По-спортивному – а он, между прочим, слыл, да и был на самом деле отчаянно-отважным, хладнокровным спортсменом, капитаном быстрой, как шквал, красавицы-яхты... – так вот, по-спортивному легко он вскакивал на высокие подножки гигантов-самосвалов, которые буксовали в нетерпеливо дрожавшей включёнными моторами очереди к огромному, пылавшему оранжевым пламенем, подожжённом прожекторами экскаватору, исторгавшему при жадных вгрызаниях зубастым ковшом в гору обломков львиные рыки. То теряясь в зловонных клубах, то высвечиваясь во весь рост или тор-

сом, Владилен Тимофеевич торопил, торопил, вскидывая руку в жесте полководца, напутствующего войско, сжимая при этом в руке лайковую перчатку, как если бы готов был в решающий момент бросить вызов трагическим обстоятельствам, а когда кто-нибудь из водителей лез от нетерпения на рожон, Владилен Тимофеевич, набычившись, преграждал путь самосвалу, резко выбрасывая к огнедышащему радиатору всесильную конечность с растопыренной пятернёй.

Если бы он мог себя увидеть со стороны!

– Давай, давай! – покрикивал, пританцовывая на рифлёной подножке, Владилен Тимофеевич, и его аквамаринное, в бледно-голубую полоску шёлковое кашне полоскалось в луче, реяло трогающим морскую душу выпелом праздничного расцветивания, а Филозов, неугомонный, втискивался затем по пояс в окно кабины так, что ноги в остроносых вечерних туфлях забавно болтались в воздухе. Не имея к сожалению при себе капитанского мегафона, с помощью которого он обычно отдавал парусные команды и приветствовал встречные корабли, он не мог перекричать грохот могучей техники, но не складывал ладони рупором, остроумно побеждал вынужденную труднопереносимую немоту знаками из пальцев и мимики, показывая водителю, что кровь из носа, но спешить надо, ох, позарез надо, иначе вот-вот острый нож приставят к горлу и тогда уже будет поздно.

примечания, не уместившиеся на полях, оборванные на полуслове

А между тем припекало.

Ох, как припекало!

Солнечную корону, будто перед затмением, распушили нестерпимо яркие всполохи. Соснин беспомощно жмурился, не догадываясь отодвинуться в тень – его совсем разморило; круги проворачивались со скрипом.

И всё же, приступив к сборке, когда ещё пылевые смерчи буравили беззвёздное небо, он свой шанс не проворонил, а поспешив с фейерверком электросварки, бросив на сугроб свет, знаменующий полное воссоздание и начало тёплого обживания малометражных коробчатых интерьеров, он, следуя инерции реализма, начал с самого простого и узнаваемого, как копия, варианта сборки, который, как ни странно, вызвал столько функциональных и морально-этических нареканий...

Ну не сумасбродство ли?

Панели, не долетевшие до проектных положений, зависшие в воздухе?

Вымученный образ чего-то незавершённого?

Что ж, незавершённость, эскизность вообще были в духе Соснина, орнаментальность же прозы всё заметней покоряла его, вовсе исключала жёсткие контуры описываемых событий – их атомы, молекулы рассеивались по воображённому тексту, но чаще неслись куда-то за мыслями, нечёткими образами – вперёд и дальше, как если бы и им, микроскопически-малым частицам того, что было, не терпелось достигнуть последней точки... И если кому-то из ещё не освоивших язык, не пожелавших, не сумевших или не успевших вчитаться в эти сухие, упрямо воспроизводящие невнятицу замысла пояснения и норовящих их, накапливающие недоумения страницы, поскорее перелистать или, пожимая плечами, заглянуть сразу в конец, дабы и там, в конце, прояснений не углядев, пожаловаться на туман, который каверзно стустился, душит, то не пускаясь утешать – дескать, новобранцу спокон века тычут в нос дымовую пашку – или неуклюже оправдываться – дескать, виноваты, если б не замутнялось сознание мешаниной, кормящей замысел, корабль, гружёный ясными готовыми содержаниями, давно бы пришвартовался – можно было бы лишь посетовать, что все мы частенько бредём в тумане

погуще этого, только боимся признаться, что ничегошеньки не видим и не понимаем в себе, вокруг.

бесстрашный, всесильный

А Соснин не боялся, ничего не боялся.

Меня направление хода времени, наново собирая из обломков и трухи дом, пускаясь во вроде бы необязательные подсобные измышления, он ощущал себя властелином мира, где мог творить всё, что заблагорассудится. Упиваясь своим всесилием, выросстал, а мир испуганно съёживался: новоявленный Гулливер тянулся к высоким сферам.

Рос он быстро-быстро, на волшебных дрожжах, и коли зашла речь о тумане, нет-нет да ложащемся на убористые страницы, то и при грубом сравнении вышло бы, что тут и там клубящиеся испарения мысли не стоили бы по густоте и клочка мокрой ветоши, которая душила Соснина, пока голова протыкала тучу – бросив далеко внизу бедлам форм, с глумливой угодливостью застывших в случайных состояниях-позах – ветер злобно шипел, обтекая раскиданный в воздухе железобетон – Соснин из-за циклонного скопления миллиардов микроскопически-мелких капелек, залепивших глаза, нос, рот и нехотя стекавших по лицу к подбородку, шее и дальше за шиворот, не мог увидеть хаос в этом редкостном ракурсе, так как вообще ничего не мог увидеть из того, чем жила земля у его подошв.

Зато он видел иссиние-чёрный, точно в новеньком планетарии, небесный купол, сиявший звёздами и полной луной.

Зато он продолжал расти, каракулевая туча уже покоилась на его плечах, чистые холодные светила притягивали ищущий взор, а прикосновения высоких материй приятно щекотали самолюбие.

Видимость была безупречной.

Купались в зеленовато-голубых лунных отсветах горные вершины, которые, проколов вместе с ним тучу, убегали за курчавый горизонт по знакомой дуге. Ближайшая вершина – до неё было рукой подать – находилась уже на уровне глаз, да-да, новый взлёт опять сулил ему шанс увидеть дальше, понять больше.

возвышенные сближения

Есть ли на белом свете что-либо более близкое между собой, чем любовь, художественное творчество и безумие? Взмахи невидимых крыльев, согласно ли, порознь поднимают нас над вязкими сонными безднами... – так, или примерно так – мог начать Соснин взмывавшие размышления; и коли под давлением обстоятельств и душевных смут взялся кропать роман, коли вознёсся, стоит проследить за неземными пируэтными его мыслями, сближавших три высоких болезни.

Да, – распаялся он, – нигде ведь не раскрывается душа полнее, чем в любви или творчестве, нигде познание и самопознание, эгоцентризм и альтруизм, добро или зло не соскальзывают со столь игривой беззаботностью в тут как тут поджидающую противоположность по таинственному – ох уж эта лента мёбиуса – вывернутому виражу. И если любви ещё будет отведено достойное место хотя бы потому, что и само-то слово роман теряет вне любовного сюжета немалую толику смысла или, точнее, семантически оскудевает, лишаясь двусмысленности, то всё же и останавливать любовные откровения придётся у границы литературных приличий. В творчество же, не менее интимное и греховное, чем любовь со всеми её духовными взлётами и плотскими падениями, не предосудительно углубляться сколько душе угодно,

рискуя, конечно, впасть в сухую и скучнейшую элитарность, но грозит такое углубление лишь потерей читателя, который в своей здоровой массе ждёт от сочинителя не путаных творческих откровений, а умения комбинировать выстрелы с поцелуями.

Однако оставим в покое здоровую массу.

Все, кому довелось испить любовный напиток, протрезвев, догадываются, что любовь – это коллапс сердца, к счастью не смертельный, нередко – оздоровительный.

Безумие – коллапс мозга, так ли, иначе нарушающий согласованную деятельность его клеток. Но это, как полагал Соснин, не безумие, интеллектуальное обнищание, глупость, умопомешательство или, если смягчить тональность, прибегнув к принятым в «уголке психиатра» формулировкам, гипертрофия субъективности, а резко индивидуальная, альтернативная, отвергающая проторенные пути ориентация разума, выбравшего, наконец, точку зрения.

Любовь, безумие пристально изучаются, научные и беллетристические книги о любви и безумии переполняют библиотеки. А что знаем мы о творческом коллапсе, поражающем и мозг, и сердце, кроме того, что муки окупаются вдохновением? Между тем, муки, вдохновение – не более, чем поэтизированные пошлости, прячущие от нас проявления отнюдь не простой болезни. Что бы не говорил утешитель-Душский, а пора признать, что томления даже практически здорового сочинителя чреватые опрометчиво обойдённой медициной патологией организма, вынужденного вбирать и переваривать огромные запасы тайной энергии прежде, чем она, энергия, найдёт художественное претворение, перетечёт в произведение. Недаром ведь абсолютно здоровые люди бывали чаще всего бездарны, а выражение «в здоровом теле – здоровый дух» лишь маскировало абсолютную бездуховность; и наоборот: творческий дар неизменно оборачивался болезнью, преимущественно – неизлечимой. От неё обычно прописывалось одно лекарство – активная жизнь. Но отвлекающее лекарство жизнелюбия только временно приглушало боль неизъяснимых томлений, раньше ли, позже, но смутный недуг опять обострялся. Чем ещё, если не расстройством соматических функций, можно объяснить то, что и в жаркие часы летнего дня Соснина при кажущейся умиротворённости пробивал жестокий озноб, тело покрывалось гусиной кожей? И отчего ему, практически здоровому, – даже запоры не мучили, его и от обязательной клизменной очистки, к разочарованию Всеволода Аркадьевича, освободили – тут же делалось душно, щёки докрасна раскалялись, будто бы их лизало пламя, глаза лихорадочно блестели, как в детстве при высокой температуре, а зрачки, только что вперившиеся в одну точку, начинали затравленно метаться из стороны в сторону, не находя на чём бы остановиться? И почему-то он, вполне рассудочный, писал почти что полностью освобождаясь от логики: когда бросает то в жар, то в холод голова плавится и сморозить можно всё, что угодно. А разве нормально, что он вдруг чувствовал себя переполненным, словно его распирала, давила изнутри опухоль; сколько воспоминаний в нём умещалось! – они пучились, казалось, он уже весь состоял из них, воспоминаний, подменивших собою ткани, нервные клетки, да ещё к воспоминаниям добавлялись корректирующие их, бликующие образы будущего, которое превратилось в прошлое. Но вскоре делалось пусто-пусто, как если бы его высосала глиста. Глаза тускнели, опять упирались в точку. Исчезал аппетит. Больничные супы, паровые котлеты, каши вызвали отвращение, хотя надо было восполнять потерю энергии, но энергия, пусть и какая-то другая энергия, в самый неожиданный момент и помимо пищевых калорий восполнялась из неиссякаемого источника. Достигался ли баланс всякий раз и как вообще жизненная энергия соотносилась с творческой Соснин не знал, с новым приливом не мог понять избыток ли творческой энергии бродит по организму или муторно от того, что энергии недодали. Ну разве не парадокс? – уповая, если не на спасение, то хотя бы на временное исцеление души творческой терапией, художник, не задумываясь, причиняет вред телу, ибо вторжение в телесную оболочку огромных энергетических потенциалов, лишь спустя срок преобразуемых – в случае удачи – в произведение, а пока суть да дело блуждающих, как мы видели, не находя выхода, по всему организму, не может не нарушить

рутинную жизненную ритмику обменов и отправлений. Симптомы – с моральными оттенками внутренней истерии... творческое возбуждение, как наобещал Душский, ищет и находит исцеляющий выход? Слова не те, не те! А вроде бы те почему-то располагались не в том порядке... один бог мог ему посочувствовать – уши внешне-беспричинно горели, делалось стыдно-стыдно, будто бы за старые грешки на людях дали пощёчину. И ещё делалось до слёз обидно, будто ни за что, ни про что исхлестали крапивой, хотя само собой никто не давал пощёчины, не хлестал, а колобродила творческая энергия, булькала, бурчала что-то невнятно-многозначительное под покаянный мотивчик умственно-чувственного распутья, который предваряет направленное художественное усилие – ориентирующее и устремляющее, сливая воедино одержимости любовника и безумца. Да-да, любовника, ибо творчество, как известно, есть сублимированный любовный порыв. Но это же и порыв безумца, которого не усмирить грубоотканной рубашкой с пустыми рукавами-завязками, инсулиновыми уколами и таблетками – безумие, подлинное безумие, хотя и под образной маской, выскальзывая из-под надзора психотерапевтов, пропитывает и любовь, и творчество. И если безумная любовь теперь встречается редко, очень редко, то безумие открыто покоряет сферу искусства.

понаблюдаем за бродящим калейдоскопом (сознание как пространство времени)

Не посягая на постижение психической глубины сознания, в которой вынашиваются навязчивые идеи, Соснин уподоблял его поверхностные переливы бездумно-затейливой калейдоскопичности предметов, картин, лиц, снов... всё, что душе угодно, всё, что спешим уразуметь, заподозрить, отринуть во внешнем мире, сталкивается, крошится, перемешивается, процеживается, снова взбалтывается в мире внутреннем, отражённом зеркалами сознания, и, не успев отстояться, несётся дальше прихотливым потоком.

Куда – дальше, куда несётся?

На этот резонный вопрос Соснин долго опасался искать ответ, полагая, что у сознания, как, к примеру, у времени, нет явленной для нас цели.

Бег времени... Откуда? Куда?

Поток сознания... зачем и куда струится? Какую твердь размывает?

Не грозит ли, – сокрушался Соснин, – расхожая метафоричность пустословием штампов? Ладно, пусть сознание никуда не несётся, пусть, похваляясь неотразимой переливчатостью, рассеивая внимание неистовым метаморфизмом и пр. и пр. пенится себе для отвода глаз, бестолково журчит, но ведь и захлестывает исподтишка колдовским трансом круги духовных усилий, непрестанно преобразует сочетания частиц в нечто новое, подчас пугающе-несуразное.

Полно: что за резон исследовать калейдоскоп, пытаюсь классифицировать равноправные осколки по цветам и конфигурациям? И что для нас картины сознания? – сутолока осколков-образов? Сутолока частиц куда-то устремлённой, но цельно-раздробленной панорамы?

Бродильный чан... он же – калейдоскоп, перелитый в пресловутый поток?

Всматривался снова и снова в узорчатые, хаотические перегруппировки калейдоскопа, пока не окунался затверделой мыслью в поток, бродильный чан, ещё какие-нибудь внутренние реактивные ёмкости. Так откуда и куда бежит время? Расхожий ответ – от прошлого к будущему, ха-ха, всем всё ясно, а – где, в каком пространстве бежит? Разве мелькания, брожения – не отражают образно бег абстракции? Да, время допущено резвиться лишь в пространстве сознания: вот где его не привязанное к координатам и ориентирам прибежище, вот где оно вольно бежать по прямой ли, кругу, сферическим поверхностям любой кривизны, хотя по правде сказать траектории времени бессильна прочертить и самая изощрённая геометрия; время бежит, убегая от фиксации, свидетельствуя о том, что сознание живо.

Созидательный пафос неприкрытой деструкции поначалу отуплял скукой мельканий, длящихся вне моральных окрасок, вне какой-то системности, не стремящихся к завершённости, да ещё мелькания отличались бесталанными потугами на гротескную заострённость, гораздую к месту ли, не к месту выпячивать то комизм, то трагедийность.

Однако Соснин притерпелся, увидел: скука, смех, слёзы, хотя бы и смех сквозь слёзы, отражали лишь психо-поведенческую реакцию на спонтанную комбинаторику осколочных образов, снующих в сознании.

И догадался: исходные, элементарные частицы образности черпались из прошлого, время выступало их поставщиком, а сознание – преобразователем.

память, возбудитель и тайный ориентир сознания, его динамичной и дробной образности

Так-то, человека преследует прошлое.

Особенно, если он закоренелый пессимист: он содрогается от воспоминаний, поневоле смотрит не вперёд, а назад, навлекая на себя этим неисправимо перевёрнутым зрением одну лавину выдуманных – бывает, что и реальных – неприятностей за другой; он потерянно вздыхает, стареет, жизнь сходит на нет, а прошлое надавливает всё сильнее, назойливее, оно нагнетает, предьявляет всё новые неоплаченные счета, пока не загоняет в могилу, как в долговую яму.

Однако же и верования иных оптимистов в то, что память не судья, тем паче – не палач, а всего-навсего дотошный, слегка чудаковатый путешественник, вышедший на покой и хранящий впрок объёмистую коробку очаровательных слайдов, которые, повинувшись тайному ли, явному импульсу, можно перетасовывать и, пронзая тот ли, этот мысленным взором, как лучом волшебного фонаря, воскрешать по выбору златые дни. Однако умерим пыл. Подобные верования иных оптимистов сулят им лишь приятные заблуждения, ибо слайды – если, конечно, с их условным наличием согласиться, предпочтя тут же монтаж слайдов спонтанной сутолоке калейдоскопа, – отнюдь не схватывают раз и навсегда и один к одному коллизии прошлого; от монтажной сшибки каких-то двух слайдов, искусно имитирующих былую подлинность, но столь же искусно прячущих под её покровами нынешнюю конфликтность, могут вспыхивать в тёмных провалах сознания третий, четвёртый, пятый слайды, хотя они и в памяти-то никогда не хранились, хотя присочинённое на них неизвестно кем и зачем покоряет жгучим эффектом сегодняшнего, буквально сиюминутного присутствия в прошлом.

Впрочем, куда чаще прошлое вторгается в сознание без яркой открытости, его образы сплошь и рядом завуалированы, озадачивают исподволь – те же слайды вспыхивают не изолированно, но в наложениях; зрительный образ окутывает столько подвижных, просвечивающих одна под другой материй...

Итак, резко ли врываясь, смутно присутствуя, и независимо от того идеализируется оно или чернится, прошлое, преобразуемое сознанием, избирательно активизирует текущую жизнь, бросает внезапный свет на её узлы, меняет цвета: дни бегут, тянутся, не замечая себя, и вдруг память наводит луч.

Итак, воспоминания, сгорая от нетерпения, творят перекашиваемые злобой дня инсценировки прошлого, которое – хоть оптимистически его воспринимай, хоть пессимистически – даже мысленно не восстановимо в цельности деталей и хронологической непрерывности.

Это – фантом.

Если хотите – мираж.

Однако благодаря маниакальной закольцованности попыток вернуть то, что было – зажечь потухшие глаза, мраморно побледневшие щёки? – лучше ли, хуже, но создается худо-

жественная реальность. И именно она, новая реальность, возрождая и возвращая на славу закреплённое фиксажем искусства прошлое, пугающе намекает – прошлое что-то знало уже о будущем, возбуждая сознание, память ориентирует, направляет. Картины прошлого, несмотря на их конкретно-чувственную убедительность, а чаще – благодаря ей, могут, конечно, восприниматься надувательством тех, кто близоруко ищет в искусстве поверхностные признаки жизни, но – адресуясь другим, пытливым и дальнзорким – вполне могут озарить произведение, если оно удалось, трепетным, словно пламя свечи, светом далёкой цели, подспудно затепленным то ли сознанием, то ли временем, но разгоревшимся в порыве их преображённого в художественную реальность взаимодействия.

Разбуженное этим неверным светом воображение принимается подыгрывать вялотекущей драме идей, сомнений, сдвигает мироздание с опор, метит знакомые вещи чужими смыслами, отчего исхоженные вдоль и поперёк семантические поля действительности начинают пугать простором новых значений – Соснин, очутившись за горизонтом, заблудился в бликующем лабиринте, потерялся меж блестящих и отражавших поверхностей; чудилось, что разучился читать, что-либо понимать, да и его никто, если попадался навстречу, не мог понять, а никого из знакомцев-собеседников рядом с ним не было, если и появлялись они, то лишь на телеэкранах, и вместо привычно-тусклой знаковой толчеи его обступала, бликуя, немая пустошь, с кем перемолвиться словом, жестом? Там, за горизонтом, он был один, совсем один в скользком холодном мире, зловеще сменившем вывески, и даже мига безумного одиночества, внушённого колебаниями далёкого света, хватало за глаза, чтобы остудиться кошмаром большого времени, который пронзал «было», «есть», «будет» чувством экзистенциальной беспомощности, почти обречённости, угрожал с такой фантастической невозмутимостью, что волея-неволей любая из монтажных сшибок подвижных слайдов с головой выдавала смутно тревожившие, но полностью к нему равнодушные цели будущего.

по сути о той же тревоге, излучаемой фотографиями

Да, нечто похожее испытывал Соснин, когда всматривался в старые фото. Воспроизводя что-то из того, что было, изображение беззастенчиво отбирало это «что-то» у жизни, отделяло от неё, чтобы вернуть внутренне перерождённым в замкнуто-растянутом моменте позирования, который наглядно выявлял – обычно и привычно маскируемые музыкой и литературой по причине их последовательного развёртывания – парадоксальную многослойность времени.

Где нынче резные листочки узловатого платана на Ялтинской набережной?

Их, трепетно-живых, мы разглядываем или – давным-давно снятую с них с помощью плёнки и хлористого серебра посмертную маску?

Как не крути, не верти – всего лишь равновнимательно и светоэмульсионно запечатлённая когда-то натура; прямоугольник тонкого картона, сепия. Почему же так преображается позднейшим восприятием это когда-то? Почему то, что мы видим, так завораживает сквозь символическую завесу лет, словно специально сотканную сейчас сознанием? Да, то, что на фотоизображении – было: минуло, умерло, быльём поросло. Но вот же оно заново рождается, набирая резкость и неподдельность в туманных розовых колебаниях ванночки с проявителем.

Это же – есть, будет.

Что – будет? Смерть, которую пережили?

А не символизирует ли сам щелчок фотозатвора, как и щелчок курка, – смерть?

– Птичка вылетит, Илюша, смотри, смотри сюда, птичка отсюда вылетит! – кричал Сеня Ровнер, прицеливаясь, строя страшные рожи. А вот Сеня, балагурия, изловчился, взял в кадр деда и – выстрелил; убил мгновение?

Почему у деда на фото такой испуганно-виноватый вид?

Он на террасе, провалился в ветхое, с отломанным подлокотником кресло; толстые алебастровые балясины в пятнах солнца, абрикосы на ветке. Но дед чем-то напуган... в руках раскрытая книга со страницей, приподнятой ветерком. Лысая яйцевидная голова втянута в плечи и чуть наклонена, и какие-то обречённые, как при взгляде в дуло, глаза, жалкая перекосившаяся улыбка недосказанности – он что-то предчувствовал, да пожалуй и знал, знал уже, хотел предупредить, но не успевал... и не мог! – на фото проявился предсмертный ужас.

Завеса лет проявляла главное?

перенос ужаса

Как тут было не испытать кошмар всеобщих смещений, ужас экзистенциальной растерянности, не впасть хотя бы ненадолго, всего на дольку секунды, растянутую большой фантазией, в безумие незащитного одиночества.

Вырезая статичные кадры – станковая картина, та самая, чья сгущённая образность не отпускала глаз и внутри которой, затем и за которой он по милости Художника очутился, не сравнивалась ли им теперь с такими вещими кадрами, полными пугающей недосказанности? – так вот, вырезая статичные кадры-слайды из необратимо развёртывающейся ленты событий, всматриваясь в остановленное каждым изображением время, спрессовавшим разные времена, закольцовывая время воспринимавшим ответным чувством, Соснин уже не сомневался в том, что искусству, норовящему в высших своих порывах заглядывать за видимое, очевидное, ведома взаимная проницаемость прошлого, настоящего и будущего.

И уже не оставалось сомнений в том, что компоновала слайды ли, кадры, задавая их монтаж, взаимные наложения, не только текущая, но и грядущая жизнь, та жизнь, которая будет длиться после того как погаснет индивидуальное сознание, да-да, в творческом напряжении сознание способно заглянуть за... И как же далеко мог видеть пробивший головою тучу Соснин! А чем дальше видел, тем острее ощущал зачатую в сутолоке сознания и поощрённую временем двойную устремлённость воображаемого романа, чьи лейтмотивы влекли куда-то дальше, дальше, к зыбкой невыразимой границе ужаса – переступал её, но не знал сумеет ли перевести в слово увиденное – хотя оставаясь преданными кормящей направляющей памяти, те же романские лейтмотивы намекали не без ехидства, что глупо было ждать от будущего того, чего бы не было в прошлом.

безапелляционно (из текущих записей Соснина)

«Нет! Нет ни прошлого, ни будущего, есть реальность сознания, теснимо настоящим и иллюзорно расширяющегося усилиями памяти и фантазии.

Пусть время, этот великий безнаказанный расточитель всего, чем богата жизнь, облачается в абстрактную тогу неподкупного, не ведающего морали тотального ритмизатора-измерителя.

Пусть сознание, всегда индивидуальное, но неизменно отягощённое идеалами, моральными табу и определяемое, как на грех, бытием, лишь наедине с собой потешается над ползучей непротиворечивостью здравого смысла, живущего по часам и самозванно взявшегося бытием управлять.

Но стоит мысленно вывести сознание и время из вырытого историческим и диалектическим материализмами русла внешних потребностей, стоит им заглянуть друг в друга, как они, уличённые во взаимном влечении, сбрасывают маски: поощряя путаницу внутрен-

ней жизни и вызывая к порядку, сознание и время предстают деятельным симбиозом – заглядывая в инобытие, всё откровенней координируют свои скрытые цели, воплощая их в индивидуальных судьбах и художественных свершениях; и если точная наука наткнулась ненароком на волну-частицу и до сих пор не оправилась от потрясений, обусловленных компрометацией причинности и однозначности, куда как удобных для академической ломки копий, то относительность, многозначность – извечны для стихии искусства, которая порождается сознанием-временем».

как не дополнить?

Вспомним о путешествиях по времени, прикладываниях рулетки к абстракции, лишённой размерности, и прочих безумствах.

Вспомним, что путешествия те совмещались с блужданиями по ландшафтам собственного сознания.

Да, он, бывало, сидел, уставившись в одну точку, но, в отличие от Соркина, так много в ней, этой точке, видел.

Да-да, komponуя и перекомпоновывая временные текучести, он, упиваясь пластичностью неведомого ему досель материала, пристраивал одно к одному, а то и встраивал одно в другое, разные, подчас несовместимые пространства, доверившиеся постэйнштейновской искривлённости. Квартира Художника вместе с саднящей живописью перемещалась в больничный сад, Соснин мог подолгу простаивать на мокрой после дождя дорожке перед свежеспавшим олифой, лаком, чуть наклонно укреплённым на мольберте большим холстом, за которым столько всего открылось. А чуть сбоку парила на голубом облаке квартира поменьше, из комнатки-пенальчика с ветвистой трещиной на потолке и стене при этом виднелись мокрое место катастрофы, алеющий трезубец Ай-Петри, Орвиетский собор.

Дрожала листва...

Мельтешили над головой, как когда-то в Мисхоре, кроны...

А поверх крон, словно свето-изобразительная проекция, – вздрагивал от порывов ветра мраморный угол Орвиетского собора – тянулись к синим холмистым далям горизонтальные серозелёные полосы бокового фасада, солнечно-белый, изящно-стреловидный, с пиками и треугольниками, лицевой фасад омывало небо.

Зазвучал заупокойно орган... а-а-а, органнй концерт, отрывок из мессы Моцарта... Вика и Нелли, задвинутые другими женщинами в запасники памяти, выдвигались вновь на передний план. Зажмурился, увидел то, что невозможно вообразить: вертелись, как гигантские прозрачные ветряки, маховики судеб, два бесплотных безжалостных механизма сближали Вику и Нелли, а к ним, двум механизмам сближения, исподволь подключался третий, раскручивавший собственную судьбу Соснина, и он своими руками, будто при подготовке самых ответственных шагов и душевных движений не доверял небесному сервису, развинчивал и, смазав, наново свинчивал диковинные холодные механизмы жизни и смерти, и вот все три механизма синхронизировали совместные убийственные усилия, если, конечно, откуда-то свыше ими продолжал управлять изначальный злой умысел. Вновь обрели на миг резкость, покинув лиственный фон и проступив сквозь голубые клубления, филигранные детали Орвиетского собора, на мраморных ступенях смешались туристы и прихожане. Друг за дружкой, понятия не имея, что их ждёт, прошествовали Вика, Нелли, окутанные туманной голубизной, но Соснин на сей раз не удивлялся, знал, знал уже, что это не случайное совпадение.

Умолкал далёкий орган.

Растворялись клочки голубого облака.

С порывистым равнодушием несло время; как ветер, как пламя.

И во всём, во всём угадывалась подспудная ритмика, биение общего сердца потаённых единств, чьё многообразие способно свести с ума.

Шевелила губами актриса, придирчиво заглядывала в осколок зеркала.

Коренастый мессия, слепо уверовавший в исключительность своей иллюзорной роли, так и не заметил шутников, обстреливавших его шариками, слепленными из хлебного мякиша. Продолжал упражнения в конце дорожки. Расхристанный, кое-как подпоясанный, он то ли раскрывал объятия, то ли предварял болевой обхват. Что за дьявол укрылся в нём, прикидываясь внешним противником? Мессия походил на убого экипированного неутомимого каратиста, увлечённого боем с тенью или до седьмого пота отрабатывающего приём перед зеркалом, время от времени, входя в ударную фазу, резко пинающего воздух, как если бы всё мировое зло, от которого тщился избавить мир, пряталось в колебаниях зелёной темени.

планида: между образом жизни и жизнью образа

Блеснул зеркальный осколок на ящике, который актриса непроизвольно толкнула коленкой, метнулся по листе зайчик, пробежал по глазам. Пребывание «между» было ключевым для Соснина состоянием, когда он придирчиво обзирал свой бесформенный пока что роман...

Опять зажмурился – а что, что творится в зазоре между предметом и его зеркальным отражением?

ещё кое-какие дополнения-наблюдения

Присматриваясь к парадоксам сознания-времени, виновным едва ли не во всех парадоксах искусства, не грех восхититься неубывающе-бессвязной щедростью образов, несущихся перед мысленным взором – редкостные комбинаторные потенциалы, избыточные возможности вертеть так и эдак любую предметную или беспредметную заинтересованность, выражают познавательные интенции личности, заброшенной в загадочный мир. За бестолковостью мельканий и деформаций, из которых складывается зрительный образ сознания-времени, прячется средоточие смутных желаний «я», добровольно промывающего мозги, размывающего психическую структуру, чтобы вступать в контакт с влекущим, но непонятым. Сознание-время ищущего «я», соприкасаясь с бессознательным, галлюцинирует, опьяняется непоследовательностью, заскоками в сумасбродство, а всё, что волнует по ходу поиска, волнует неясностью, незавершённой, из-за чего восторженно-растерянная реакция «я» рождает полуволю, полукус, полуоценки, полуотстранённость, полуответственность и прочие непредвзято-открытые условия подлинной восприимчивости. Сознание-время ищущего «я» – это ленивое и мятежное дискуссионное царство промежуточности, где никогда не поздно отказаться от выбора, где можно наперекор логике податься в ту сторону, а не эту, высказать что-либо для того, чтобы потом себя опровергнуть.

всё ещё в поисках желанной модели

Постепенно, исподволь, Соснин наделял сознание-время сходством с содержанием-формой воображаемого романа, вернее – замыслом романа, клубящимся неясностями, рвущимся в летучие ключья, как облако, которое треплет небесный ветер, опять срастающимся. Сочинитель при этом знай себе шатается из стороны в сторону, опровергает себя по поводу и без

повода, мечтая о том блаженном миге, когда вещь сложится с божьей помощью, композиция выстроится, а он, сочинитель, очнувшись после приступа счастья, сосредоточится на шлифовке стиля, начнёт, наконец, пестовать прозу, словно моллюск жемчужину.

Вспоминались проектные поиски – волнующий глянецовый шелест кальки, ложившейся слой за слоем; удовлетворённый последним эскизом, собираясь выбросить промежуточные, замечал, что в первом и последнем эскизах было на удивление мало общего. Ищешь Индию – откроешь Америку?

Но пока замысел клубился, издевался над мечтами о форме... даже забравшись высоко-высоко, выше собственной головы не прыгнуть?

Там видно будет.

Пока же, упиваясь и чертыхаясь, он воспринимал аморфный, смешивающий пролог с эпилогом замысел и как хаотичный метапролог романа, и как составную, путаную пока, но необходимую часть его... нечто похожее, пусть и с натяжкой, и в не смонтированном кино бывает, когда перемешаны, дожидаясь отбора, дубли, когда ещё в композиционной последовательности не склеены кадры, а финал и вовсе репетировался и снимался в первый съёмочный день.

почти технологическое сравнение

Всё ещё всматривался, всматривался, ждал, что вот-вот выплывет из тумана долгожданный корабль.

При этом созерцательно-самоуглублённое нетерпение было вполне сравнимо с трепетом фотоохотника, который спустя срок после ловли улыбок, не моргающих взглядов и всего прочего, оставляемого на память, окунает в проявитель белый лист униброма, тайно хранящий изображение в эмульсионном слое, и ждёт, когда проступят сквозь туман контуры.

Может быть, Соснин вообще не пишет, а проявляет давно отснятое?

Глядит на колебания девственно-белого листа в чудесном растворе... Развёртывается текст, длится, длится, растекаясь в мельканиях, отражая сознание-время, но до чего же хочется вдруг остановить развёртывания-растекания, лишив великий могучий язык глаголов, хочется свернуть, уплотнить, сгустить текст до многофигурного интригующего иероглифа, одолеть параличом символики броуновское движение жизни, увидеть весь роман, как необозримую и застывшую, превращённую в дивный, никогда ещё не существовавший ландшафт мизансцену, и лишь потом побежать пером дальше. Это как поймать фотоизображение внутри стремительной киноленты... Проступают из розового тумана контуры, он зацепляет пинцетом карточку, промывает, от неё больше нечего ждать. Но, вспоминает он, фото можно увеличивать, отыскивать на изображении новые подробности. Увеличивать, пока не обнаружится в кустах труп? Увеличение с многократным кадрированием внутри замышленного кадра сжимает даже обширную панораму до невразумительного штришка рядом со своей же собственной, неудержимо вырастающей зернистой деталью, которая вдруг испугает и заставит отпрянуть, будто омерзительно выросшая под микроскопом мошка, тут от техники – полшага до видения!

Может быть, Соснин вообще не пишет пока что, а медленно увеличивает и, вооружившись лупой, исследует затем, как криминалист, когда-то отснятое?

вдохновенно-тревожные соблазны пограничного состояния

Состояние Соснина, выросшего до небес, но – погружённого в замысел, буквально и метафорически воспроизводило сон, вернее не столько сон, атрофирующий волю спящего,

превращающий его в раба сюрреального зрелища, сколько полусон, который тоже не чужд сюрреальности, но при этом всё же позволяет задремавшему, прикорнувшему где придётся и беззаботно посвистывающему носом под усыпляющий ритм наших рассуждений довольно-таки активно режиссировать действие, вмешиваться в подбор сюжетов, их компоновку, мирно совмещая в своей активной полуосмысленности возбуждение и покой, лёд и пламень, прочие болезненно спорящие на яву противоположности, ибо в полусне, пусть самом страшном и вовлекающем, но всегда рассматриваемом с безопасного удаления, не испытываешь подлинной боли, так как смутно чувствуешь, что не живёшь, а спишь, будто бы живёшь под наркозом, лишь частично замутнившим разум, хотя вполне достаточным, чтобы пускаться в смелые художественные операции: пересадки, ампутации, отключения мозга, сердца, заставляющие невероятные события плутать между зевками. И почему-то обретаешь неземную лёгкость, ввязываешься в какую-то ветреную игру с огнём, вдохновение бодрит, обжигает, как бодрит и обжигает на яву солнечный и свежий денёк, а пробуждение – о нём поневоле задумываешься – грозит изгнанием из беспокойного рая. И знаешь об этом, и не просыпаешься, попросту не позволяешь себе проснуться, в напряжении внутренней работы хочется продлить сладостную летаргию двигательной расслабленности, как хотелось когда-то лежать, положив голову на колени Вики, и смотреть полузакрытыми глазами в безоблачную небесную глубину, а боковым зрением – вдоль полосы песка, в густо-синюю даль с раскисающим пароходом.

И вовсе неотличимыми делались сонливая фантазмагоричность, причудливость пробуждающегося вдохновения и растревоженность сознания, расплескивающего направо-налево образы. И параллельные сюжетные линии вольно пересекались, и боязно было не досмотреть, куда такие вольности заведут; ох, боязно было, что сумрачные красоты и их тайные смыслы развеются, или померкнут, обернувшись правильно выстроенной и увязанной прозаической дребеденью, экзотическая флора зачахнет... казалось, враждебная реальность вот-вот прорвёт нежно-сияющую, уязвимую, как у мыльного пузыря, оболочку, внутри которой правила бал полусонная экзальтация. И тем ещё отличался от сна полусон, что при всей неотвязно-мучительной соблазнительности юркнуть в него, забыться в тёплых колебаниях дремоты, он не позволял всё же впасть в безумие полной свободы от хода времени. Тик-тик, тик-тик, тик-тик – не позволяли покинуть реальность, когда Соснин, блаженствуя, посматривал в небо, Викины часики.

извлечение (из записей персонажа), заставившее автора усмехнуться

«Познавая себя, – доверялся очередной странице Соснин, – человек меняется быстрее, чем под давлением внешних сил.

Узнает ли себя автор, дописавший роман?»

чем и как заканчивался сон (полусон) новоиспечённого Гулливера

Пробивая тучу, Соснин промок.

Звёзды, луна светили, но не грели.

Пижама покрывалась ледяной коркой.

Скованность и одиночество монумента...

Да ещё резкий ветер обдирал лицо рашпилем... холод и одиночество.

Захотелось земного тепла, разноголосицы, суеты, неодолимая сила потянула Соснина вниз, голова закружилась, уменьшаясь, он начал стремительно приближаться к туче в компании падающих звёзд, которые сопровождали его до тех пор, пока глаза не залепило туманом, а мысли, предусмотрительно отцепленные на запасных небесных путях, вдруг догнали. И хотя он ничего не мог видеть кроме наплывов мути, он отчётливо увидел, как бредёт по кругу, смешивая прошлое, настоящее, будущее, как возносится ввысь и шмякается потом о землю. И оживал дух захватывающий разлёт гигантских шагов, несущих по всхолмлённому кругу; посеменяв ногами в воздухе, торопливо отталкивался, взлетал, описывал волнистую траекторию, и неотвязная сила, которой он управлял и которой повиновался, несла вниз, к встрече с землёй, удару, новому отталкиванию и – дальше, выше, выше, к мигу плавного зависания перед спуском... мысли, догоняя, перегоняя, искрились, вспыхивали короткими замыканиями пространственно-временных стыковок. Да, между небом и землёй поджидала прослойка тумана и, воспаряя ли, снижаясь, он одолевал полосу помутнений, где вынашивалась образность, ждал, когда прольётся из лазури с пением жаворонка прозрачный свет... и в полусонной послеобеденной мечтательности готовился восхититься блеском рек, жёлто-зелёными, в коричневый рубчик, полями, буколическими перелесками.

Ушло вверх мохнатое, в тускло-багровых подпалинах брюхо тучи.

Знакомое единство хрестоматийных ансамблей, доходных домов, улиц и набережных. Змеиный невиский изгиб у Смольного, тёмные рукава каналов с затёками огня вдоль гранитных стенок; промелькнули бессвязные неоновые штришки, кое-где – подсвеченные витрины над бледно-жёлтыми плевками отражений на мокром асфальте. Сжалось сердце от любви к этому каменно-штукатурному, взрезанному водой волшебству, от необъяснимого страха за него, тонущего в февральской хляби. Пока ещё Соснин был большим, сильным, ему захотелось защитить, заслонить собой город, не дать надломиться шпилям, не позволить, чтобы потемнелые кирпичные стены с аркой рассыпались в розоватый прах, но его плавно повело в сторону, ощутил упругость туловища, рук, шеи, удлинённое, гибкое, как стебель, тело его заколебалось туда-сюда в произвольно менявшихся направлениях воздушных потоках, и таяли вдали вспучившиеся ватой крыши, пробитые чёрными пустыми дворами, где пресеклось его детство, а ноги, обутые в промокшие полуботинки из грубой выворотки, чудом не задевая поликлинику и соседнюю с ней пятиэтажку, месили грязный снег между перелеском и железобетонным шабашем. Где оно, ласково обволакивающее тепло? Уже мысленно прислонял свои ботинки к батарее, чтобы к утру просохли и проступила бы на каждом ботинке извилистая белёсая линия, точь-в-точь такая же, как на спинке рыжего хомячка, который беззаботно сновал когда-то из угла в угол металлической клетки, перемалывая кружки морковки, обрывки капустных листьев, а летом, на даче под Сиверской, хомячок ещё за мгновение до гибели под велосипедным колесом блаженно пасся в буйной зелени лесной опушки среди ромашек и колокольчиков...

Пока Соснин тянулся к небу в алмазах, ботинки его, хотя и елозя по грязи, снежной каше, росли вместе с ним. Он, конечно, не мог их, заслонённых тучей, увидеть, но если бы увидел, то ужаснулся – два страшных реликтовых хомяка с зашнурованными на позвоночниках спицами с остервенелостью неолуддитов давили вонючее машинное племя, не зная разницы между авто с мигалками, бульдозерами, экскаваторами и самосвалами, давили, как тараканов, оставляя от быстрой и мощной техники лепёшки железа, в которые утыкались узорчатые следы шин и гусениц. А теперь, пробив тучу, уменьшаясь и приближаясь к земле, Соснин был удивительно похож в своём снижении на новичка-парашютиста, слепо целящего ботинками в центр круга.

инвентаризация метафор и пр. пр. пр. (вплоть до ужина)

Очнувшись от послеобеденной дремоты, дожевал абрикосы, скомкал, бросил в урну кулёк; спугнул кошку – обиженно соскочила со скамьи – потянулся, сладко-сладко зевнул – пора писать, довольно хватать звёзды с неба.

Ведь это так, навязчивые метафоры: туман, дрейфующий в тумане корабль, расплывчатое начало фотопроявки... А текст, набирая резкость, становится вещью. Что-то получилось, что-то – нет, и настроение гнусное. Да-да, сознание, освоенное мышлением, обедняется, мысль, выраженная словом, вянет, слово, воплощённое в дело, меркнет – круговая порука потерь.

Поэтому-то суеверно боялся конца романа – мечтал о последней точке и даже мысленно в ней оказывался, мечтал дописать и боялся осуществления мечты, многократно замыкал и размыкал круги, тянулся к открытости текста, его принципиальной незавершённости. Тем временем персонажи романа – их много, очень много – так ничего и не узнав о себе на бессловесной читке, расставались со смущением и, словно на массовке, замученной репетициями, то буйно шалили, то затихали, усталые или пристыженные, выбежав же внезапно на яркий свет, норовили, будто застенчивые дети, спрятаться друг за дружку, а за всеми их увёртками и ужимками терпеливо наблюдал, выбирая точку зрения, глаз с ржавыми крапинками вокруг зрачка.

Чтобы дойти до сути, принимался опять и опять колдовать над хромосомными цепочками фактов, но ветер ли, ворона, раскачав ветку, бросали в муторную болтанку; уходила из-под ног, проваливалась шаткая палуба яхты, Филозов в непромокаемой амуниции командовал, менял галсы. А Соснин, балансируя в последней романной точке, связывая эпизоды в фантастически простую историю, выведенную из него обстоятельствами, боялся хоть что-нибудь упустить, а уж тот день, начавшийся с бездыханного тела на платформе метро, со свиста ветра в снастях, он воссоздавал-выписывал во всех-всех подробностях... и – откуда, что берётся? – сдавливала горячая потная толпа с вылупленными, как чесночные головки, бельмами вместо глаз. Он вырывался, порвав страницу, и бежал, бежал из последних сил, пока не запутывался в подсинённых тенью кочегарки простынях, сохнувших на заднем дворе, – липучие тяжёлые простыни и вовсе испугали его...

За кочегаркой – ещё одна, дырявая, с гнутыми прутьями, металлическая ограда. Проржавевшая калитка, запылённая листва... прочь.

Запах скошенной травы разъедал ноздри, глаза щипало.

Вытащил из кармана платок.

Да, косили траву. Распаренный редкоусый косарь, студенисто-бескостный, в обвислой спецовке, механически – вжик-вжик-вжик – орудовал щербатой косой на крохотном газончике у часовни, умудряясь не срезать по щиколотки ноги актрисы, которая в блаженном забытьи тушью красила уголок века. И тут уже Соснин забывал о мокрых простынях, взмахах косы, актрисе, вставал на цыпочки, чтобы поймать в сколе её зеркальца сияние радуги.

И опять кружил, кружил, опять выйдя не туда, опрометью бежал от пижам и халатов, млеющих на солнцепёке площадки отдыха, где из бетонного блюда пылил фонтан, комковатая земля пестрела конфетными обёртками, а несколько желтоватых цветков, уродившихся на подобии клумбы, шелушились полупрозрачными лепестками, похожими на крылышки насекомых.

Но скамейка в кустах сирени ждала его; улизнул с мёртвого часа и теперь до ужина мог писать.

Трепетали сердечки-листья.

Облака затевали новую потасовку.

Пахло морем.

И дьявольски быстро, быстрее, чем таял шлейф серебристого стреловидного самолётика, таяло время.

Скоро косо рассечёт стену синяя тень.

Вот-вот стеклоблоки котельной загорятся сусальным золотом.

И последним он побежит на ужин, зарозовеет небо в сиреневых перьях.

Соснин спешил, цеплялся за малозначительные детали, надеялся спасти с их помощью смысл случившегося, да и случающегося ежеминутно... смысл, который, отделяясь и отдаляясь от фактов, казалось бы без остатка размывался потоком дней, но вдруг чудилось, что он, целёхонький, таится где-то рядом, под новой бессмыслицей.

Так – или примерно так – он писал.

ужин

На ужин были оладьи с повидлом – или со сметаной, на выбор – и чай.

в «уголке психиатра» (после ужина)

В клизменной, за перегородкой, привычно клочкотал унитаз.

Когда дежурил Всеволод Аркадьевич, клизменная не запиралась до позднего вечера, он считал очистку кишечника перед сном особенно благотворной, отыскивал и подгонял больных, которые прятались по палатам от экзекуции. Очередь на процедуру обречённо заняла, шевеля губами, актриса; пахло мочой.

– Приходит пьяный, накидывается, как на девку...

– А мне так пусто, лежу, упёршись в стенку, не сплю...

– Да, тебе бы мужика покрепче, и чтобы на целую ночь... Медсёстры у постового стола изливали души, будто наедине.

Ну да, пациенты для них – неодошевлённые. Соснин включил бра в нише: «Гений и помешательство», так-так, банальности туринского психолога девятнадцатого века о болезненных истоках творчества Гоголя, Толстого. Ниже – другой учёный автор, поинтереснее, о мании преследования, об остром бреде. «Бредовое безумие выражается не столько подавлением сознания и прекращением психических реакций, сколько беспорядочностью в сочетании идей, наплывом бредовых представлений, чаще всего связанных с иллюзиями и галлюцинациями. Высшая форма бреда наблюдается тогда, когда больной находится под влиянием аффектов страха, ужасов и тоски, больного преследуют реальные и выдуманные персонажи прошлого... аналогичные состояния наблюдались у мексиканских индейцев, которые питались перед экстатическими ритуалами особыми грибами-галлюциноидами...»

Так-так-так, Вику преследовал реальный персонаж прошлого, она его, преследователя, реально видела, а её сочли неизлечимо больной, жалобы приняли за бред. И никакого чувства вины, – подумал Соснин, – никакого, всё так удобно списывать на механизм судьбы. Сам-то он всё-таки здоров или болен? И занимает ли его искусство место болезни? Что бы ни говорил утешитель-Душский, на него ведь и бредовые представления наплывают, и иллюзии с галлюцинациями реже, чем хотелось бы, в нечто художественное находят выход, и муторно бывает, будто мухоморов объелся. Ага, шизофрения может переходить в неизлечимую манию преследования, как у Вики, или вести к атрофии памяти: «шизофрения – прогрессирующий психоз, который приводит ко всё большей замкнутости и разрушению личности вплоть до разрыва с реальностью, характерно возникновение бредовых идей по типу страха и панических озарений. Но бывает, что бредовая система развивается всё медленнее, обычно затухание бреда связано с мозговыми патологиями. Память – стержень личности, с разрушением этого стержня разрушаются все структуры «я», ибо с нарушениями памяти...».

А если память, напротив, активизируется, обостряется, это ускоряет «бредовую систему»? Если воспоминания переполняют, накладываясь, сталкиваясь, теснясь, то ускоряется и оборачиваемость бреда?

Сколько сюжетов. У каждой болезни, имеющей общие для всех больных ею признаки, свой индивидуальный сюжет. Свои завязка, течение, свой конец.

Хлопнула дверь клизменной, – следующий.

– Выгоню его, алкаша-грубияна, выгоню! – грозились кудреватая, толстенькая медсестра; другая, тощая, с короткой стрижкой, глотала слёзы.

«У больных с нарушениями памяти по мере нарастания интеллектуальной недостаточности пропадает и чувство времени, его ритмов. Для таких больных исчезают ощущения утра, дня, вечера, стираются интервалы между событиями, а сами события – например, обед, ужин – изымаются из временного потока, не воспринимаются как многократно повторяющиеся...»

день за днём

Бухала на Петропавловке пушка, взлетали вороны.

Он привык к своему укрытию в саду, защищённом облупившейся толстой стеной, благодарил случай, спрятавший его в этом убежище, среди безумцев, и хотя в кармане брэнчали двухкопеечные монеты, неохотно звонил на волю из вестибюля по автомату, когда же мать, сославшись на Душского, пообещала скорую выписку, задумался – что бы такое натворить, чтобы остаться? Нет, он решительно не желал покидать психушку. Машинально слушал материнские жалобы. – На Новоизмайловском, в «Синтетике», зря отстояла очередь, уже на Большой Московской, на ступеньке метро подвернула ногу... у папы схватило сердце, вызывали скорую... машинально, если не равнодушно слушал. Как и Шанского – навестил вчера, в приёмный час. Нудно костил ОВИР, тянувший резину с выдачей выездной визы, – приняв решение, Шанский хотел поскорей пересечь границу, было бы бесполезно объяснять ему, чем и как закончится его эмиграция; что-то говорил о наполеоновских, тоже закордонных, планах Бызова, чьи научные идеи заждались международного признания, об измывательствах следователей Большого Дома над Валеркой, о Милке, у неё, судя по анализам, подозревалось худшее, а дурёха вместо того, чтобы лечь, наконец, на обследование в хорошую, при медицинституте, больницу, благо у Гошки нашёлся блат, собиралась осенью к морю... слушал равнодушно, волнения ли, желания, донимавшие его друзей там, за больничной стеной, не трогали, знал, к чему их жизненная суета приведёт, знал, что ждёт каждого. Мечтал заглянуть за горизонт, теперь, заглянув, знанием своим тяготился. – Ты какой-то другой, – сказал Шанский, прощаясь.

Через день угроза немедленной выписки миновала сама собой – Душского ночью разбил инсульт. Подслушал перешёптывания сестёр – старик был безнадежен: паралич, потеря речи. И Всеволод Аркадьевич, он же Стул, уже полноправным хозяином носился по отделению.

Выписали Соснина в конце сентября, когда и жалеть об этом не стоило – вдохновение улетучилось, а погода испортилась, деревья облетали – медленно планируя, ложились у ног или на скамью пожелтелые кленовые листья; жаль только, что продлить лето не удалось – ждал возобновления суда и не смог слетать на Пицунду.

Лишился в тот год дальних заплывов, не провожал по вечерам под шелест пальм в море вазок, как томатная паста, солнце, не засыпал под монотонный гул волн.

с грехом пополам (завершая эпилог)

Жанна Михеевна словно в воду глядела: всё обошлось.

Суд возобновился в прежнем составе глубокой осенью, поворочал из стороны в сторону дышло закона и приговорил Соснина с Файервассером к условным срокам, назначив им в погашение государственного убытка вычет из зарплат каких-то процентов...

Соснин был доволен – действительно обошлось! А Семён Файервассер не мог проглотить обиду – грозился обжаловать приговор, добиться полного оправдания, тем более, что ему прицепили полгода на стройке «Азота» под Кингисеппом, как гласил фольклор – послали на химию.

Спустили на тормозах показательный процесс?

Пересмотрели суровую директиву?

Невероятно! – восклицали после приговора завсегда и судебной курилки. Но невероятное и на этот раз стало фактом.

Впрочем, на тормоза нажали пораньше.

Пока Соснин, защищённый больничной стеной, парил в сочинительстве, кто-то далёкий от искусства мазал по холстине реальности бездарной кистью. Пресса долго выбирала мишень, выверяла удар, а погромную статью трусливо вынули из набора. Колючек телевизионного ежа ждали, да так и не дождались. Близился юбилей, кутерьму вокруг обрушения явно сочли несвоевременной, не способной мобилизовать. Если бы всего один дом обрушился, и впрямь можно было бы показательно ударить, а когда всё затрещало – безопасней не замечать. И пересуды утихали, легенды, лишившись подпитки, испускали дух, смальвались в жерновах будней. Горожане привыкали к потрескиванию стеновых и потолочных трещин в домах-угрозах, к ночным переселениям – в метраже удавалось выиграть, перевозку гарнитуров оплачивало государство.

Вскоре и главная причина смольнинского благодушия прояснилась.

Григорий Васильевич, могущественный хозяин города, засобирался на повышение в Москву, утратил интерес... и не рискованно ли было бы перед повышением, да ещё в канун революционного юбилея, такое будировать? Кооптированному же на городской партийный Олимп Салзанову – он теперь готовил Григорию Васильевичу бумаги – и вовсе ни к чему было ворошить своё производственное прошлое.

Похоже, Остап Степанович Стороженко тоже не жалел, что перестарался... или поспешил остыть после особо важного дела в ожидании другого дела, сверхважного? Как-то Соснин напоролся на следователя в узком, точно кишка, коридорчике Творческого Союза. Остап Степанович – фланелевые штаны, пиджак в талию, платочек на шее – в отличном настроении выходил из ресторана, как раз протирал очки, ловко локтём прижимая к боку сумочку, чтобы не болталась... где ему без очков было узнать Соснина? – скользнул незрячими, как обсопанные леденцы, глазками, с вежливой отчуждённостью размазавшись по стене, пропустил; к тому же был Остап Степанович не один, с двумя пахучими дамами, он им увлечённо рекомендовал предпочесть ясность гегельянской эстетики полному тёмных и скользких мест кантианству.

Короче говоря, складывалось впечатление, что суд возобновили исключительно для проформы.

Поднимались в храм правосудия по лестнице, заляпанной извёсткой, пролезали, согнувшись, под кое-как сколоченными из неоструганных толстых досок подмостями с маляршами – всё задом-наперёд, ремонт почему-то поднимался снизу вверх, грязь сверху расплзлась по вымытым этажам. Что ж, суд на чердаке, где сушится бельё, увековечен, а тут вершат правосудие под занозистым настилом, в щели настила сыплется сухая шпаклёвка, проливается извёсть... недурно, недурно.

Усаживаясь на знакомое место в знакомой, выглядевшей по-прежнему неряшливо, хотя обои переклеили, комнате – лишь горшок с бегонией переставили с подоконника на угол

стола – почувствовал, что и финал драмы скомкают. Впору было бы опять расхохотаться, но Соснин сник, опустел, как после сдачи решающего экзамена. Будто и не посещало его вдохновение на скамейке в закутке сада – за каких-то три-четыре судебных дня осунулся, веки набухли и посинели, редкая бородёнка клинышком, пробившаяся ещё в больнице, усиливала его сходство с козлом отпущения, но – странное дело! – ему приятно было сидеть в тепле, при свете молочных шаров; натываясь взглядом то на один из них, то на другой, прищуривался от удовольствия. Почти что радовали глаз грязно-зелёные обои с накатом из серебряных и золотых ромбов со стилизованной розочкой в каждом ромбе, голубовато-бирюзовые батареи, жёлтые занавески. И без тени раздражения смотрел на усищи загорелого заседателя, вернувшегося с бархатного сезона, безропотно внимал невнятице документов, рутинным препирательствам адвоката с судьёй, сдобренным суховатым прокурорским покашливанием.

– Прошу отметить безупречную характеристику служебных и моральных качеств моего подзащитного, выданную и подписанную... – гнул своё адвокат, помахивая листком с круглой лиловой печатью.

Судья – вся внимание – слушала с ритуальным благоговением, или сменяла маску, наливалась негодованием, отклоняла протесты, фыркала, шептала что-то народным заседателям направо, налево, кивала согласно процедуре прокурору, и тот начинал с сожалением. – Увы, похвально-добрые дела подсудимого, если они и имели место в прошлом, за рамками данного процесса, к настоящему делу при всём желании не пришилишь.

Тем временем в голове нашего подсудимого копошились отвлекающие полумысли-полукартинки, на волоске висела судьба, а он не сомневался, что главное с ним уже приключилось, он выложил, что смог – написал, и теперь – будь, что будет, он заслуженно отдыхает, к примеру – потягивает коктейль, пока шеренга девиц на эстраде механически задирает ноги.

Битый час Соснин мог угадывать зачем прячет шею под газовым шарфиком, повязанным к тому же поверх стоячего воротничка, сидящая справа от судьи дамочка, так и не разлепившая за весь процесс помадки рта, но в раздумьях не напрягался, не досадовал, что не находил разгадку, развязывал шарфик, начинал разыгрывать в лицах потеху, которая закрутилась бы, если потянуть за точно такой, как на папках с уголовным делом чёрный, завязанный двойным бантиком шнурок под высоким, до дряблых брылец, воротничком нейлоновой блузки, лишь чуть-чуть туманящей лямки бюстгальтера. Когда же Соснина выдёргивали из расслаблявших чепуховых раздумий репликой или прямым вопросом, он безбоязненно, с обстоятельностью тупицы и чаще всего во вред себе отвечал, а нагромоздив оплошностей, упрямо не понимал замешательства адвоката, который вращал страшными глазами, но, проклиная в душе незадачливого клиента, всё же прытко вскакивал, разрубал ладонью воздух и выпаливал быстро-быстро, чтобы не успели прервать. – По разъяснению Пленума Верховного Суда за номером... заявляю протест. Прошу отметить, пропорции торцевого окна не имеют и косвенного отношения к обрушению... мой подзащитный имел ввиду сказать, что... Но тут адвоката осаживала судья. А виновнику процессуальной заварушки вообще не хотелось улавливать ничтожную разницу между полезным ему и вредным, он желал одного: только бы продлилось состояние пьянящего безразличия, неужто надо будет вставать, надевать непросохший плащ? – в морозящем дожде за окнами мотались голые ветки; бурые листья присосались слизнями к стёклам.

Объявили перерыв.

от автора, уставшего идти на поводу у героя, но всё ещё щедрого на обещания

Воспользуемся перерывом в судебном заседании, чтобы приободрить читателя: скоро, скоро уже, самое трудное позади! Ты, любезный озадаченный читатель, хочется надеяться,

выдержал нешуточное испытание этой вступительно-заключительной частью романа, немного осталось; твоё долготерпение будет вознаграждено. Набросав пунктирные контуры лиц и судеб, которые нет-нет да просвечивали сквозь катастрофическое событие, прогнав кое-какие реплики, опробовав интонации, то есть, показав томительным промельком, но так и не раскрыв карты, мы представим Илью Сергеевича Соснина в центре многокрасочного, собранного композицией хора родных, друзей и подруг, собутыльников и сослуживцев, представим человека не без странностей, что называется, со сдвигом, хотя в быту вполне нормального, не лишённого обаяния и уж во всяком случае, скорее положительного, чем отрицательного.

Вперёд, скоро мы поведём тебя вперёд, заинтересованный, упорный, строгий и великодушный читатель, хотя и вернёмся, не медля, назад, в детство, отрочество, юность нашего героя, чтобы затем уж двинуться по канве его истории, всё ещё ищущей, к слову сказать, романную форму, ищущей, будучи закольцованной, открытый конец...

СКОЛЬКО МОЖНО ЛОМАТЬ КОМЕДИЮ (первое дополнение к эпилогу)

Концу процесса, приговору, как упоминалось, Соснин обрадовался.

Доброжелатели хором советовали присоединиться к отважному Файервассеру, протестовать, уверяли, что волна невезения схлынула, оправдание высшей инстанции гарантировано, однако он не поддался на уговоры. Нет, избавьте! – махать кулаками после драки, которая не состоялась? Нет, обошлось и на том спасибо. Соснин даже надумал закупить вина, закусок, чтобы отпраздновать своё процессуальное поражение, прикинул, кого позвать – Художника, Шанского, Бызова... споткнулся – Валерка в Большом доме, в камере внутренней тюрьмы с подсадной уткой... да, влип, по-настоящему влип. Что же до собственного клейма условной судимости, то ведь и с плёвым этим уголовным дельцем могло хуже всё обернуться, куда хуже. Вот, Лапышков, принял обрушение близко к сердцу, и обширный инфаркт свёл его, совестливого и беспомощного, в могилу; Хитрин, спасаясь от правосудия, угодил под бомбёжку Басры, разнесло в клочья, привезённые в запаянном ящике. Вспомнил о гибели Хитрина, развеселился – до чего прозорливо был помечен Богом шельма-Хитрин, ха-ха, сам себя перехитрил... ха-ха-ха, спешно завербовался в Ирак, смылся под бомбы...

признаки депрессии? (второе дополнение к эпилогу)

В один прекрасный день Соснину официально вручили выписку из мягкого приговора, символизирующую счастливый конец, и он ступил в косо разлинованные дождём сумерки. Изрытая ветром Фонтанка тупо билась о гранитные берега. Огромной кучей хвороста чернел Летний сад. Поблескивающие кузовами машины взбаламучивали лужи, обдавали грязью. Круг замкнулся? – разве всего за несколько часов до катастрофы, шлёпая по лужам, промокший, как сейчас, на Фонтанке, не пересекал под холодным дождём Дворцовую площадь? Ну и дождь! И к фасадам не прижмётся – с крыш срывались потоки. Всплыла вдруг отёчной утопленницей афишная тумба, опоясанная зазывным плакатом гастрольной труппы, которая давала «Много шума из...» – буквы убегали за закругление. Какая там пирушка с друзьями? Чему салютовать пробками? – раскусил подслащенную пилюлю.

Пожирать зловредные сказки, дрожать по ночам от страха – уязвлённый, пожимал плечами – и разом всё позабыть? Будто и башенный дом не падал, не подавляли, одурая, не опалили слухи. Но ведь и ураганы стихают, пожары гаснут. Или обрушался дом специально для него одного? И вся свистопляска вокруг обрушения – для возбуждения его фантазии закру-

тилась? И он хорош, клюнул! Чёрствость, примитивность окружающих больше не задевали, досадовал на болезненное обострение собственной чувствительности, безжалостно смывал с автопортрета, висевшего на почётной грани сознания, ореол исключительности. Стряслось ли с ним что-то всерьёз, или же всё пригрезилось? История и выеденного яйца не стоила, он вспенил... чтобы понять надо создать, чтобы понять надо создать... так и не дописал до точки, не нашёл форму, писал, плутал в плетениях подоплёк, хотя и так ясно, что ветер рождается от перепада температур, дыма без огня не бывает; писал, но не дописал, столько высказал, а главного не сказал. Однако в колебаниях из крайности в крайность не было ни высокомерия, ни ложной скромности – его всё ещё покачивала мёртвая зыбь.

И усиливался привкус горечи, щемила тоска.

А город печалился вместе с ним.

Пепельные пелерины тумана, свисавшие с домов, деревьев, сочились влагой, съедали контуры, краски. Лишь изредка туманные одежды прорывались – обнажался охристый, с горчичным подтёком угол, проплывал мимо смоляных стволов красный трамвайный борт, но сразу дыру заштопывал косой дождь. Соснин всё не мог сообразить: стыдиться ему или гордиться, неужто он один такой пронизательный? – увидел, проник, понял, а вокруг – слепцы или дураки. Или – приспособленцы с короткой памятью?

Увидел, узнал, запомнил, и – боялся мести чужого времени? – молчал. Как заметит вскоре Антошка Бызов – вёл себя, точно попавшийся в лапы врага партизан-разведчик? Набирал в рот воды, очутившись там, теперь, когда вернулся, контакты затруднялись, при встречах с друзьями, знакомыми исчезали общие темы, ему, посвящённому в то, что будет, мало интересного сулила текущая жизнь, он, и раньше не многословный, замкнулся, ощутил вокруг себя пустоту, будто его побаивались, ему невыносимо трудно было общаться с теми, чьи смерти он уже пережил.

После больницы, суда, настигла истинная болезнь?

Он таился, как ни старался делать вид, что всё хорошо, маркиза прекрасна, на людях тушевался. Ёжился от поросячьих восторгов, анекдотов, женского смеха, мог просидеть вечер, не проронив ни слова – знаете, подвыпившую компанию частенько оттеняет, уткнувшись в книгу, угрюмый умник, которого не отодрать от дивана, хотя наяряивает музыка и шаркают пары.

По утрам вставал с левой ноги и весь день – время еле тянулось – бездельничал на службе, слонялся из угла в угол, но ему, без вины виноватому, всё прощалось. И дома себе места не находил – казалось, с того дня, как заперли в психбольнице, прошло много лет, он превратился в дряхлого старца: в комнате повсюду толстым слоем лежала пыль, он дышал ею; рука не поднималась стряхивать или впитывать влажной тряпкой этот мягкий тлен времени, чтобы хотя бы взять книгу; ни разу не подмёл пол... выбирал из множества горевших за стеклом окон два, с тёплым и холодным светом, ждал, какое погаснет раньше, чаще гасло тёплое... лежал в темноте, не очень-то надеясь на визит сновидений, рядом лишь фосфоресцировала шкала радиоприёмника. Яков Флиер играл сонату Листа. Алла Пугачёва пела про Арлекино. Потом знакомый девичий голосок – про лесного оленя. Передавали репортаж со съёмок «Обыкновенного чуда». Пролетали, едва задевая уши, сводки последних известий: меньше месяца оставалось до юбилея Великого Октября, государственная комиссия с оценкой «отлично» принимала работы по декоративной замостке брусчаткой и гранитом Дворцовой площади, к юбилейным празднествам историческая площадь принаряжалась, становилась ещё торжественней... и Биби-си о своём, сквозь треск... координаторы правозащитной «Хартии 77» бросали вызов коммунистическим жандармам на пресс-конференции в Праге. Вацлав Гавел и Иржи Гаек требовали освобождения политзаключённых, осуждали преступное использование психиатрии в политических целях.

Захотелось выпить, но ни капли спиртного не было в холодильнике.

Поднялся среди ночи, включил настольную лампу. Придвинул свои больничные сочинения; всё не так, не так, дряблое многословие, хотя в духе Валеркиного собирательства и старинных рекомендаций Шанского – чем не записки городского сумасшедшего? Но – не накачала мускулы форма... достанет ли упрямства не опускать руки, благо не поставлена точка? «Жизнеописание»... или – «Времяписание»? Мешало «о» внутри сложных слов, мешало, он ведь не о «чём-то» писал, а «что». А для того, чтобы уразуметь круговую композицию, её скрытые смыслы, если найдётся кто-то терпеливый, желающий вникнуть, всё придётся прочесть два раза? Ха-ха-ха, найдётся, надейся и жди. Каким же надо было обладать сомнением, чтобы так весомо надавливать! – в лимузине бесплотный фрак, сухощавый, с подстриженными жёсткими усами, утверждал. – Круговую композицию, заданную ею структуру, по сути, воспринимают лишь при повторном прочтении. Хороший, на все времена, совет! – посмотрел на батарею коричневых томов – святая правда, можно ли иначе ухватить пространный – пространственно-просторный – роман? И оценить композиционную роль опережающего контекста, воспринять цепь загадок, как цепь толчков к пониманию скрытых смыслов. Ха-ха-ха, цепь загадок – для первого чтения, а разгадки – награда за второе? Ха-ха, заранее объявленная награда за терпение и смелость, – роман-композицию следует прочесть дважды! Слабое утешение. Кое-как сдул пыль, листал, бегло перечитывал итальянский дневник Ильи Марковича, застрял в концовке дневника, на многозначительных скупых страницах. Неужто, и впрямь всё писалось для него одного, допустим, самого любопытного, самого восприимчивого и въедливого из всех на белом свете племянников? Именно для него? И действительно ли он пережил белой ночью, когда впервые дочитал до конца дядину тетрадку, метаморфозу? Илья Маркович, такой незащитный, уже навсегда отнятый прозрачной преградой у провожавших, которые готовились сделать вслед поезду несколько ритуальных шажков по перрону, ожил в жёлто затеплившемся окне, тронулся вагон, рука зависла над штангой с плюшевой оранжевой занавеской. Заставил себя накатать коротенькое письмецо Адренасяну, извинился за задержку с ответом, поблагодарил. И посмотрел на шпалеру, она дышала покоем разумно повторявшейся жизни, век за веком сбегала с пригорка с домом-пряником, накрытым могучими ветвями, девочка в пышном розовом платье, но зримый этот покой лишь бередил, никак не укладывались в голове самые простые вещи; осмотрелся – узкие гобеленные вставки на бюро с ионическими колонками александровского ампира и настенный гобелен с вековыми деревьями, домом-пряником на пригорке и девочкой в розовом на удивление гармонировали, у них был родственный колорит. Да, Марк Львович подбирал со вкусом антиквариат. И что с того? Изношенное рефлексией сознание устало искать ответы. Лежал неприкаянный, не мог заснуть; по потолку лениво скользили тени.

Жизнь, однако, шла своим чередом.

Обнаружилась однажды в почтовом ящике глянцевая открытка с солидной аркадой стокгольмской ратуши, потом – приглашение на банкет по случаю успешной баллотировки Филозова в академики.

Тут позвонил Шанский – ему дали визу, ожидалась отвальная.

**обрывки впечатлений от начинённой недосказанностями,
(предельно сгущавшей опережающий контекст)
болтовни и дежурных тостов на проводах
Шанского (третье дополнение к эпилогу)**

Сумрачные настроения были не только у Соснина, правда, по другой причине – прощались-то навсегда, так принято было думать.

Да ещё наспех прощались – одной ногой Шанский уже был там, в свободном мире, который ни он, ни провожавшие конкретно себе вряд ли могли представить; оформил бумажки, оставалось миновать кордон, махнуть ручкой с трапа – и там!

Ладно, перебор – кому ручкой делать? Шанский улетал в Вену ранним рейсом, в аэропорт с ним ради символической отмашки никто не ехал.

– Илюшка, ты совсем другой стал, – оценивающе оглядела Милка, когда вытирал ботинки у двери, – какой-то совсем другой.

– Да, изменился, – сказала Таточка. – Не пойму в чём, но изменился.

Милка, загорелая, ещё просолённая – в её захламленной по углам, удлинённой комнате с окном на чёрный Михайловский сад, маковки Храма на Крови и трамвайное кольцо Конюшенной площади собирались провожавшие – быстро нарезала два батона, затем вытащила из форточки авоську со снедью, призвала на помощь Таточку, они в четыре руки сноровисто нарубили на доске всё, что надо для винегрета, Милка полила постным маслом свекольную горку, теперь молча лепились бутерброды. Соснин машинально следил за движениями умелых рук, тоже молчал, не мог из себя ни словечка выдавить, а Милка с Таточкой, казалось, были благодарны ему за сохранение тишины. О чём говорить? – Валерка во внутренней тюрьме Большого Дома, Толька навсегда улетает.

Учебники Варьки, Милкиной дочери-восьмиклассницы, стаканчик с карандашами, маленький глобус.

Чуть размытое старорежимное фото Милкиной бабушки на стене, ещё юной, по семейной легенде в юности бабушку одаривал нежным вниманием Блок. Лукавые глаза, полураскрытый веер, поднесённый к губам... веер, веер – вот и модель текста, совмещающая замкнутость и открытость! Если писать на каждой пластинке, в столбик, и пронзять тексты-столбики, суть отдельные страницы, сквозными линиями судеб и лейтмотивами, можно, по-разному разводя веер, делать внятными выборочно те ли, эти записи, можно сложить веер, словно захлопнуть обложку книги, можно развернуть его вправо, по часовой стрелке, можно влево, против часовой стрелки, запустив время вспять... развернуть в будущее, в прошлое. Можно замкнуть время, развернув веер в круг... опять круг.

А вот и Толька, измученный чередой прощальных возлияний; блеск покрасневших глаз сдавливали лилово-серые мешки. Всю ночь накануне пропьянствовал с Рубиным, Троповым, Кешкой и примкнувшим к ним Головчинером, однако же – с сумкой выпивки, натужными прибаутками. – Принимайте дорогого виновника итогового торжества и пр. Сочно расцеловался с Милкой. – Ценю, морская душа, ценю, что не дожарилась в реликтовом раю, спешила напоследок припасть к груди?

– Вернулась ради тебя в холодную слякоть, – обнимались.

Расцепив объятия, Шанский выставил водку в фанерный ящик за окном, чтобы охладилась, бутылки с вином – на стол, спросил уже серьёзно у Таточки. – Ну, как?

Пожала плечиками. – Зло зыркнули, но передачу взяли, а что с ним...

Почему Соснина это больно не задевало? Потому, что знал, что будет с Валеркой после ареста, суда и ссылки, да и не только будущее одного Валерки было ему известно. Посвящён в судьбы друзей или... или влияет на судьбы, творит их? Какая гнусность! – он, приближённый Абсолюта, мог преспокойно смотреть на ещё живых, ещё не поглощённых потусторонней голубой вибрацией одноклассников из последних точек их судеб. Или – как романист, уяснивший, наконец, для себя судьбы персонажей, но лицемерно при встрече с ними, приговорёнными им, обречёнными подчиниться замыслу, помалкивающий? Ну да, ну да, автор многословного романа дал тайный обет молчания, ему, тайно влияющему на ход вещей, не отрешиться от роли серого кардинала.

Милка с Таточкой тем временем звякали тарелками, рюмками. Шанский вооружился ножом, чтобы откупоривать «Гурджаани» и «Мукузани», но отвлекся на дурачества – принял

важную позу, ладонь положил на глобус, медленно вращая глобус, запел детским голоском: мы едем, едем, едем в далёкие края... потом попытался вовлечь в необязательный трёп, утрированно картавя, травил байки отъезжантов про шмон на таможне – боялся, что защекочит. Откликнулась Милка, нехотя.

Соснин молчал.

Точно посторонний, молча прохаживался по комнате.

К немытому окну и обратно, к двери, к окну и, мимо чаровницы с веером, обратно, к двери, как маятник, между наскоро накрытым, поперёк комнаты стоявшим столом и ветхим стеллажом с книгами, кувшинчиками, на верхней полке дополненными майоликовым бюстиком Нефертити.

Соснину, негласно наделённому статусом мученика, сочувствовали, всё же выпали ему суд, психушка, пусть и облегчённые, но и посматривали на него всё чаще, как на чужого, ещё бы, нутро усохло, никаких эмоций; чересчур много узнал, побаивался сболтнуть лишнее. А нервная подвижная хлопотунья Таточка ничего не могла знать о колымской ссылке, о долгом комфортном умирании в Мюнхене, Милка не знала о вызревавшей в ней опухоли. Завидовал их естественности; все увлечения, трепыхания – от незнания того, что ждёт? Как красило Милку её волнение-возбуждение, как влажно сверкали серо-голубые глаза, огненно-ярко взлетали волосы, горели веснушки на скулах. – Жаль, жаль, Илюшка, что не вырвался на Пицунду! Сначала дожди зарядили, но снег выпал в горах, всё засияло, Гия сам себя, прошлогоднего, переплюнул, шикарнейший пикник закатил в дальнем мюсерском ущелье, перед запретной зоной, мы, навьюченные, пёрли трёхлитровые банки с маджари, а камни-то скользкие на узеньком перешейке у второго ущелья, волны захлёстывали... – не умолкала. А Соснин машинально сравнивал Тольку Шанского, моложавого, улетающего на крыльях ОВИРа, чтобы встретиться по ту сторону железного занавеса со всемирной славой, с ним же самим, Анатолием Львовичем, раздобревшим, слегка утомлённым славой, плавившимся в лучах софитов за миг до смерти. Так наново изучают фотографии умершего; вот он, юный, с искристым взором, но – никаких ещё следов жизни на лице, как чистый лист, одни обещания, а вот он солидный, со вторым подбородком, морщинами... и по-прежнему – брызжущий весельем, словно бессмертный.

– Ил, – срезал на бутылках пластмассовые шляпки-затычки Шанский, – Семён Файервассер уши прожужжал, у мечтателя-мстителя столько планов. Помнишь анекдот про ребе? Завтра по приговору в Кингисепп отбывает, в болотных сапогах будет строить химический гигант и терроризировать Верховный Суд жалобами, чтобы прищучили тех, кто законы топчет. А меня любовным посланием нагрузил, – понюхал горлышко бутылки, не скисло ли, – Семён разыскал Миледи, не забыл её? Расплевалась с бездуховным американским мужем, коротает где-то в Огайо дни. Но старая любовь не заржавела, Семён, сглатывая со стиснутыми зубами обиды, отрубит срок на химии, предложит нагруженную руку, сердце эмигранта-идеалиста, да, – с издёвкой, – Семёна Вульфовича, правдоискателя, борца за справедливость, окончательно разочаровал самый большой в мире дурдом, подмявший одну шестую суши, велел вызов заказывать...

– Миледи? – промычал, как умственно-отсталый, Соснин, потом сообразил о ком речь, увидел её, божественную, невозмутимо взбалтывающую акварельной кистью грязную воду в банке.

Ловил себя на том, что с придирчивостью редактора подчёркивал красным карандашом, а то и вычёркивал необязательные слова из утомительно-пышной Толькиной болтовни. И из телевизионных разглагольствований, из его вроде бы не нуждавшихся в посторонних слушателях-зрителях монологов, от которых Соснину, притянутому экраном, так не захочется отрываться, сейчас бы многое повычёркивал. Жаль. Расставались, но угнетала слёзная фальшь расставания, что-то сродни мелодраматизму наизнанку: знал, что ожидало Шанского, пусть не досконально, но зато знал конец, поэтому мнилось, что знал всё – от будущего искусствоведа

с мировым именем веяло холодком предопределённости, вот толком и не удавалось поговорить. Затаился. Столько узнал, увидел, но и небезразличные для Шанского, прошившие и его судьбу нити остерегался выдёргивать из сплетений истории. Чувствовал себя её, истории, единственным собственником, опасался покушений на авторские права? Во всяком случае, интуиция нашёптывала: молчи. Шанский улетал, а так и не рассказал ему даже о дядином дневнике, о Тирце, последнем римлянине, хотя Тирц приходился Тольке почти что родственником.

– Нелли, донесла молва из Италии, Феликса Гаккеля в отставку отправила, – глаза Шанского искрились, как прежде, – роковая женщина! Всегда и повсюду в поиске! Променяла гения, научного революционера, готового без рычага перевернуть мир, на какого-то средненького благополученького музыкантика, из нашенских эмигрантов... лесной олень, носи меня в свою страну оленю... Милка прикрутила радио.

– Нелька молодчина! И в Италии нашла, кого заарканить.

– Там, говорят, на барахолках знакомятся, торгуют матрёшками, фотоаппаратами «Смена» и знакомятся, – дорезала колбасу Таточка.

– Потом на античных руинах в любви объясняются?

Соснин кивнул. – Те, кому хорошо за тридцать, обычно молодеют на фоне древней, разбросавшей камни гармонии. А Гаккелю-отцу уже не помолодеть, худо авангардисту – принципиально игнорирует аркады, колоннады, карнизы.

– Знаешь? – Шанский был задет, привык первым сообщать новости.

Снова кивнул – знал, но не сказал Шанскому, кто тот «средненький благополученький музыкантик». Гнусно в душе заныло – знал, что ждёт Нелли и её нового, на сей раз последнего муженька, знал и не смел поделиться знанием: интуитивный, но вполне рациональный ступор, табу... он что, идиот? Он знал такое, во что никто бы всё равно не поверил.

Приоткрылась дверь – Гошка Забель с Художником.

Художник виновато-рассеянно улыбался, расстегнул воротник ковбойки – не хватало дыхания, тёмно-карие глаза разгорались на побледневшем лице... походил уже на себя-другого на «Автопортрете с патефоном» и на себя-другого – там; медленно сглотнул с ладони горошинку нитроглицерина, Гошка прокомментировал. – На четвёртый этаж взобрался, этажи такие высокие.

Да, у Художника учащались приступы.

Сколько лет ему оставалось?

Соснин молчал, сражённый простенькой несурзницей. Художник, проводник по загробным видимостям, где не существовали ни пространство, ни время, сейчас сам не мог знать того, что узнал от него Соснин на той просветительской прогулке по потустороннему быту. Там Художник знал что-то, что боялся, да и не мог вслух высказать – знал что-то пронзительное, убийное для земного разума, теперь сам Соснин спасался молчанием. И сейчас, здесь до штришка представлял себе картины, которые успеет ещё написать Художник, рассматривал мысленным взором их, не написанные пока, серебристые карандашные картины, «Окна», «Несение креста», да, рассматривал. Это не укладывалось в голове, но что было, то было.

– Костя Кузьминский разбудил звонком под утро, я только лёг, пьяный в доску, заснул, – разливал водку Шанский, – у вас сколько времени, кричит Костя, запутался в часовых поясах. К себе в Техас, в Остин, зовёт, зачем, кричит, тебе модная всемирная помойка, Париж? А мне-то покопаться в культурных отбросах надо, что мне делать в жаркой чистенькой тexasской тьмутаракани?

– Посещать родео в ковбойской шляпе, – выдавил Соснин.

– Правда, что Костя на вернисаж в музее Гуггенгейма пожаловал голышом?

– Правда, «Ньюйоркер» дал фоторазворот.

– В Костином духе – убить метафору живым фактом.

– Какую ещё метафору?

– Голого короля.

– Ну, давайте! Жажда замучила.

Одновременно ввалились продрогшие, с мокрыми по щиколотки ногами, московский теоретик и Гена Алексеев, принесли водку.

– Упьюсь!

– А за что пить, за что?

– За то, чтобы они – сдохли!

– Их не берут болячки, они, прогрессивные паралитики, как коллективный Лукич, – вечно живые.

– Есть и молодняк, доблестного Григория Васильевича забирают в Москву.

– Наломал дров и – на повышение!

– Ну да, многообещающий молодняк, с железными зубами! Сдохнут одни, так другие, такие же, всегда на всё готовые, на запасном пути. Рейх вечен!

– Не дают и не дадут дышать! – выкрикнул Гоша, – ещё и дустом потравят.

– Илюшка, скажи, нам скоро каюк? – Милка тряхнула огненно-рыжими волосами, – скажи, ты, по-моему, что-то знаешь.

Соснин еле удержался, смолчал.

– Ничто не вечно под луной, – поднял рюмку московский теоретик, – дряхлеющая империя развалится, скоро уже.

– Ты всё о своём, профессиональный оптимист, – допил Шанский, – ех пово? Сам-то ноги промочил в бескрайней и бездонной, вопреки злоупотреблениям канцерогенным асфальтом, луже. Кто осмелится разрушить ракетно-ядерный Миргород?

– Пессимисты-мазохисты не о своём? Чему быть, того не миновать, аминь! – допил и московский теоретик, – не надоело, рухнет, не рухнет? За милую душу вполне мирно рухнет имперский Миргород, изнутри разрушится. Ещё нам, очевидцам обрушения, позавидуешь из Парижа.

– Мирно? Платить новыми трупами за прогресс не придётся?

– За шестьдесят лет вперёд заплачено. И переплачено.

– Про экономику забыл! Какой будет экономика?

– С капиталистическим оскалом.

– Не доживу... рад, что перед маразматическим юбилеем слинять успею, не увижу все-народного торжества.

– Нас, задыхающихся, тебе не жалко бросать на произвол маразма? Толька, Толька, как ты можешь? – завопила Милка.

– Валерка в тюрьме, а ты... ты со спокойной совестью улетишь покорять Париж? – глотала слёзы Таточка.

– Я скорее оттуда смогу помочь, с «Хартией 77» поднимем бучу...

– Хорошо бы его узником совести...

– Попробуем... – Толька не мог не договорить, – тут как поможешь? Вот-вот соцстрою шестьдесят годочков стукнет, младенческий по историческим меркам возраст, а маразм крепчает и хоть бы хны, на крови возрастают сверхпрочные тупые цивилизации.

– Цивилизацию Майя скрепляли кровавые ритуалы, но погибла мгновенно, – хитро прищурился теоретик, – жертвенные храмы устояли, а людей словно поразила нейтронная бомба. Есть гипотеза одномоментного коллективного суицида. Вожди Майя, кровавые маньяки, чересчур чувствительные к сигналам будущего, поняли, что им конец и...

– Ну и когда конца нововизантийского нашего коммунизма ждать прикажешь, когда, – драчливо напрягся Гоша, – до восемьдесят четвёртого года доживёт? Или ещё и семидесятилетие с бурными восторгами справит?

– Пошатываясь, – закуривал теоретик.

Всё об одном и том же, о том же! И летом, у Художника, за грудки хватались. Ну и денёк тогда выдался, не подготавливал ли тот денёк к испытаниям второго июля? – завтрак с фонтанировавшим филологическими фантазиями Валеркой, да уж, «Судак Орли» под армянский коньячок в «Европейской», с утра пораньше, и – допрос у Остапа Степановича, и – ветер, пропахший корюшкой, ливень из чёрных туч, и – солнце, ливень и солнце, потом удар молнии – «Срывание одежд». И так же, как сейчас, Гошка раскричался, брызгал слюной – когда развалится, когда? И, прижимаясь, выпрашивала про каюк Милка. Ну и ну, теоретик-конфликтолог прямо-таки провидец! В прошлый раз с внутренне опустошённой перед гибелью Византией сравнивал, но сейчас-то, – забавлялся Соснин, – сейчас-то до чего эффектно – Майя! Хотя это, наверное, самая хромая аналогия из возможных. У нас всё будет наоборот. Сакральная надстройка рухнет, а негибемый гомо советикус быстренько оклемается, обживёт руины. С жалостливым превосходством смотрел на Тольку, Гошку, по-большевистски неколебимых, предубеждённых – если бы они знали, что в главном теоретик не завирался!

Гена Алексеев, подперев рукой рыжевато-каштановую бороду, покалывал московского теоретика светло-голубыми глазами, молчал.

Нет, Геночка ничего хорошего не ждал. Как на похоронах Художника он назовёт трубу крематория с закопченным верхом? Пушкиной, палящей в небесное царство?

– Ил, – тихо заговорил Художник, – помнишь, шли по Неве, был ледоход, плоские, как стекло, льдины на синей воде. Мы обсуждали фильм, английский актёр с пивной фамилией изумительно сыграл живописца-психа...

– Помню, «Устами художника».

– Помнишь, борт старого корабля, изъеденный ржавчиной, в мазках шпаклёвки, затёках краски? Хоть бери в раму. И тот псих, поражённый увиденным... тогда дошло, что дар куда шире мастерства, чтобы написать картину, её сначала надо увидеть.

– Художник – обязательно псих?

– Ну да, – усмехнулся, – благословлённый небом безумец залезает чёрт-те в какие дебри, чёрт-те что видит там, а зачем – и самому не ведомо. Но безумие совсем не обязательно внешнее, буйства – внутри.

– Для кого же буйства и сумасбродства, для кого?

– Для себя, для улаживания своих позывов. Рассылкой художественных продуктов по избранным адресам, оценив их, занимается Бог. Сумасбродства? – глянул с весёлой, не без ехидства, пристальностью. – Внутренние метания так и не поняты, не названы, – снова с неповторимой своей, сухой усмешечкой, – напропалую лепят паршивое слово «творчество»... Потом мы... Тёмные глаза на бледном лице горели. Или отблескивали жарким огнём? Как там, как там.

– Когда произносят слово «творчество», я хватаюсь за пистолет, – отозвался Шанский и захрустел солёным огурцом; у Шанского был отличный слух.

– Потом мы, – совсем тихо сказал Художник, – вернулись на факультет.

– И тащили литографский камень.

– Да, тот самый, крамольный.

«Хитроумно устроенный передатчик зашифрованных сообщений», ха-ха-ха, перебирал свои тяжеловесные формулы Соснин, ха-ха-ха, тень на плетень – «интеллектуально-чувственный сейф, где спрятана тайна». Тайны искусства – это то, и только то, что умевшим видеть открывалось там, по ту сторону.

– Три тайны изводят художника, – между тем напоминал Шанский, – времени, смерти и самого искусства.

– А любви? – спросила Милка.

– С любовью всё более не менее ясно, – сказал Шанский, все засмеялись.

– Мы выпиваем, треплемся, а Валерку держат в тюрьме, в цементной камере, – с самообичевания начал гуманистическую речь Гоша... под конец спросил, потупясь. – О чём, думаете, Валерка напишет, освободившись?

– Опять о будущем романа? – Таточка неуверенно подняла глаза.

– Конкретнее, о романе как тайне, – поправил Соснин, – собирательной тайне единств и противоположностей.

– Опять о тайне? Откуда ты знаешь?

– Неосторожно догадался, – попробовал отшутиться Соснин; сболтнул лишнее, кто тянул за язык?

– Нет, – горько усмехался Шанский, – когда откроются ворота темницы, Валерке будет не до имманентных романских тайн. Наш литературный шаман, накушавшись правды жизни, думаю, бросит мемуарный камень в нерукотворный памятник КГБ. С признательной надписью: «Жизнь как западня»; какой Толька самоуверенный, – забавлялся-сокрушался Соснин, – доволен собой, хотя проткнул пальцем небо.

Гоша, обиженно открыв рот, не успел опротестовать хлесткий приговор Шанского, в котором Гоша уловил несправедливый приговор гуманизму.

Вбежал деловитый Бызов, всучил Шанскому большой коричневый конверт с научной статьёй и письмо к коллеге из Стенфорда.

– Как же шмон на таможне? – удивился было Соснин, но Шанский, конечно, не собирался дразнить дракона перед отлётом в свободный мир, Шанский пользовался услугами дипломатической почты, ему ещё ночью оставалось заскочить к секретарше французского консульства, одной из своих давних невест... да, все живы ещё, все, у Валерки – беда, но жив, да, все живы, а так тяжело видеть их, обречённых, да, Стенфордский университет; судьба вела Антошку к назначенному ему концу, он не свернёт... прочертилась на фоне стеллажа с глобусом и маленькой Нефертити решётчатая ограда колумбария в Сан Хосе, дочери Бызова в чёрных платьях, шляпах, медленно шли по гравийной дорожке вдоль газона с бордюром жёлтых цветов... поодаль – как на гравюре – чёрные разлапистые калифорнийские кипарисы.

Бызов покончил с делами, пожаловался, что впопыхах убежал, забыл табак, трубку, потом – к Таточке. – Как Валерка?

Таточка нервно одёрнула пушистую кофточку, повторила. – Зло зыркнули, но передачу взяли. Как вспомню, что и отца его в той же тюрьме угробили... – доставала сигарету.

– Давно к Валерке подбирались, участковый наведывался.

– Замели-таки перед юбилеем!

– Теперь вцепились мёртвой хваткой, не выпустят.

– Ну, что б они сдохли! – провозгласил Бызов.

– За них пили уже! Что толку...

– А за что пить, за что? – затрясла огненными патлами Милка, – Валерка в тюрьме, Тольку больше никогда не увидим, никогда.

– Не голоси, увидимся, обнимемся-расцелуемся, – утешал, не веря собственным словам, Шанский. А глянул на поникшего Соснина, так радостно вскочил с полной рюмкой. – Выпьем за жертву карательной психиатрии!

Но смеялись недолго.

Опять скорбели, как на поминках.

– Повсюду рожи, злобные рожи... – Таточка. По кругу?

– И болваны-вожди, тупые жестокие болваны... – Гошка. По кругу.

– Мир, несомненно, ухудшается по мере нашего старения, – произнёс с серьёзным видом Соснин, удостоившись лишь грустных улыбок.

Молчание.

Куда подевалась лёгкость прежних встреч, споров и спичей? Молчание делалось напряжённым.

– Илюшка, ты каким-то другим стал, тебя что, тяжёлым пыльным мешком шибанули каратели-психиатры? – привалился огнедышащий Бызов.

– Хуже... на Пряжке всякого насмотрелся, – уклонялся Соснин; Антошка, массивный, горячий, а почудилось, бесплотный уже.

– Ну, чего, чего ты там насмотрелся? Что, кто мучили тебя там? Врачи пытали, больные бузили? Обет молчания дал? Так и не расколешься? – огладил серебристо-пегий ёжик волос. – Партизан-разведчик! Нелегал! Или ты того, – приставил палец к виску, – мешком отшибло память?

– Вот и Набоков умер, – выдохнула дым Таточка, выкладывая из сумочки и протягивая Художнику затрёпанную книжку в жёлтой обложке. Та самая, «Подвиг», ходит до сих пор по рукам, – сообразил Соснин.

– Набоков неоконченный манускрипт оставил, «Оригинал Лауры», о романном персонаже, заблудившемся в жизни.

– Прочтём ли?

– Рукописи не горят, – напомнил Гоша.

– Если бы знать, – чокался Шанский, осыпая искрами Бызова, Соснина... был на четверых, вместе с Валеркой, давний, по наводке Льва Яковлевича выловленный у Чехова грустный пароль.

У Соснина немым ответом кривился рот – если бы они знали! Вспомнился телевизионный Анатолий Львович; со вздувшимся вторым подбородком, почти зобом. Захотелось кольнуть Тольку, такого самоуверенного, спросить о чём-нибудь из того, что он сам будет потом рассказывать, а пока – не знает?

– Толька, кто такой Борхес? – невинно спросил Соснин, как экзаменатор-садист, не сомневающийся, что срежет. И сразу пожалел, что потянуло поиграть с табу, лучше б подержал язык за зубами.

Шанский не скрыл смущения. – Борхес? Впервые слышал.

И никто, никто, кроме московского теоретика, не слышал о Борхесе. – Кто это? Кто? Соснин заинтриговал, переключил внимание на себя.

– Ты про аргентинского писателя, да? – теоретик уколол, не желая того, всезнайку-Шанского.

– Да, – выдавил, не понимая, как сможет выпутаться, Соснин, – он описал встречу престарелого Борхеса с собой-молодым, двум Борхесам не о чем было поговорить.

– Почему не о чем? – удивилась Таточка.

– Потому, что между ними разверзлась пропасть.

– Пропать чего?

– Это как если бы тебе и твоему потомку захотелось на своих разных понятийных языках столкнуться. Как? Между ними, двумя Борхесами, – пропасть непереводаемого другого времени, лишь одним из двоих, престарелым, прожитого, отсюда, от воздействия разных времён, отчуждение, взаимное непонимание; сказал и подумал с испугом – мой случай.

– Ты с одним из Борхесов или сразу с двумя на Пряжке встречался? – влез Бызов, невольно спасая Соснина; смех, шум... выпили.

Гена молча, глядя в тарелку, закусывал винегретом – его, такого подавленного, никто и не просил почитать стихи.

Гоша хлопал по карманам курточки, искал сигареты, потом с тщанием аптекаря накапывал Художнику «Гурджаани», опекал.

– Толька, чем в Париже займёшься, там разве платят за болтовню?

– Тебя ни в какой котельной там не пригреют, под мостом вместе с голодными клошарами будешь пропадать?

– Не пропаду, на худой конец устрицами и лягушками прокормлюсь.

– Чем, интересно, наша яростная незабвенная Нонна Андреевна сможет на Святой Земле прокормиться? – опять привалился многопудовый и, словно бесплотный, Бызов.

– Будет торговать русскоязычной прессой в Иерусалиме, – холодея, ляпнул Соснин.

– Откуда ты знаешь? – поразился Шанский.

– От тебя! – захотелось ответить; все дерзкие разрозненные желания внезапно слились в этом одном желании, курьёзном и пугающем, ох, как захотелось плюнуть на табу, сломать ход вещей, замахнувшись на Абсолют, которому до сих пор исправно прислуживал, увидеть наповал сражённого Тольку непостижимой для него сейчас правдой. Однако Соснин тут же от дерзкого желания-вызова трусливо отрёкся; ругая про себя отвязавшийся язык, выпутался, с образцовой артистичностью всплеснув руками, – чем ещё прикажете заниматься Нонне? Преподавать на иврите математику?

– Ей трудно придётся, – сказала Таточка, – там религиозные фанатики бесчинствуют, в шабад перекрывают для машин улицы, велят всем выключать свет.

– На сей счёт есть свежий анекдот, от еврея-отказника услышал, – заранее рассмеялся Шанский, – Штирлиц, постучав, входит в кабинет Мюллера, в кабинете темно. – Не включать! – рывкнул Мюллер, понимая, что Штирлиц тянется к выключателю. Шабад, – догадался Штирлиц.

Взрыва хохота не случилось, выпили.

– Давайте споём, – прервал молчание Шанский, завёл, – мы едем, едем, едем в далёкие края...

Ответом ему было тягостное молчание.

Гена молчал, косясь на Художника; тот глотал воздух, не мог наглотаться. И у Гены противно сдавливалось сердце, сбивалось с ритма; Гена чувствовал, скоро уже.

– Давайте лучше сфотографируемся, хоть память останется, – вскричала Милка, – Варьке отец отличный аппарат подарил, со вспышкой.

– Чур, я с глобусом в руке, можно? – взмолился Шанский.

– Нельзя, – отрезала Милка, – давайте сядем вместе, как раньше...

– Ишь, глобус ему подавай, ишь, ещё не уехал, а уже к мировому господству рвётся, нет, чтобы сесть, как раньше, рядышком, и жалко улыбаясь, беззащитно... – ворчал Бызов, однако послушно усаживался. Тут и Варька вбежала, получила взбучку за позднее возвращение. – Тебе и аппарат в руки, – назначил наказание Бызов.

Варька прицелилась, а Милка обхватила за плечи Шанского. – Не отпущу в Париж, не отпущу, – всё сильнее сжимала плечи. Толька вырывался, театрально вскидывая руку, кричал картаво. – Кар-рету мне, кар-р-рету! Вспышка... все наши герои на той фотографии до сих пор живы, нет лишь Валерки, не сберёт кадр.

Московский теоретик нежно ткнул Шанского кулаком в плечо, на цыпочках вышел – опаздывал на «Стрелу»; за ним ушли Гошка, Художник.

У Таточки разболелась голова, Милка долго искала анальгин.

Выпили.

Ещё выпили.

Раздался звонок, хотя никого не ждали.

Карета – подана?

– Даня, Даня, точнёхонько к седьмому тосту! – оповестила, шумно распахивая дверь Милка и, мешая ночному гостю снять плащ, бросилась на шею, погладила по мокрым реденьким волосам, – заживает?

– Мозг после встряски лучше работает, – заверил доктор Бызов.

– Под свинцовым кастетом башка умнеет, – серьёзно пробурчал Шанский. Данька Головчинер проводил Шанского накануне в другой компании, но не мог, как выяснилось, не придти – на Даньке были новенькие джинсы «Lee», подаренные ему Карлом Профером, но главный подарок издателя, похвастать которым, собственно, Данька и заявился, он гордо достал из кожаного портфеля; дразняще шурша газетой, медленно, чтобы усилить эффект, распеленал. Две тёмно-синих книжечки Бродского... ахи и охи всеобщей зависти. А Соснин пожалел Даньку – повязку с пробитой головы сняли, ещё не заживший шрам залепили пластырем, а учёный-стихoved и не подозревал, что насмешливый рок готовил ему повторное испытание, не подозревал, что его в том же проходном дворе поджидало, спустя годы, новое разбойное нападение.

– Даня, седьмой тост, – торопила Милка, пока Даня привычно поглаживал указательным пальцем ямку на подбородке.

И вот встал он.

– Я хочу, чтобы действительность волшебю опровергла гения, – интриговал Головчинер, вздымая стограммовую рюмку и покачивая увесистым длинным носом; он выразительно посмотрел на убывавшего Шанского, свернул красной мокрой трубочкой губы, – хочу и надеюсь, что опровергнет! За волшебное возвращение, за будущие встречи! Хотя и метафизически, и метафорически наш поэтический гений, конечно, прав...

Головчинер жестом мага раскрыл на закладке дарёную «Часть речи», довольно точно имитируя манеру кумира, задекламировал с заунывной напевностью, взывая:

Есть города, в которые нет возврата.

Солнце бьётся в их окна, как в гладкие зеркала.

.....

Когда дочитал и залпом выпил водку, заплодировали, загалдели... – Кому-то из флорентийских изгнанников удалось вернуться? – Одного насильственно вернули в гробу, другого – бездарным мраморным памятником. – Река под шестью мостами? Всплыла из прошлого ветхая карта, с её помощью пускался в лекционные прогулки Гуркин. Смогли-таки, сбиваясь, насчитать хором пять мостов через Арно, шестой потерялся где-то в пригороде? Милка по-детски старательно, громко, пересчитывала невские мосты. – Железнодорожный, Финляндский, считать?

Гена Алексеев печально молчал.

Сам поэт, Гена не долюбивал прочих поэтов, особенно тех, которых спешили называть гениальными.

Каким стихом украсил Головчинер одиннадцатый тост, Соснин не запомнил.

С края стола, заметил, свисала смятая газета, обёртка от драгоценных Данькиных книжек; чёрная квадратная рамочка в нижнем углу газетной страницы, мелко набранные строчки: «... с глубоким прискорбием... после тяжёлой болезни... председатель общества психотерапевтов, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Леонид Исаевич...»

белой ночью, у окна

(четвёртое дополнение к эпилогу, возвращающее на одну ночь в больницу)

Днём услышал об угрозе выписки, но слова матери быстро вылетели из головы, не до того было, писал, после ужина начитался про мании, бред и фобии в «уголке психиатра», посмотрел, как ловко Штирлиц выскальзывал из ловушек Мюллера, а поздним вечером, загнанный в смрад палаты, роящейся комарами, вспомнил о нависшей угрозе, хотя, конечно, никакой защиты от неё найти не мог.

Разметались под белыми складками соседи-психи с испитыми лицами. Допоздна наперебой ругали Всеволода Аркадьевича – запретил смотреть ночной футбол из Южной Америки; чиркали спичками, с предосторожностями закуривали... утомонились, захрапели; один было приподнялся, спросил спросонья – уже вставать? – и замертво упал на подушку. Соснин, изрядно измотавший себя за день, испытал внезапную радость, подъём всех сил, на душе сделалось легко, свободно, как после близости с любимой женщиной – он всё мог! Мог! И потому в который раз вознамеривался объять необъятное – срастить в своём романе все подвиды жанра, все бродячие сюжеты, все вечные темы, всё сиюминутное, что свалилось на него, всё-всё, что ему довелось увидеть за горизонтом лет. Но, – тотчас укорял себя за разброс желаний, – не пора ли упорядочить хаос, склеив элементарные частицы замысла в последовательности, не чуждой хронологии? Романский замысел – это всё, что было, есть, будет – скопом, всё-всё – в бесщётных наслоениях и пересечениях ищущего сознания. Оставалось всего-навсего записать, преобразовывая в роман, замысел романа; оставалось лишь придать отпугивающе-аморфной махине из бессвязных картин и обрывочных мыслей цельную словесную форму, слова – зарядить тайным, коли выпало к нему прикоснуться, знанием, сплотить сквозным чувством... как в дневнике; как – в ночном дневнике? – заулыбался, припомнил ту неправдоподобно-давнишнюю ночь в римской гостинице на *via del Babuino*, ночь, когда Илья Маркович от полноты чувств макнул перо в высохшую чернильницу. И – глуповато-мечтательная улыбка, казалось, застыла на губах Соснина – набросал план на завтра, вдохновляясь роскошным закатным облаком с малиновой ветрянкой на выпуклостях:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.